

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ



ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ




Виктор Конецкий



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Рисунки С. Спицына



ЛЕНИНГРАД «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

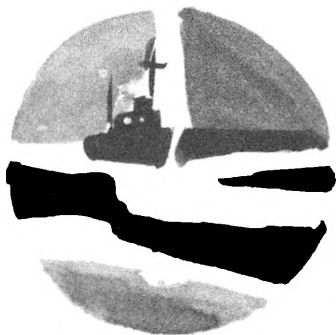
1 9 7 8

P2
K 64

70803—112
К-----253—78
M101(03)—78

© Издательство «Детская литература», 1978 г.
Состав, иллюстрации, послесловие.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ПЕТЬКА, ДЖЕК И МАЛЬЧИШКИ

Петька приехал в этот маленький среднеазиатский городок из блокадного Ленинграда и жил вместе с матерью в глиняном домишке-сарайчике, стоявшем среди корявых, развесистых карагачей. За этими карагачами виднелись желтые поля выжженной солнцем кукурузы. Поля переходили в холмы, а над холмами поднимались высокие горы со снежными вершинами.

Горы были красивы. Особенно по утрам, на восходе. Тогда они делались розовыми, золотыми, алыми. Но Петька не замечал красоты солнечных восходов и горных вершин. Он был слаб, худ и всегда хотел есть. И по утрам угрюмо, с тоской и даже страхом думал о том, что за сегодняшним днем придет второй, третий...

Петьке надоело жить, хотя ему было всего одиннадцать лет. Глядя на восход или закат солнца, он вспоминал раскаленные докрасна железные балки того дома, в котором они с матерью раньше жили в Ленинграде. Дом сторел от зажигательных бомб. Он долго не мог потухнуть. Недалеко от пожарища лежала на снегу мертвая дворничиха.

Петька все не мог забыть войны, искрошенного ми- нами льда на Ладожском озере, скрежета проносющихся над самой головой самолетов, беспрерывного холода и неуютности. Он часто поеживался, даже сидя на самом солнцепеке. Солнце сжигало его бледную кожу, но не могло согреть нутра.

А Джек — рыжий, с белой грудью и черной полосой вдоль всей спины пес — был очень силен и здоров. Ему нравилась злая безухая сука, которая жила недалеко от Петькиного домика. Сука выла по вечерам, и люди всегда сердились на нее, им становилось от этого воя плохо, тоскливо. Но Джек был собакой, и ему доставляло удовольствие слышать голос своей подруги. Он сидел где-нибудь в зарослях полыни и касторки, улыбался и ждал, когда



люди спустят безухую суку с цепи. Никто не знал, откуда Джек появился. И, наверное, он скоро ушел бы из городка куда-то к себе домой, если б не встретил Петьку.

Они столкнулись нос к носу возле кухни пехотного училища. Петька нашел там банку из-под свиной тушенки с кусочком мяса на дне. Джек тоже учуял эту банку и стал смотреть на Петьку внимательно и настороженно.

Было очень жарко. Жужжали мухи. Петьке хотелось выковырять мясо. Но он медлил. Он обещал матери никогда не есть отбросов.

Петька любил свою мать и не хотел обманывать ее. Мать еще недавно была молода и красива. А сейчас лежала в глиняном сарайчике старая и седая.

Петька проглотил слюну, шагнул к большому желто-белому псине и протянул ему банку из-под свиной тушенки.

В самой глубине Джека родилось ворчание, черные влажные губы растянулись, обнажив клыки. Каждая собака кое-что знает про хитрые повадки мальчишек. Особенно, если эти мальчишки одеты в рваные трусы. Джек не верил Петьке, не верил людям. Он присел на задние лапы, ворчание перешло в угрюмое рычание.

Петька испугался, бросил банку и сказал:

— Я ведь тебе давал. У тебя длинный язык, ты дойдешь до самого дна.

Джек обнюхал банку, придавил ее лапой и неторопливо улегся.

— Не обрежься, — уже равнодушно посоветовал ему Петька и сел на пыльную траву в тени акаций: у него вдруг закружилась голова и мир вокруг онемел. И эта большая собака, и качающиеся ветки акаций,

и часовой у ограды пехотного училища, и маленькая соседская девчонка Катюха, которая горько плакала, расцарапав руку, — все это стало для Петьки совсем беззвучным и точно поплыло куда-то в горячем воздухе полдня. Но он не волновался. Такое с ним случалось часто. Он упер язык в щеку и старался дышать как можно глубже. И потихоньку опять стал слышать. Сперва плач Катюхи, потом кудахтанье курицы, потом далекий крик ишаков на базаре.

Когда из зарослей акации вылезла взъерошенная черная курица, Петька уже совсем пришел в себя. Он даже прошептал Джеку:

— Возьми ее! Взы! Взы!

Джек перестал вылизывать банку и пошевелил затвердевшими ушами.

Петька ждал, затаив дыхание.

— Взы! Взы! — повторил он. — Укуси ее!

Пес сделал скучающую, равнодушную морду, поднялся и, лениво волоча мягкими лапами, пошел к черной курице.

Катюха перестала плакать и большущими, уже радостными глазами смотрела вслед Джеку. Он не лаял и не рычал. Просто взял и прыгнул. Ударили тяжелые клыки, полетели перья и медленно опустились на пыльную горячую траву. Когда они опустились, Джека уже не было. Он исчез. Он, видно, знал, что нельзя трогать этих крикливых, суетных птиц.

Поздним вечером Петька нашел его в развалинах старой фруктовой сушильни. Безухая сука испугалась и убежала, а Джек ждал приближения Петьки, чуть слышно ворча. Когда на землю перед ним упали куриные кости, хвост пса вздрогнул и заработал из стороны в сторону.

Петька слушал, как трещат на зубах Джека кости. Вокруг стояли тяжелые, темные карагачи. На небе, как вспышки неслышных выстрелов, сверкали звезды. Ночь, наполненная шелестом теплой листвы, была спокойна.

Джек съел кости и лег на бок, вытянув ноги. Петька нагнулся и осторожно погладил его загривок.

Подошла мать.

— Вот он. Я назвал его Джеком, — сказал Петька.

— Иди спать. Еще малярию подхватишь, — тихо сказала мать.

— Видишь, какой он большой и сильный? — спросил Петька.

Джек облизывался и слабо вилял хвостом.

— Если он будет убивать кур, его убьют самого, — сказала мать.

Она не знала правды. Петька сочинил для нее целый рассказ. Он сказал, что это была дикая, совсем сошедшая с ума птица, которая прибежала бог знает откуда, и Джек придушил ее, потому что она была совсем уж бешеная. Мать не стала уличать сына во лжи и ругать его. Она сварила из черной курицы суп. Мать была очень слаба. Она все удивлялась, что живет сама и жив ее сын и что они действительно выбрались из страшного, холодного города. Ей хотелось только одного — чтобы Петька жил и дальше и чтобы он поправился.

Ночью Петьке приснился ужасный сон. Будто черная курица принадлежала Сашке — мальчишке с соседней улицы. И вот этот Сашка, а с ним его дружки — толстый Васька Малышев, Косой с Заречной стороны и киргизенок Анас — окружили Петьку и подходят

к нему ближе и ближе. Все они смеются медленным смехом и в руках держат куриные лапы с длинными когтями. Петька хочет бежать, прятаться, но не может, потому что в животе очень больно и холодно. . .

Он стонал и кричал во сне. Несколько раз мать зажигала коптилку, смотрела на сына и гладила его вихрастую голову.

Петька и наяву боялся мальчишек. Его били все кому не лень.

В первый же день по приезде долговязый Сашка радушно предложил ему:

— Давай в ляну сыграем?

Сашка миролюбиво чесал спину рукояткой рогатки. Он был загорелый, прожаренный на солнце и веселый после удачного выстрела по вороне.

— Не-ет, — сказал Петька. Он не знал такой игры. Да и вообще был слишком слаб и вял, чтобы играть.

— Почему?

— Я есть хочу.

— У тебя изо рта воняет. . . а шамать теперь все хотят.

— Знаю, — равнодушно согласился Петька.

Сашка для проверки широко размахнулся и. . . погладил себе затылок. Петька же зажмурился и согнулся.

— Ах ты вонючка! — заорал Сашка. — Из-за таких трусов мы Москву чуть фрицам не отдали!

И уже по-настоящему треснул Петьку по спине жестким кулаком.

С этого и началось. Мать больше лежала. И Петьке приходилось каждый день ходить на улицу: то карточки обменять, то отдать в прописку документы, то за вра-

чом в поликлинику. И где бы его ни встречали мальчишки, они считали своим долгом Петьку мучить.

Это племя не знает жалости. . .

Утром Петька проснулся хмурый и усталый. Он вышел во дворик и сел на глиняную потрескавшуюся завалинку, поджал коленки к животу.

Над желтыми полями, ослепительные, чистые, вздымались горы. Еще по-утреннему влажная зелень огромной шелковицы в углу двора нежилась под низкими лучами доброго, нежаркого солнца. Пахло мятой, росой, кизячным дымком. Но Петька не замечал всего этого. . .

И вдруг из зарослей касторки и полыни вылез Джек. Он шел по двору, низко опустив лобастую голову, обросшую густыми баками. Его длинная шерсть была светло-рыжей, даже оранжевой. Пес был весь такой мягкий, живой и симпатичный, что Петька, увидев его, оживился, кулаками протер глаза и сказал:

— Здравствуй, Джек!

Джек широко и сладко зевнул, немножко повертелся, пытаясь поймать свой хвост зубами, и лег, положив на босую Петькину ногу тяжелую голову.

— Он пришел ко мне, мама! — крикнул Петька в темноту комнаты. — Джек пришел к нам!

Мать не ответила.

Петька долго сидел неподвижно, чтобы не спугнуть теплую голову, которая лежала на его костлявой маленькой ступне, и думал о том, как хорошо быть собакой, ни о чем не думать, никогда не мыться, вилять хвостом и ночевать в густой траве.

Двор просыпался. Из дома напротив вышла глухая старуха, имени которой никто не знал. Знали только,

что она из Киева, и называли просто бабушкой. Старуха стала разводить огонь между двух камней в тени шелковицы. Вернулась с ночной смены хозяйка безухой суки Антонида.

— Ай да кавалер! Какого зверя приручил, — сказала она. — Сейчас я к вам еще Катюху выпущу.

— Не надо, — сказал Петька. — Не надо мне Катюху.

— Ишь какой разборчивый кавалер, — засмеялась Антонида, блеснув красивыми белыми зубами. Она вообще вся была красивая и отчаянная. К ней часто приходили и оставались ночевать командированные военные. А наутро, когда они уезжали, Антонида раздавала ребятишкам по конфете или по сухарю.

Катюха осторожно слезла по ступенькам крыльца и подошла к Петьке. Она села на корточки возле собаки и стала не отрываясь смотреть на нее. Потом быстро протянула руку и тронула Джека за хвост. Джек сразу же чихнул и поднялся на ноги.

— Не трогай, — угрюмо сказал Петька. — Он мой.

— Если ты не хочешь, я не буду, — ответила Катюха. — Я буду дым от земли отгонять. . .

И она стала цепочкой пересыпать с места на место земляную пыль. Катюхе недавно исполнилось пять лет.

Рота курсантов из пехотного училища прошла по улице на полевые занятия. Над плечами курсантов качались фанерные мишени — силуэты немецких касок. Джек зарычал.

— Это же свои! — сказал Петька. — Как тебе не стыдно?

А днем Джек насмерть перепугал почтальона, который всегда пользовался их двором, сокращая себе путь. Это был хмурый, медлительный старик. Когда его

спрашивали, нет ли письма, он будто бы не слышал, смотрел прямо перед собой, скривив морщинистые губы. Или отвечал быстрым и шепелявым говорком: «А с того света телеграммку получить не хочешь?.. Кабы было письмо, так сам бы сказал. Надоели вы. Каждый спрашивает...»

И уходил, тяжело опираясь на тонкий стальной прут с никелированным шариком от кровати вместо набалдашника. Он ничем не мог помочь людям и от этого, наверное, ожесточился.

Когда почтальон пробирался через огороды, Джек ровными большими прыжками догнал его, повалил и стал трепать клыками сумку с почтой. Старик закрыл лицо руками, штанины на его синих ногах задрались.

Петька, задыхаясь, подбежал, схватил Джека за шерсть на шее и стал оттащить в сторону. Джек рычал, но Петьку послушался и сумку отпустил. Только тогда старик всхлипнул, с трудом сел на землю и заплакал:

— Участковому!.. Участковому!.. Сумка-то!.. Сумка!.. — сквозь всхлипывания, все громче и надрывнее вопил он. — Имеешь собаку — привязывай!.. Черти эвакуированные... .

Подошла Антонида, уперла руки в бока, засмеялась, сказала ласково:

— Брось, деда, сердиться... Страх забудешь, а раны твои до свадьбы заживут... Детям-то собака в утешение... — И опять расхохоталась.

— Помоги встать, — прохрипел старик.

— Он больше не будет. Не будет! Не будет! — шепотом закричал Петька. — Не надо про нас в милицию, не надо! — Он закусил кулак и затрясся. Опять все онемело вокруг него, закачалось и поплыло.

Старик долго стоял, глядя на Петьку, на спокойно лежащего Джека, на Антониду. Наконец вздохнул, покачал головой, сказал негромко, думая о своем:

— Женщина от человека уходит, а собака — никогда... Вот оно как бывает... А пса привяжите все одно...

— Сними веревку бельевую, — сказала Антонида Петьке, когда старик ушел. — С крайнего карагача сними, где мое одеяло висит. И привяжи, кавалер, зверя своего на эту веревку...

И Петька привязал Джека. Тот очень удивился, стал рваться и скулить, а потом вдруг тихо лег и посмотрел на горы грустными глазами. Он, конечно, мог одним настоящим рывком сорвать с шеи веревку, но, наверное, ему было неудобно это делать перед маленьким мальчишкой, который сидел рядом и гладил и чесал его. Но как только Петька куда-то ушел, Джек стал пятиться задом и стащил петлю через голову, встряхнулся и убежал.

Петька весь день ждал его, но пес не возвращался. Наступил вечер, стемнело. С гор повалились в долину тяжелые дождевые тучи. Петька все сидел на пороге и высматривал Джека. Дверь в комнату качалась и скрипела под напором влажного ветра. Мать сердилась. Когда загредел гром и над дальними тополями начали ломаться молнии, мать дала сыну подзатыльник и захлопнула дверь наглухо. Они сидели в мутной темноте — экономили керосин — и все не решались почему-то ложиться спать, слушали, как на стекле окна лопаются дождевые пузыри.

Где-то очень далеко отсюда — на фронте — все еще наступали немцы. Петькин отец все отступал перед ними, и от него давно уже не было писем. И еще шел этот

равнодушный дождь, и гром трахал, как бомба. Будто они опять попали в Ленинград и была воздушная тревога.

Вдруг кто-то поскреб к ним в дверь и шумно задышал. Мать вздрогнула, зажгла спичку и притеплела лампу. А Петька сразу догадался, что это Джек, и открыл дверь.

Пес сидел у порога совершенно мокрый и размазывал хвостом жидкую глину. Короткая шерсть на его ушах слиплась, уши опустились, и Петьке показалось, что Джек облысел.

— Можно, я его впусти? — спросил Петька. — Он совсем мокрый, мама...

Мать промолчала, и Петька решил, что, значит, можно.

— Иди к нам, собака, — позвал Петька.

Джек продолжал сидеть, но весь как-то зашевелился и еще сильнее принялся размазывать хвостом глину.

— Он не верит, что его приглашают в комнату, — тихо сказала мать. — Наверное, его никто никогда не пускал в дом. Он дикий горный пес.

— Иди, иди, не бойся! — сказал Петька, протягивая к Джеку руку. По руке ударили дождевые капли, и брызги полетели Петьке в лицо. На улице скрипели и стонали деревья и густо шуршал в кукурузе дождь. Нигде не было видно огней.

Джек оглядел себя, словно сокрушаясь, что он такой мокрый и грязный, потом нерешительно шагнул в дом. Он сразу же сел — у самых дверей, скособочив зад и прижавшись спиной к косяку. Сильно запахло псиной.

Мать подвыпустила фитиль лампы. Стало светлее и веселее.

Джек остался у них ночевать. А утром потихоньку открыл дверь и ушел. У порога еще долго чернело сырое пятно на земляном полу.

В городке не было дров. Маленькие кучки саксауловых щепок продавали на базаре за большие деньги. Местные мальчишки лазали по деревьям, спиливали и обламывали сухие ветки. Это была тяжелая и опасная работа.

Однажды и Петька попробовал залезть на шелковицу. Уже в метре над землей его ступни свело судорогой, привычно закружилась голова, и мир вокруг онемел. Он упал, расшибся и больше не пытался лазать.

Когда нечем было топить таганок, Петька ходил на железнодорожную станцию, выклянчивал у какого-нибудь машиниста угля. Если никто не давал, он собирал кусочки антрацита на склонах насыпей. А изредка просто воровал уголь с платформ. И в этот раз ему удалось насыпать целую соломенную корзинку жирного карагандинского угля.

Было очень жарко. Раскаленные камни и песок обжигали босые ноги. Петька нес корзинку с углем на спине и старался ставить ноги только на пятки. Он вспотел и устал. Джек бежал по другой стороне улицы и нюхал столбы, заборы и мостики через арыки.

Уже недалеко от дома Петька наткнулся на всю шайку своих врагов. Шайка сидела, опустив ноги в арык, и смотрела в небо. В небе тренькала пила, и долговязый Сашка раскачивался на пирамидальном тополе у самой его вершины — на высоте пятого этажа. Сашка выделывал сложнейшие трюки, чтобы не по-

пасть под медленно склоняющуюся набок, подпиленную сухую верхушку.

Петька едва не проскользнул мимо незамеченным, потому что все мальчишки смотрели на эту верхушку и на провода, мимо которых ей следовало пролететь. Но Сашка успевал не только пилить, выделять всякие головокружительные шутки и ругаться. Он следил и за всем, что происходило внизу.

— Вонючка! — заорал Сашка. — Держи его, пацаны!

Мальчишки вскочили, как кузнечики. Им порядочно надоело сидеть задрав головы. Им настала пора развлечься. Они мигом окружили Петьку и задумались. Киргизенок свирепо поковырял в носу и сказал:

— Пускай тополь лезет! Он всегда не лазает!

— Я не могу, — прохрипел Петька. — У меня судороги.

— Вы слышали, пацаны, у него судороги? — ехидно засмеялся Косой и выудил пальцами ноги камень из арыка. — Судороги оттого, что антрацит ворует!

— Люди на фронте кровь мешками проливают, а он ворует! — поддержал Косого толстый Васька Малышев.

Петька бросил корзинку и прижался к камышовому забору. Слезы текли по его испачканным угольной пылью щекам.

— Распустил соплю, — с удовлетворением сказал киргизенок и сдернул с Петьки трусы. Старая резинка лопнула. Трусы съехали Петьке на колени.

— Садись теперь в корзину! — взыв от восторга и собственной находчивости, предложил Васька Малышев.

В круг молчаливо и деловито протиснулся Джек. Он заждался Петьку и пришел теперь его навестить.

— Джек, взы! — крикнул Петька с мольбой. И пес понял. Как всегда, без лая он прыгнул на Ваську и сшиб его ударом груди. Потом он хватанул Косого за ногу чуть ниже колена. Косой тонко заверещал и упал в арык. Шустрый Анас метнулся на камышовый забор, и клыки Джека хватили только воздух в сантиметре от его пуза. Было слышно, как тяжело шлепнулся киргизенок в заросли ежевики по другую сторону забора.

И все стихло. Лишь в вышине — на верхушке тополя — бессердечно хохотал над своими же друзьями Сашка.

Джек сел у Петькиных ног и высунул язык. Ему было жарко. А Петька не стал задерживаться. Он подхватил корзинку и, придерживая другой рукой трусы, побежал. Джек все равно не торопился. Он миролюбиво обнюхал своих поверженных, вздрагивающих противников, потом подошел к Сашкиному тополю, поднял ногу и сделал свои дела. И только после этого он умчался за Петькой.

Для Петьки наступило новое, спокойное время. Теперь ему ничего не стоило пойти, например, к базару, чтобы повыспрашивать урюка или посмотреть на ишаков. Он часами мог сидеть и смотреть на них. Петьке ишаки очень нравились. Они были всегда такие грустные и задумчивые. Стоя неподвижно, только шевелили длинными ушами да время от времени вздыхали белыми животами. Петька приносил им арбузные корки и пучки травы. А Джек в это время шлялся по базару, высматривал, что бы можно было стащить, или тоже сидел рядом с Петькой и смотрел на ишаков. Они его не

раздражали. Другое дело верблюды. Как только Джек замечал верблюда, он сразу выходил на дорогу и ложился.

Верблюд, качая оглоблями тележки и пуская себе на колени слюну, с достоинством вышагивал по самой середине дороги. Киргиз-погонщик дремал на поклаже. Горячая пыль лениво поднималась из-под ног верблюда.

А Джек лежал на дороге и ждал.

Верблюд подходил к нему и останавливался.

Киргиз просыпался и лупил по облезлому задку корабля пустыни алычовой палкой. Звук был глухой и жирный. Верблюд крутил коротким хвостом, мотал слюнявой головой и наконец шагал прямо на собаку. Джек притворялся испуганным, взвизгивал, отскакивал и опять ложился посреди дороги, вывеся язык и поводя боками.

Язык обозначал его стремление к миру. Ведь никакая собака не станет лежать вывесив язык, если в ее сердце есть злоба.

Погонщик замечал пса, который показывал ему длинный ярко-красный язык, и начинал сердиться еще больше. Верблюд опять шагал на Джека. И тут начиналось... Джек рыжим огненным клубком метался вокруг верблюда и кусал его. Правда, не всерьез, не до крови, а только так — чтобы сбить с корабля пустыни спесь.

В такие моменты Петька удирал подальше...

Еще они стали частенько ходить на речку. Она называлась очень интересно и коротко — Чу. Это был стремительный поток ледяной воды.

Джек сразу лез в воду и грудью сдерживал ее напор, хватая зубами пену. С металлическим лязгом сталкива-

лись его клыки, а бешеные водяные струи мотали и рвали пушистый хвост пса. Наверное, Джек пришел в городок откуда-нибудь с гор. Он совсем не боялся ни грохота, ни пены горного потока, ни камней, которые несла река. А другие псы боялись.

После купания он тряс своим тяжелым, плотным телом, ложился на горячую гальку и смотрел туда, откуда неслась река, — на горы. Около него галька делалась радужной и блестящей. И Джек изредка опускал голову и лизал мокрую гальку.

А Петька тем временем бродил под берегом речки и собирал ежевику — черную, с жесткими маленькими косточками ягоду. Он ел ее и давал есть Джеку. Пес морщился, тряс головой, тер себе морду лапами, но все-таки ел. И язык у него делался фиолетовый, как чернила.

Мальчишки при встречах перестали обращать на Петьку внимание. Они презирали его молча на расстоянии.

Так прошел месяц.

Мать видела, что сын стал оживать. Теперь он не сидел в углу комнаты, уперев лоб в стенку. Привычка так сидеть появилась у Петьки в Ленинграде, когда многие часы длились воздушные тревоги, в убежище тяжело дышали люди, с потолка при каждом, даже дальнем взрыве сыпались белые чешуйки штукатурки. В те времена Петька и привык сидеть, уперев голову в стенку и закрыв глаза. Он и здесь, в тылу, сперва все сидел так. И боялся выйти на улицу. А Джек вытаскивал его к свету, к солнцу, к реке. И Петька стал оживать.

Однажды он пришел и сказал, что ежевика так называется от слова «еж». У нее ветки с шипами, колючие. И ежик колючий. Вот ее и назвали.

Мать заплакала.

— Ты чего? — спросил Петька.

— Так... Просто так...

— Я, пожалуй, буду теперь спать на крыше, — сказал Петька. — Мы будем там спать вместе с Джеком. Можно?

— Уже осень наступает, Петя, холодно... Скоро тебе в школу записываться, — сказала мать.

— В школу?

Петька уже забыл, когда он ходил в школу. Это было еще до войны. Они ходили вместе с Витькой, сыном дворничихи тети Маши, и на уроках потихоньку от учительницы играли в фантики... И вдруг Петька почувствовал, что ему хочется пойти в школу. И хочется попасть в один класс с Сашкой, что ли... Это было странно, но это было так.

— Я схожу запишусь, — сказал Петька. — А на крыше можно спать?

— Ну, спи пока...

Крыша была плоская, глиняная. Глина рассохлась. По всей крыше змеились трещинки. Ветки карагачей и шелковицы были отсюда непривычно близки и доверчиво совали свои желтеющие листья прямо Петьке в нос.

Они с Джеком лежали, укрытые одним тряпичным одеялом. А по ночному небу медленно тек Млечный Путь. На вышках у пехотного училища перекликались часовые. Когда где-нибудь лаяла собака, Джек вскакивал, сдергивал с Петьки одеяло и рычал. Если Петька стонал во сне, пес лизал его шершавым, теплым языком. И Петька, просыпаясь, чувствовал на губах пресный вкус собачьей слюны.

Утром, когда собирались на работу взрослые, Анто-

нида выпускала на двор свою Катюху. Над городом плавал туман, повлажневшее одеяло холодило Петькины плечи; Джек убегал на прогулку, бесшумно и ловко прыгая с крыши. А Петька долго еще лежал, рассматривая горы. Вершины их в хорошую, ясную погоду казались ему жесткими и тяжелыми, как железо, а в хмурю — легкими и мягкими, как углы у подушек. И Петьке хотелось рассказать кому-нибудь про это. Но мать начала работать и виделись они только поздно вечером.

Его тянуло к сверстникам. Однако он знал, что те только и ждут подходящего момента разделаться с ним. И пес становился для Петьки чем дальше, тем дороже и необходимее.

Их дружба нравилась и матери, и глухой старухе, и Антониде. Даже старик почтальон сменил гнев на милость и часто задерживался передохнуть возле их дома. Джек признал старика своим и вместе с Петькой подходил к нему.

— Сегодня не смотрите, сегодня нет вам никаких писем, — бормотал почтальон. — Но это ничего... Еще придет вам конвертик. Еще из-под самого Берлину для вас письмо принесу... Все будет... Все...

Потом трогал Джека за ухом кончиком палки, тяжело, с натугой вздыхал, поднимался и брел дальше по своим почтовым делам.

Как-то уже поздней осенью, когда травы утром тяжелели от инея, стручки акаций почернели и раскрылись, а снега на горных вершинах опустились до первых отрогов, Петька решил приучить своего пса ходить в упряжи и таскать за собой лист фанеры.

Джек никакого желания залезть в ярмо не испыты-

вал. Это было верблюжье, а не его дело. У Джека сразу начинал почему-то чесаться живот, когда Петька прикреплял к его ошейнику веревочные постромки. Он чесал живот сперва одной, потом другой лапой, потом начинал трясти головой, валяться на спине и махать в воздухе всеми четырьмя лапами.

Безухая сука смотрела на всю эту кутерьму через щель в заборе, подвывала тонким голосом и скребла когтями землю. Она издевалась над Джеком за то, что он — такой большой и сильный пес — слишком много позволяет маленькому паршивому мальчишке.

Потом вышел из комнаты Антонида высокий сержант в короткой куцей шинели с вещевым мешком на плече. Его правая рука висела на груди, прихваченная грязной косынкой. Сержант остановился в воротах, чтобы понаблюдать за Петькой и Джеком.

Когда пес начинал валяться по земле и болтать в воздухе лапами, сержант сплевывал, целясь в черепок разбитой тарелки, и криво усмехался. И Петьке показалось, что военный смеется над ним, над тем, что он не может справиться с собакой. Петька рассердился и пихнул Джека в мягкий бок носком ботинка. Он не хотел ударить сильно, но пес от боли даже взвизгнул. Потом ощерился, зарычал и, оборвав постромки, убежал. Петька кричал ему вслед всякие ласковые слова, но Джек не слушал и не возвращался.

— Ну-ка иди сюда, — сказал сержант Петьке, опуская свой мешок на землю.

— Чего вам? — угрюмо спросил Петька.

— Поближе, так лучше разговаривать.

Петька подошел. Он увидел жженые дыры в полах солдатской шинели и услышал запах махорки, ремен-

ной кожи, влажного сукна. В глаза сержанту он не смотрел — было стыдно.

— Батька воюет? — спросил сержант. — Достань отсюда, — он показал на карман штанов.

— Чего достать?

— Кресало! — с раздражением сказал солдат. Щека его мелко задрожала. Он придержал ее рукой.

— Контузия? — спросил Петька, вытаскивая трут и кресало.

Сержант молчал. Он вошел сюда — на тихую улицу далекого тылового городка, в тишину облетевших деревьев, во двор, где мальчишка играл с собакой, — и напомнил о той войне, которую только что начал забывать Петька.

— Да. Контузия. Дрожит всяк раз от нервов, — стараясь говорить спокойно, наконец объяснил он.

— Вам чего еще? — спросил Петька.

— Пес у нас был. Степкой звали. Похож очень на твоего, — сказал сержант, раскуривая трескучую махорку.

— Джек! Джек! — закричал Петька, увидев что-то оранжевое в кустах возле забора.

— Обиделся он, — сказал сержант.

— Ага, — сказал Петька.

Сержант быстрыми затяжками докурил махорку, плюнул на пальцы и затушил окурок.

— Я вот и думаю, очень даже ребята в роте обрадуются, если я им твоего Джека привезу. А ты его и не любишь вовсе... Вон как в пах звезданул!

— Что? — спросил Петька, еще не понимая, чего хочет от него солдат.

— И собака воевать может, — сказал сержант. — Степа троих человек из боя вытащил, спас. Раненых.

Понял? Приведи Джека к вечернему поезду. Я тебе всю сотнягу не пожалею.

Он потянулся за своим мешком, но, увидев Петькино лицо, остановился, цепко взял Петьку здоровой рукой за плечо, встряхнул, близко заглянул в глаза:

— Очень ребята рады будут. Вся рота. Однако не настаиваю. Твое это дело.

И ушел. И вместе с ним ушел запах сыромятной кожи, непросыхающего подолгу сукна, окуренных махорочным дымом пальцев.

Петька знал этот запах. Он помнил разрушенный полустанок где-то уже за Ладогой — под Тихвином. Молчаливый серый строй солдат вдоль железнодорожных рельсов. Мешки у их ног. Колючий с ветром снег, промозглый холод. Свое тупое, голодное отчаяние, свою протянутую руку и: «Дяденька, дай чего... Дай, а, дяденька...»

Его втащили тогда в середину строя. Там не было ветра и снега. Там было теплее и пахло так, как от этого сержанта. Ему дали большой кусок настоящего сахара — крепкий, корявый и тяжелый, как осколок зенитного снаряда...

Весь день Петька просидел дома, уперев лоб в стенку, — так, как сидел раньше. В комнате было тихо, одиноко и только кружились и жужжали под низким покатым потолком мухи.

Он думал о войне — о тете Маше, отце, немцах, сгоревшем доме; о долговязом Сашке, других мальчишках, о себе и Джеке, о черной курице, Катюхе и почтальоне.

Когда в комнату заползли вечерние сумерки, Петька встал, будто очнувшись от сна, и вышел на улицу.

Джек сразу бросился к нему и завилял хвостом. Он уже забыл про обиду. Потом пес улегся возле арыка, и его пушистый хвост свесился в воду и стал болтаться по течению.

— Джек, дорогой, — сказал Петька, — Вынь, пожалуйста, хвост из воды. . .

Пес пошевелил ушами и улыбнулся.

Петька кулаком протер глаза. Вечерело. Снега на вершинах гор синели. Голые, как старые веники, стояли тополя. Растрепанные вороньи гнезда чернели в развилках стволов. На макушках тополей, отгибая тонкие веточки, качались вороны, каркали и шумно били крыльями похолодевший воздух.

Вернулась с работы мать, спросила:

— Ты чего такой, а, Петь? И Джек какой-то кислый. . .

В кастрюльке она принесла обед. Джек понюхал кастрюльку, лизнул матери руку.

— Я его ударил днем, и он обиделся, — спокойно сказал Петька. — А теперь ничего. Уже забыл, наверное. Ты носи суп, а то остынет. . . Мне тут еще надо на станцию сходить. . . Пойдем, Джек!

Петька пошел по дорожке вдоль тополей. Он сжал кулаки и сильно размахивал ими. Он решил не оборачиваться и не звать больше своего пса. Если он пойдет за ним сейчас, то. . . Если нет. . .

Джек лежал насторожив уши и ждал, когда Петька обернется и засмеется или засвистит. Что-то необычное почуял в его голосе пес. И мать почувствовала. И мать и собака смотрели, как шагает по пустынной дорожке хохлатый маленький Петька, странно размахивая зажатыми в кулаки руками.

Он все не оборачивался. Он боялся обернуться.

Джек чуть слышно, утробно заскулил и перевел взгляд на мать.

— Ну, что же ты лежишь? — спросила она. — Тебя зовут, а ты лежишь. . .

И Джек встал. Он не побежал, а только пошел за Петькой, низко опустив тяжелую лобастую голову.

У станции было много людей, и здесь Джек догнал Петьку и ткнул холодным носом его руку. Петька обхватил пса за голову.

— Так нужно, Джек, — шептал Петька. — Так нужно. . . Если б я был большой, мы уехали вместе. . . Джек, Джек!

Пес ничего не понимал. Он стоял и повиливал самым кончиком хвоста.

Вокруг торопились куда-то люди, шаркали сапогами, тащили тяжелые узлы, перекликались тревожными, уезжающими голосами. Они поругивались, обходя мальчишку и большущего рыжего пса, на клыки которого было боязно смотреть.

Петька поцеловал Джека в морду и, ощутив знакомый пресный вкус на губах, заплакал. От горя и слез Петька плохо видел. Фонари на перроне горели в огромных радужных кругах. Говор и крики волнами перекачивались вдоль состава. И только у последних вагонов поезда — простых теплушек — было спокойнее и тише. Здесь пахло солдатами и стукали по камням стальные затыльники винтовочных прикладов.

Кто-то положил Петьке на плечо тяжелую руку, и Петька сразу сунулся лицом в шинельную шершавую полу. Так Джек часто совался ему самому в колени. Сержант осторожно потискал его худые плечи, сказал мягко:

— Пришел, значит. . . Деньги-то возьмешь?

— Нет. Не надо, — сказал Петька в шинель.

— Ты прости, что говорю про это... Время такое. Разные люди-то бывают... Прости пацан, а?

— Его обязательно убьют? — спросил Петька.

— И нас убивают, да разве в этом дело? — сказал сержант и достал ремень. — Пуцай они нас с тобой, парень, победить попробуют!.. Привяжи ему ремешок.

Петька торопливо сел на Джека верхом и прикрепил к ошейнику ремень.

Джек не сопротивлялся. Он ошалел от гама и движения вокруг.

Когда поезд ушел и Петька возвращался домой, его побили мальчишки.

Они толкались возле единственного в городе кинотеатра. Петька пробрел мимо и не заметил ни скудных огней рекламы, ни знакомых лиц ребят из шайки. Те следили за ним до темного переулка.

От первого же удара Петька упал. Он хотел сразу подняться, но сверху навалилась шевелящаяся груда тел. Петька, стиснув зубы, шарил по земле, пока не нашел камень, и тогда ткнул кому-то камнем в лицо.

— Все на одного! — прохрипел Петька, в остервенении размахивая руками, и поднялся на колени. Его еще несколько раз ударили, но уже как-то вяло и неуверенно.

— Эх, вы! Эх, вы! — шептал Петька, задыхаясь. Ноги и руки у него тряслись. Мальчишки стояли вокруг гурьбой и удивленно молчали.

Городок засыпал. Над черными вершинами гор



вспыхивали голубые звезды. Холодный ветер шевелил на Петькиной голове хохлы.

— А где твоя собака? — угрюмо спросил наконец Сашка и сплюнул кровь с разбитой губы.

— Там, где тебя не было, понял? — сказал Петька. — Там, где я был, а тебя не было! На фронт Джек уехал!

— Айда, пацаны, по домам, что ли? — нерешительно спросил Косой, почесывая укушенную когда-то Джеком ногу.

И вдруг Сашка засмеялся:

— Ну он там и даст фрицам, этот пес!.. А ты голову в арыке помочи, тогда меньше болеть станет. Вода ужас какая холодная. . .

— Сам знаю, — сказал Петька.

В ТЫЛУ

1

Когда на юге бывает мороз, верхушки пирамидальных тополей — самых высоких деревьев — обмерзают первыми. Кора верхушек кудрявится и отстает, ветер обдирает кору. Отсохшие ветки стучаются друг о друга, скрипят. Но скрипа не слышно на земле. Его может услышать тот, кто влезет на высоту, туда, где живое тело дерева переходит в мертвую верхушку, — это метров тридцать. Он услышит костяной перестук отсохших веток и увидит весь маленький среднеазиатский городок — от окраины до окраины. И вершины далеких гор покажутся близкими. А провода внизу — электрические, телеграфные, телефонные — покажутся далекими и сложно переплетутся.

Сквозь паутину проводов надо направить падение верхушки тополя. Она весит пятьдесят, а то и двести килограммов. Она сламывается с подпиленного основания и, разрывая воздух костями ветвей, летит вниз. И оставляет в земле или асфальте глубокую вмятину. Она может убить человека, порвать провода, пробить

крышу неосторожного дома, если дом окажется близко под ветром. Обязательно надо учитывать ветер и точно выбрать момент.

Солнце опускается за горы, и листва деревьев становится холодной сразу. Роса выступает на глянцевитой коре.

Холодные, потвердевшие листья прокалывают майку, лезут в глаза, закрывают обзор и трепещут.

Все выше, метр за метром, ветка за веткой, сук за сучком.

От прогретой земли поднимаются теплые и сильные потоки воздуха. Это как планер, как сказка, как сон.

Босая ступня по-обезьяньи притирается к неровностям ствола, гулко работает сердце, пот мокрит ладони, судорога сводит ступню, от неожиданной боли сжимаются зубы. Надо распрямить сведенную ступню, опереться ею в плоское, но нет плоского. Надо переждать — судорога через минуту отпустит.

Ветки тополя тоньше и тоньше. Провода остались далеко внизу и поют там свои песни. Пора передохнуть, услышать тихие звуки, рожденные в глубине древесного ствола, качаться с ним вместе под ветром, среди наступающего вечера, сложных потоков восходящего в небо воздуха, ощущать тяжесть пилы-ножовки, висящей на боку; знать, что внизу настороженно ждут другие пацаны и волнуются.

Иногда короткий свист стрелой летит с земли — это пацаны подбадривают. . .

Неожиданные звуки слышит человек, если он поднялся над землей на тридцать-сорок метров. Он слышит

даже шевеление курицы на насесте в далеком сарае. И в этом шевелении курицы — отдаленность.

А кусочки коры и сухие листья, и всякая другая древесная перхоть набиваются за шиворот, в волосы и щекочут. Но это мелочи. Главное — выдавить из себя страх высоты.

Редеют листья — видна умершая верхушка. Костяно перестукивают голые сучья. Веет пустынностью и жутью — как в сгоревшем лесу.

2

Весной сорок второго года капитан Басаргин был тяжело ранен в бою под городом Сурож. Два с половиной месяца он провел в госпиталях. И еще один месяц, уже на положении выздоравливающего, прожил в маленьком среднеазиатском городке при пехотном училище, каждый день ожидая приказа отправиться опять на фронт. Из-за постоянного ожидания все казалось ему пролетающим мимо, бесплотным, ненастоящим — и жаркое осеннее солнце, и фиолетовые ишаки, и афиши Киевской оперетты, и буйная базарная толкучка эвакуированного люда: русских, украинцев, евреев — перед повозками местных спокойных людей, киргизов. Все это не могло быть для Басаргина реальной жизнью потому, что вот-вот должно было кончиться, как каникулы ученика, которому предстоит переэкзаменовка. Угрюмо-тревожное ожидание возвращения на фронт не покидало его и во сне.

Басаргин много читал, подбирая книги — биографии великих русских людей. Когда дело доходило до их смерти, до последних слов и поступков, у Басаргина

щипало глаза. И хотя он стыдился чувствительности, но еще больше боялся вдруг перестать когда-нибудь плакать при чтении о дуэли Лермонтова, например. О том, как все бросили поэта под дождем, грозой и ускакали. Басаргин был уверен, что Лермонтов не был убит наповал, что он еще пришел в сознание. И вина поручика Глебова — секунданта — казалась Басаргину чрезвычайно большой, потому что никто теперь никогда не узнает последних слов поэта.

Назначения на фронт он не получил. Приказано было принять роту в местном пехотном училище.

У военного коменданта, оформляя предписание, Басаргин познакомился с майором — морским летчиком, и тот принял в его судьбе деятельное и шумное участие. Майор через два часа уезжал, у него осталась пустовать комната, и эту комнату он стремительно переустроил Басаргину.

— Брось, — говорил летчик, пыхтя и вытирая пот с шеи. — Быть не может, чтоб ты себе не выхлопотал права на частной хавире стоять. Месячишку-то еще прокантуешься на правах выздоравливающего. Брось, лови момент. А комнатка — пальчики оближешь!

Майор действовал так стремительно, так плотно прихватывал Басаргина за локоть, так точно знал, что теперь, на тыловом положении, будет Басаргину хорошо и нужно, что скоро они уже поднимались по лестнице трехэтажного дома, настоящего, каменного, городского дома, возвышавшегося среди глинобитных домиков, как ледекол среди рыбацких лодок.

Комнатка майора оказалась действительно чудесной — с окном на горы, с близкими ветвями старого

карагача, с белыми стенами и ослепительным потолком. Переступив порог комнаты. Басаргин невольно вздохнул в полную грудь.

— Удивительно славно, — сказал он. — А прохлада!

Майор просиял.

— То-то! — сказал он, хвастаясь комнатой, как собственным своим произведением. — Отдай документы управхозу, в удостоверение — две сотенные, через две недели — еще две сотенные.

— Черт, я это не очень умею, — сказал Басаргин. — Старомодный затхлый, провинциальный русский интеллигентский осел.

— Солдату — бодрость, офицеру — храбрость, генералу — мужество, — пропыхтел летчик. Он был очень толстый — повар, а не летчик минно-торпедной авиации с двумя орденами Красного Знамени. Он стащил сапоги, плюхнулся на железную кровать и застонал от наслаждения, вытягиваясь. — Читал Суворова?

Кроме койки, в комнате не было ничего, и Басаргин сел на подоконник. Совсем близко шевелились ветки карагача. За карагачем росли пирамидальные тополя — целая аллея. В конце ее бесшумно дрожали в жарком воздухе горы. На ближний тополь лез мальчишка.



Пилка-ножовка взблескивала на его спине. А внизу, на земле, опустив ноги в арык, сидели еще трое мальчишек.

— Вы часто думаете о смерти, майор? — спросил Басаргин.

— Меня не убьют, — сказал летчик и дрыгнул ногами в воздухе. — Я знаю это точно. Недельки через две я буду в самом пекле, над Балтикой, но меня не убьют.

— Куда лезет мальчишка? — спросил Басаргин. Мальчишка забрался на тополь уже выше окна, выше третьего этажа.

— Здесь нет дров. Только саксаул в горах. Пацаны пилят сухие верхушки и продают ветки на базаре, не видел?

— Он может сорваться.

— Они часто срываются. Тополь — слабое дерево, хрупкое.

— Мне хотелось бы перед смертью повидать брата, — сказал Басаргин. — Вы, майор, даже не представляете, как мне он будет необходим, если придется умирать. Пашка, сказал бы я, мы с тобой, старина, прожили порядочными людьми.

— И это все?

— Да. Это не так просто — долго быть порядочным человеком.

— Конечно, но тебе необходимо почитать Суворова. Знаешь его: «Добродетель, замыкающаяся в честности, которая одна тверда»?

— Нет, не знаю, — сказал Басаргин, продолжая наблюдать за мальчишкой, который теперь качался на самой верхушке дерева, обламывая вокруг себя мелкие ветки. Ветки планировали и падали до земли очень долго.

— «Получил, быть может, что обретется в тягость», внушал старикашка. «И тогда приобретать следует достоинства генеральские». И такое не слышал? — спросил майор.

— Каюсь, — сказал Басаргин.

— Жаль, жаль, что уезжаю, а то за недельку сделал бы из тебя, капитан, суворовца.

— Когда человеку тянет пятый десяток, его уже не переделаешь.

— Сколько, ты думаешь, Маннергейму?

— Черт его знает... уже стар.

— Так вот, я даже его маленько перевоспитал. Я, капитан, спец по Маннергейму. Мы с ним друзья с тридцать девятого.

Летчику, очевидно, хотелось похвастаться. Ему оставалось до поезда час двадцать. И Басаргин спросил:

— Каким образом?

— В финскую я летал его бомбить на день рождения. Теперь — та же история. Бал в президентском дворце в Хельсинки. Пышность он любит. Офицеры специальный отпуск с фронта получает. Да. И сам товарищ маршал приказал кинуть генералу от нас подарок. Полетели... Чего он там?

Мальчишка на верхушке тополя все не мог приспособиться. Его товарищи внизу вытащили ноги из арыка и кричали ему что-то тревожное. Тополь шелестел листьями и глубоко клонился под ветром. Подкладка листьев была светлая, и по дереву, казалось, пробегали солнечные волны. Среди зеленого блеска судорожно копошилась маленькая фигурка. Глядя на мальчишку, раскачивающегося на тридцатиметровой высоте, глядя на вершины тополей, на горы, капитан Басаргин вдруг почувствовал огромный простор страны, в которую его

занесло военной судьбой: простор и жаркую красоту земли и неба, и сочность цветов в палисаднике, и крепкую, корявую старость карагача, ветви которого растопырились возле окна.

— Чего пацаны галдят? — спросил майор, запыхтел, слез с кровати, подошел к окну.

— А, — сказал он, всматриваясь. — На тополе Петька, по прозвищу Ниточка. Внизу Атос, Глист и Цыган. Цыган из Полтавы, Глист — вон этот, самый длинный и тощий — из Севастополя, а который ногой из арыка камень вытаскивает, Атос, — из Смоленска. Их всех давно в тюрьму посадить надо, бандитов, — с нежностью сказал майор.

— За что?

— Голодуха, сам знаешь. А они не только ветки пилят, а и еще кое-чем занимаются... Два мостика через главный городской арык сперли, четыре телеграфных столба спилили и минимум по тонне каменного угля на брата. Это только то, что я знаю. Специальное постановление горсовета о тюремном заключении за расхищение мостов; на сутки прерванная связь этого паршивого городка со всей сражающейся страной и специальный пост железнодорожной милиции возле места, где паровозы бункеруются, — вот тебе результаты их безнравственной деятельности. Теперь-то они мне слово дали, что столбы и мосты трогать не будут. И до чего ловки, шельмы, всего раз попались... Но их не расколешь, у них, капитан, боевая дружба. Двое суток сидели не жравши и молчали — голодовку объявили. Ну, дали им по шеям и выпустили...

Да, о Маннергейме я тебе не закончил, — майор вернулся к кровати, подпрыгнул и хлопнулся спиной на матрац, подождал, пока не затихли пружины, и про-

должал: — Ну, полетели мы на Хельсинки, кинули подарок. . . Финны, ясное дело, сердятся. Такой шухер подняли! Выбили мне один мотор. Удираем на другом. Перегрелся гад! Ша — тишина. Дурное настроение. Падаем в залив, — летчик перевернул правую руку ладонью вниз и спланировал ею на пол. — Приказываю открывать колпаки у фонарей, чтобы не заело при ударе. . . Тьма. Волна балла два-три. Мороз декабрьский. Лодки надулись, а машина — буль, буль, буль. Сглотнули аварийного спиртика, водичкой забортной запили. Она, подлая, соленая, в глотке комом стоит. Обмерзаем, память вышибать начало. Утром подлодка близехонько продувается, всплывает. Немцы, думаем. Решили геройски застрелиться. Пистолеты ко лбам — щелк, щелк. А они — ни фига. Позамерзали пистолетки. Так. Лодка тем временем от нашего геройства перетрусилась и шасть обратно в воду. Потом все-таки опять всплывает. Окликают прямо по фамилиям: майор Иванов? второй пилот Алексеев? И так далее. Молчим геройски, потому что фрицы таких асов, как мы, по именам знают. Но оказалось — свои, нас искали.

Летчик запустил руку под кровать и вытащил чемодан. До поезда ему оставался ровно один час.

— А у меня на фронте ничего такого не случилось, — сказал Басаргин. — Нелепостей только много. . . Грязно, холодно, и живот в самый неподходящий момент прихватывает. А ведь после войны сколько разного расскажешь. . .

Басаргин много думал о той цепкости, с какой воевавшие люди не хотят забывать о войне. Он знал это по себе: был в гражданскую санитаром. И когда ловил себя потом на рассказах о войне, то понимал, что это по причине малой значительности его жизни. Жизнь сред-

него человека малозначительна, а войны — явление историческое. И через причастность к войнам человек приобретает вес в своих глазах и в глазах окружающих.

— Через день — на ремень, через два — на кухню, — бормотал летчик, собирая чемодан.

Мальчишка на тополе уронил ножовку. Она вжикнула вниз и застряла в ветке карагача, над электрическими проводами.

— Веревка, сука, перетерлась! — заорал с тополя Петька. И стал осторожно спускаться. Время от времени он раздвигал ветки и глядел вниз, на землю и на застрявшую ножовку.

— В детстве чрезвычайно крепко привязываются разные нелепые усвоения, — сказал Басаргин. Он понимал, что говорит ерунду, но ему неловко стало ожидать, когда человек освободит жилье; когда человек соберет чемодан и пойдет на поезд; когда человек заберется в битком набитый вагон и отправится в тот мир постоянной неуютности, который называется фронтом. — Нам с братом в детстве мать внушила, что нельзя есть апельсин, не очистив с долек белую шкурку, подкладку эту белую: от нее заворот кишок бывает. И вот я до сих пор это помню. . .

— Ты с какого года?

— Девятисотого.

— Ну, а этим пацанам такого не внушают, будь спок, — сказал летчик. — Эй, шпана! — заорал он в окно. — Пилку-то теперь фиг достанешь! А? Пилка для них — главное орудие производства, — объяснил он Басаргину.

Пацаны не услышали, они закуривали.

Петька медленно, раскорячившись лягушкой, сползал по тополиному стволу. И все не решался спрыг-

нуть — сильно устал. Он сползал по стволу до тех пор, пока вытянутой ногой не нащупал траву на бровке арыка. Тогда он разжал пальцы, встал, разогнулся и глубоко вздохнул. И сразу сел на землю.

— Глист, кажись, ворюга базарный, но они с Ниточкой уже два раза на фронт бегали... Сейчас накурятся, а потом будут мяту жевать, чтоб матери запах не услышали. А у Атоса кроличья лапа есть, и он этой лапой другим пацанам за ушами чешет... Ножовку-то с дерева так не достанешь. Сшибать ее надо, — сказал майор. — А если отсюда веревкой с крюком, а? Как думаешь, капитан?

Басаргин посмотрел на часы. До поезда оставалось сорок минут. Басаргин подумал о том, что майор совершенно не испытывает никаких предотъездных эмоций. Даже в мирное время, когда человек собирается к дачному поезду, он как-то отъездно себя чувствует. А этот толстяк ни о чем не думал, черт бы его побрал.

Без стука вошла в комнату девчонка лет тринадцати с гитарой в руках, остановилась возле порога, спросила:

— Так ты на самом деле уезжаешь, дядя Ваня?

— А, — сказал летчик, любуясь девчонкой, — Карменсита пришла! Смотри, капитан, в эту Карменситу все здешние мальчишки влюблены. Хороша будет, а? — Он опять хвастался девчонкой, как своей собственностью.

— Вот еще! — сказала Карменсита. Красная лента в черных волосах, короткая юбочка.

— Спой на прощанье, детка! — приказал майор. — «Землянку»!

— Я не могу сразу, дядя Ваня.

— Веремени нет, детка, разгон брать. А мы глаза закроем, хочешь?

— Не надо! — сказала Карменсита. — В госпиталях еще труднее петь, — и стала перебирать струны, настраивая гитару. Потом подошла к кровати, поставила ногу на перекладину и запела: «Бьется в тесной печурке огонь. . .» Но песня не получилась у нее, она остановилась, спросила:

— Значит, ты насовсем уезжаешь?

— Выходит так, детка.

— Я тебя никогда не забуду, дядя Ваня! — сказала Карменсита и заплакала. — Мы все тебе писать будем, ты нам полевую почту пришли, — и она скользнула из комнаты.

— Ее Надя зовут, Надежда, — сказал майор и от некоторого смущения за свою растроганность выругался. Потом, топя сапогами, вышел из комнаты. В коридоре загремел его голос:

— Хозяюшка, бельевую веревку выдай, а? Верну сразу! Нет? Врешь поди, хохлацкая душа?!

Он вернулся с двумя пустыми водочными бутылками и с порога кинул одну Басаргину:

— Ну, капитан, тебе, пехтуре, и карты в руки. Метни противотанковую!

Басаргин старательно прицелился и бросил бутылку. И конечно, промазал. И конечно, бутылка разбилась в двух шагах от милиционера, который вдруг вывернулся из-за угла. Мальчишки шуранули врассыпную. А летчик, называя милиционера «Яшка», объяснил ему с высоты третьего этажа все про пилку. Потом вытряхнул из своей бутылки каплю на ладонь, слизнул и запустил бутылку. И попал, конечно.

До поезда оставалось двадцать минут. Басаргин взял чемодан летчика и пошел к дверям. Он завидовал майору. И, главное, тем, кто воюет с ним вместе.

По дороге до вокзала майор все вырывал у него чемодан, пыхтел, жаловался на жару и обещал передать привет Маннергейму не позже декабря.

Поезд задерживался отправкой, как будто машинист ждал летчика специально.

Пропустив последний вагон, посмотрев ему вслед и незаметно плюнув на рельсы — тоже детское еще, какая-то примета, обеспечивающая счастье уезжающему, — капитан Басаргин вышел на привокзальную площадь и почувствовал свободу от забот и легкость.

Явиться в часть он должен был завтра. Крышу своей части он видел невооруженным глазом. Ночлег у него был обеспечен прекрасный. И от всего этого благополучия ему стало совестно.

Сумасшедшая старуха сидела в скверике, сматывая с чудовищно распухших ног бинт. Когда Басаргин проходил мимо, она схватила его за полу гимнастерки и запричитала:

— Помоги убогой, родненький!.. С тюрьмы еду, третий день маковой росинки во рту не было!.. Уступи хлебца кусочек! Я тебе бинтик отдам, весь отдам, родненький!..

Пустые глаза старухи были сухими, без слез.

Басаргин дал ей сто рублей. И когда отошел, то ощущение свободы усилилось в нем. Он как бы заплатил за беззаботность на этот вечер. «Господи, — думал Басаргин. — Мы живем один раз, один-единственный. И каждый день, уходя, не возвращается больше никогда. Надо стараться чувствовать эту жизнь. И свою сорокадвухлетнюю, и жизнь этого ишака, и этого урюка. И вот по тротуару идут с работы домой молодые женщины, и на заборе висит афиша «Сильвы», и вон семечки на асфальте, и асфальт мягкий от дневной жары. . .»

Он купил билет и пошел в оперетту. Над деревянной загородкой летнего театра поднимались густые кроны дубов. Деревянные скамьи без спинок были полупусты. Усталая Сильва тяжело бегала по гулким доскам летней сцены. Бони был похож на обезьяну. Но оркестр играл весело, с подъемом. Быстро темнело, и слушать музыку среди черных деревьев и вечерней прохлады было хорошо. Грезилось счастье, и верилось, что рано или поздно оно придет. И как обычно, когда Басаргину было хорошо, ему не доставало брата.

Они по-настоящему дружили. Петр Басаргин даже не женился. Дочка младшего брата давала ему достаточное утешение в том, что жизнь не совсем закончится со смертью. Кровь, которая текла в Веточке (так звали племянницу), — его родная кровь.

Последний раз они встретились с братом за день до начала войны. Брат был моряк, плавал на линии Ленинград — Гамбург и в день их встречи выглядел уныло.

Они сидели в сквере перед гостиницей «Астория». Брат вполголоса рассказывал о Германии. О стали, чечевице и хлебе, которые сплошным потоком шли от нас в Гамбург. О том, что он никогда не чувствовал себя таким русским, таким советским человеком, как под взглядами штурмовиков. Штурмовики ворвались и силой обыскали его судно, несмотря на протест капитана.

Брат был уверен: война начнется с часу на час. А Петр Басаргин не верил в это. Его тревожили опасные, острые слова брата. И старший убеждал младшего держать язык за зубами. Если мы заключили с немцами договор, значит, в этом есть какой-то высший смысл. И они даже слегка поссорились в эту свою последнюю встречу. Но потом обнялись перед расставанием, хотя,

как и большинство мужчин, стыдились таких сантиментов. . .

Теперь Пашка плавал где-то на севере. За него было тревожно. И тревожно за стариков родителей, которые сидели в блокадном Ленинграде и никуда, упрямо и непреклонно, не хотели уезжать. Но дочка брата жила в Сибири, в полной безопасности. Петр поделил свой денежный аттестат между стариками и племянницей. Теперь, из Азии, он еще рассчитывал помогать им посылками.

— Частица черта в нас. . . — бормотал Басаргин, шагая по совершенно пустынным улицам домой. Гундосили жужелицы. Звезды мерцали. Звенели арыки. За дувалом ударял в каменистую землю кетмень. Волнение от предчувствия близкого счастья теснило Басаргину грудь. Он знал в себе это тревожно-приподнятое настроение. Оно появлялось иногда среди самой неподходящей обстановки. Трудно становилось дышать. Причины волнения были неуловимы. Это настроение, Басаргин знал, было ложным. Никакое счастье не ждало впереди. Но предчувствие волновало.

Долго не спалось. Все еще непривычно было лежать под одной только простыней. Не хватало тяжести шинели, полушубка. Легкость мешала. А может, мешало и другое — тишина. Полтора года военного гула, грохота боев, стука бесконечных эшелонов. И вот — тишина и шепот листвы.

«Господи, — думал Басаргин, — неужели это правда, что я мог протянуть руку и тронуть крест на броне танка? Неужели это было? Неужели был этот запах солярного выхлопа, горячего масла и пыли? Какая тупая, серая сила в моторе и гусеницах! Как похож танк на бездушное животное. Как тяжело смотреть в его глаза и

не опускать свои! Черт знает, кто помог мне остаться порядочным человеком во всем этом кошмаре. Какой я солдат? Я все время был на пределе напряжения, чтобы сохранять порядочность. Какой я солдат, если три четверти сил уходит на страх перед тем, что ты можешь струсить. Солдат не должен думать о том, что может струсить. И не должен заранее мучиться по такому поводу. И не должен уставать от неуютности. Настоящему солдату должно быть уютно на войне, в любом месте он должен уметь создать себе уют. Нельзя бояться струсить больше смерти. И мне еще доверяли людей! Какое счастье, что я не наломал дров. . .»

3

Если пробираться возле самых заборов, можно ходить босым по зимним улицам южного городка. Конечно, очень холодно ступать по комковатой от ночного заморозка грязи. Но хуже то, что стыдно. Тебе четырнадцать, и есть на свете Надя, она учится на пятерки, поет песни совсем как взрослая. Она поет: «Похоронен был дважды заживо, жил в окопах, в землянках, в тайге. . .» Большая, суровая, взрослая, красивая встает из песни чья-то жизнь. Какой-то взрослый мужчина воевал и падал на снег, и вставал, и шел в атаку. О нем поет Надя, она делается равной для него. А тебе надо прожить несколько лет до взрослости. И поэтому, наверное, так щемяще-тоскливо на душе, когда поет Надя: «Я люблю подмосковную осень. . .» Скорее стать мужчиной, солдатом. Надя поет: «Пропеллер, громче песню пой, неся распластанные крылья. . . В последний бой, в последний бой летит стальная эскадрилья. . .» Можно

только курить непривычный табак, курить до тошноты и жевать потом горькие листья мяты. Нельзя расстраивать мать, ей и так досталось. Надя поет: «Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза...» Если бы она пела и о тебе... Она смеется. Ей смешно, что сегодня учительница по немецкому не пустила тебя в класс.

— Ниточкин, я тебя предупредила: босым больше не приходи. Я понимаю, сейчас всем трудно. Но я не могу отвечать за тебя, если ты схватишь воспаление легких.

— Плевать я тогда на вашу школу хотел!

Он на нее и плюет. Вот только Надя сидит в классе. И хочется сидеть близко от нее.

— Убирайся отсюда, Ниточкин!

— Плевать хотел я на вашу школу!

Он умеет хлопать дверью. Это умение в запасе, как последнее слово. Только не надо бояться хлопать дверью, и тогда — как ни лишай тебя слова, как ни затыкай тебе рот, — последнее слово остается за тобой.

«Кр-ряк!» — говорит дверь, шмякаясь в косяки. Пока в человеке есть достоинство, пока руки ему не связали за спиной, он еще может сказать последним: «Кр-ряк!» И даже если руки уже связаны, он может изловчиться и пихнуть дверь ногой или задом, или даже



головой. И тогда те, кто связал руки и заткнул рот, поймут, что последнее слово осталось за ним.

Надя поет: «Идет война народная, священная война. . .» Солдаты падают на снег, и танки идут по солдатским телам, рвется в солдатской руке последняя граната. Солдаты не сдаются на этой войне, они не разжимают губ. И он не разожмет.

Он валяется на грязном полу в милицейской камере, пойманный на сортировочной с ведром угля воришка.

— Фамилия?

Он усмехается.

— Где живешь?

Наивные люди! Они думают запугать его колонией. Они думают запугать его! Он сейчас Матросов и Клочков, Зоя и Покрышкин. Он падает под танк с последней гранатой в руке. Надя еще поймет, над кем она смеялась.

— В камеру! Утром заговоришь!

Он валяется на грязных досках. Рядом пьяный безногий инвалид и спекулянтка рисом, и нет воды. Со всем, как в стихе про испанского революционного солдата. Вот только у того солдата не было мамы. Она не знает, куда он пропал, и теперь не спит и плачет. Его бьет озноб — малярия всегда свирепеет к вечеру, голова распухает и гулко звенит, и доски жестки, и нет воды. Ничего, Зое было похуже! Как бесконечны бывают ночи, как медленно бледнеет за решеткой небо, как лязгают зубы в ознобе. Ничего, он отомстит за двойку по немецкому, за «Анна унд Марта баден», за «Убирайся отсюда, Ниточкин!». У нее окно светится по вечерам, — у всех здесь горят огни. Они и не знают, как темно бывает на улицах, когда окна занавешены, а патрули сажают очередь из автомата по самой маленькой

щелке. «Анна унд Марта баден!» Хороший булыжник проломит обе рамы и достанет до абажура, до голубого абажура.

— Фамилия?

Он усмехается.

— Где живешь?

— Пустое дело, дядя.

— Сержант, пиши ему сопроводилровку!

— Пустое дело, дядя. Сбегу.

Иногда даже приятно бывает получить ласковый пинок под зад и лбом отворить дверь.

4

Цветы мешали бежать. Они росли так густо, что сапог не всегда доходил до земли. Бежать было скользко. Головки цветов били по коленям.

Капитан Басаргин бежал впереди взвода. Тактические занятия: «Взвод в наступлении в условиях сильно пересеченной местности». Огонь пулеметов усиливался. Капитан положил взвод и приказал окапываться.

Солнце палило. Капитан дышал тяжело. Пот заливал глаза. Каска обручем сдавливала голову. Вокруг цвели тюльпаны. На их толстых листьях и стеблях блестели солнечные блики. Басаргин лежал, закинув правую руку вперед, прижимаясь лицом к теплым цветам. Рядом лежал сержант, окапывался. Обнаженная земля пахла терпко, и дышать от этого запаха делалось еще труднее. Лепестки тюльпанов просвечивали теплым, розовым цветом, как просвечивают на солнце детские ладони.

«Я сильно изранен, — думал капитан, — я так слаб,

что даже эта работенка не для меня. Я слаб для войны, черт побери... Я действительно имею право бегать в атаку только здесь, в тылу. Я имею на это право. Вон, как трепыхается в башке. Прямо затылок сейчас треснет...»

— Справа по одному! Короткими перебежками! — скомандовал он. — В направлении отдельного камня...

Сам он продолжал лежать, наблюдая, как вскакивают, бегут и падают его солдаты. Это были молодые парни, но от жары и усталости бежали они тяжело и в конце перебежки валились на землю, не выставляя руки, прямо на левый бок, и не отползали в сторону от места падения. Использовали для передышки каждую секунду.

Их надо учить, думал капитан, их надо заставлять отползать в сторону от места падения. Они надеются, что среди тюльпанов ничего не видно. А хороший автоматчик видит все. Их надо учить.

Солдаты вскакивали и бежали все дальше и дальше от него. И вместе с солдатами убегали по разноцветным холмам его мысли. Чередой дежурств, построений, утренних осмотров, чистки оружия, строевых занятий, караулов, стрельбы и ротной документации спешили дни, недели и месяцы. Басаргин втянулся в их ритм. Он давно не читал книг о больших русских людях.

5

Или мальчишка заметил тень Басаргина, или услышал его шаги, но он не вздрогнул и даже не повернул головы, когда твердые пальцы капитана сжали ухо.

Мальчишка только теснее приник к земле возле мусорной ямы.

Было за полночь. Фонарь у гаража горел тускло. Крапал дождь.

Мальчишка проглотил слюну. Было слышно, как гулко булькала она у него в горле.

— Отпусти, дядя. По-тихому. Я не полезу больше, — сказал мальчишка.

Басаргин потянул кверху маленькое ухо. За ухом поднялся на ноги мальчишка. Сверкнул быстрый исподлобья взгляд. Босые ступни — одна внакроей другой. И на лице и в позе мальчишки сквозила спокойная хмурость.

Капитан Басаргин хотел крикнуть наружному часовому у вышки и взгреть его за ротозейство. Под самым носом часового человек пробирается на территорию части! Басаргин хотел крикнуть, но не сделал этого.

— Ты чего сюда пролез? — шепотом спросил он мальчишку.

— Отпусти! Не убегу, — сказал мальчишка.

Басаргин взглянул на переплетение колючей проволоки вдоль ограды и отпустил ухо мальчишки.

Из мусорной ямы тянуло гнилью, плесенью, сладковатым запахом разложения.

— Где пролез? — спросил капитан. — Иди и покажи точно. — Ему надо было выяснить, кто именно из часовых прохлопал.

— Нигде не пролезал. С неба упал. Ведите куда положено, — буркнул мальчишка и подтянул на грудь солдатские галифе. Пожалуй, он мог спрятаться в них с головой. Он поднял глаза и смотрел теперь Басаргину прямо в лицо.

В твоём положении, парень, лучше не делать так, лучше не смотреть в лицо, подумал капитан. Наказание всегда меньше, когда смотришь в землю. Есть люди, которые не умеют прятать глаза. Такие гибнут первыми. Если не в бой, так на тяжкую работу их посылают вне очереди. Потому что чувствуют их силу. И тогда легче отдать тяжелый приказ, послать в бой или на тяжкую работу. Такие не опускают глаза, когда в камеру входит надзиратель. Нет ничего опаснее, как обращать на себя внимание в концлагере. Пленных, которые обращают на себя внимание, первыми отсчитывают на расстрел.

— С неба, значит, упал? — спросил Басаргин.

Мальчишка молчал и не опускал глаза.

Из той же породы и добровольцы, подумал Басаргин. Из породы тех, кто не умеет прятать глаза. Они шагают из строя, когда командир заметит их взгляд, потому что, увидев его, этот взгляд, командир невольно спросит: «Вы?» И сил уже не хватит ответить: «Нет». И они шагают из строя вслед за своим взглядом, они уже не могут отстать от него. Я-то из других, я из незаметных. Потому я и здесь.

Брезентовый мешочек лежал рядом с мусорной ямой. Капитан нагнулся и поднял мешочек. Он был наполовину полон картофельными очистками и мелкими цельными клубнями. Такими мелкими, что солдаты из кухонного отделения не чистили их, — если чистить, ничего не останется.

— Для чего собрал? — спросил Басаргин.

— Свинья у нас, боровок, — сказал мальчишка и отвел глаза. Он явно врал.

— Свињям повара жидкие помои на КП выносят, — сказал Басаргин. — Туда и надо приходиться.

— Отпусти, товарищ капитан. Мать ждет, — сказал мальчишка.

Басаргин взял мальчишку рукой за голову и повернул к свету.

— Петькой тебя зовут?

— А тебе какое дело? Веди куда положено. Душу только мотаешь.

— А мы знакомы, — сказал Басаргин. — С того дня, как ты пилку на карагач забросил. . . Застрелят, если будешь сюда по ночам вором лазать. Нельзя ж на территорию. . .

Капитан не успел договорить. Мальчишка метнулся к ограде, бросился животом на землю и скользнул под проволоку. Но он слишком торопился, чтобы удачно миновать ее колючки. Он безнадежно зацепился штанами.

Басаргин подошел к ограде и приподнял проволоку, помогая мальчишке освободиться. Он увидел свежие царапины на заголившейся спине, потом мелькнули черные пятки, и мальчишка вскочил на ноги уже за ограждением.

— Мешок возьми, — сказал Басаргин.

Мальчишка показал ему язык и пропал в густых зарослях акации.

Капитан улыбнулся и еще постоял возле мусорной ямы, широко расставив ноги, привычно положив руку на гладкую кожу кобуры. Вокруг было тихо. Едва шелестел в листьях акации дождь. За огромным, утрамбованным тысячами солдатских подошв строевым плацем время от времени раздавались протяжные крики часовых.

Капитан думал о том, что середина войны уже позади. Он вспомнил слова: «Получил, быть может, что

обретется в тягость». Тягость лежала на сердце. И Басаргин давно не замечал простора страны, огромности неба, яркости красок, не знал волнения от предчувствия близкого счастья. И наконец он понял, что хотел сказать Суворов.

Басаргин перекинул через колючую проволоку мешочек мальчишки и зашагал под стеной казармы к дежурке.

6

Надя смеется: «Послушай, Ниточка, без тебя скучнее в школе. Скоро у тебя будут сапоги?» Надя поет: «И стаи стремительных чаек гвардейцев проводят в поход...»

Короткими перебежками... Так, теперь залечь. Еще десять шагов до дувала — по-пластунски. Не поднимай задницу! Не поднимай задницу! Помни военрука, искалеченного под Великими Луками! Военрук — хороший учитель. Так, теперь осмотреться... Разводящий поворачивает за угол казармы... Не торопись, не торопись, когда попал в переплет, учит военрук. В окружении, один, раненый, военрук заполз в хату и увидел крынку с молоком, но в молоке было битком набито мух, а военрук не пил уже сутки, и тут еще в деревню въехали немцы, и военрук уползал по канаве, среди сухого бурьяна, бесшумный, как ящерица.

Бесшумные, как ящерицы, ползут теперь его ученики. Ничего, скоро у них будут сапоги. Очень жаль, что на экзамене Ниточка подвел военрука — не смог найти шептало. Ничего, теперь он знает винтовку не хуже старого солдата. Отвратительно, что у школьных винтовок просверлены казенники, но штык не про-



сверлишь. Штык лежит на чердаке. Когда знаешь, что где-то лежит твой собственный штык, тогда легче жить на этом темном свете. А сейчас впереди солдатский сортир на пять дыр. Каждая доска пойдет по десятке, а опорные балки — по сотне. И Цыган ползет к сортиру, и Глист, и Атос.

Тут тонкое дело — у часового в винтовке не просверлен казенник. Держи ухо остро, выбирай тень потемней, не зашуми саперной лопаткой, подкапывая опорные балки, не свались в яму с дерьмом — оттуда не выручит тебя, пожалуй, никто. Уж больно некрасиво потонуть в солдатском дерьме. Но игра стоит свеч, пацаны! Атанда, пацаны! Атанда! Как вас учили переползать под проволокой, как учили швырять на нее шинель, как вас учили молчать, когда колючки царапают загривок... Молчок, пацаны, атанда! Как там на вассаре — все спокойно?

Дождь шумит по акациям и по жирным листьям горчицы. Как ни вымачивай горчицу, все одно лепешки из нее будут горьки, как горчица. Зато лепешки из дуранды — прекрасная штука. Надо сахарными щипцами мелко-мелко колоть дуранду, засыпать ее в кастрюлю до половины и налить воды. Дуранда размокнет, и сделается целая кастрюля тюри. Но не надо есть ее сырой, а то от боли в животе будешь кататься по полу. . . Атанда, пацаны, атанда — дежурный по части выходит из караулки. . . Сортир на пять дыр катится по бревнам-каткам метр за метром. Уже скоро рассвет, пацаны! Торопись, разламывай сортир на доски, растаскивай добычу по укромным местам. Кому какое дело до бедного часового. Прокараулил часовой сортир, сидеть часовому на гауптвахте.

Надя поет: «Похоронен был дважды заживо, жил в окопах, любил в тоске. . .» Она поет и смотрит, и непонятно, о чем она так смотрит, такая взрослая, такая далеская, такая вся умытая, чистая, такая вся отличница. И тербит косу, перевязывает в косе бант и вдруг делает из кончиков косы себе усы и шевелит усами.

— Пойдем в оперетту, Ниточка? У тебя такие шикарные сапоги! Ты «Роз-Мари» видел?

7

«Милые мои старики! Сегодня я уезжаю на фронт. Понимаете, душа изнылась. Я сперва как-то втянулся в эту жизнь, привык. И казалось, что так все и надо — учить в тылу людей воевать. Потом стало мне все тре-

вожнее. Видел я как-то маленькую девочку, очень похожую на Веточку. Она держала на ладони божью коровку и просила: «Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба!» И я будто проснулся. Сердце кровью облилось... Написал несколько рапортов, но начальство не отпускало. А тут подвезло — и смех, и грех: мальчишки украли с территории солдатскую уборную. Часовые прохлопали. А я дежурил. И начальство так разозлилось, что подписало мне рапорт. Посылаю вам маленькую посылочку с сушеным урюком и салом...»

Капитан Петр Басаргин пропал без вести в последние дни войны при форсировании Эльбы у Дрездена.

ДВЕРЬ

1

Тамара Яременко, пятнадцати лет, полурусская-полуукраинка, родившаяся в Киеве и потерявшая мать во время бомбардировки Пензы, добралась до Ленинграда к тетке по отцу.

Тамара была девочка высокого роста и выглядела старше своих лет. Тетку Анну Николаевну она никогда раньше не видела, и отношения у них сложились тяжелые. Анна Николаевна хотела спасти от гибели десятилетнюю дочь Катю, ради нее шла на любые жертвы, а Тамара, свалившаяся на голову в самое страшное время, вынуждала к заботам о себе.

Но Тамаре некуда было ехать. Да и Ленинград был окружен.

По мере того как голод увеличивался, морозы усиливались, безнадежность в душе Тамары росла. И, как это ни странно, главной успокаивающей мыслью была у Тамары мысль о том, что ей не надо ходить в школу и что она может забыть о своем высоком росте, из-за чего мальчишки раньше смеялись над ней. Она понимала,

что слабеет и что может умереть скоро, но не пугалась этого, потому что не успела повзрослеть от несчастий. И когда во время воздушных тревог она читала Кате «Хижину дяди Тома», то плакала с ней вместе.

Тамара не поднималась в мыслях до судеб страны, своего народа, хотя давно привыкла говорить не «честное пионерское», а «честное комсомольское». Она как бы замерла, ожидая возвращения той жизни, которой она жила недавно в зеленом городе Киеве, над Днепром, среди тихого стрекота стручков акаций, с мамой и отцом.

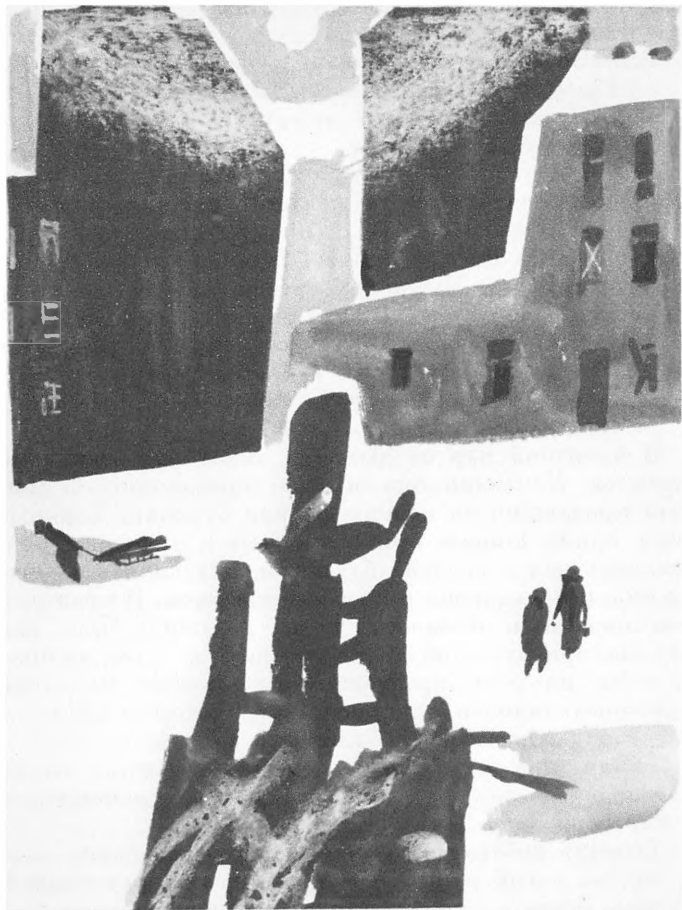
Ранним утром четвертого января сорок второго года Тамара стояла в очереди к булочной на площади Труда.

«Небо уже фиолетовое, — думала она. — Скоро откроют дверь. Добавок, если он будет маленький, я съем. Прижму его языком к зубам и буду держать. Из него пойдет сок. В нем много сока, особенно в корке, хотя она и твердая. А о морозе лучше не думать. Если долго что-нибудь терпеть, уже ничего и не замечаешь. В таком небе мороз еще больше, чем на земле, и летчикам, наверное, еще хуже, чем нам. Если сейчас не откроют дверь, я закричу. Я совсем, совсем уже не могу. Почему, когда людям плохо, морозы совсем фиолетовые? Если есть бог, он злой. Моему животу еще никогда не было так холодно. Господи, прости меня, пускай дверь откроют. И пусть они свешают хлеб с добавком, потому что я никогда не отковырну кусочек от целой пайки. . . А у старушки уже не идет пар изо рта. Зря она села на тумбу. Если я не пошевелюсь, то тоже умру. Ничего, ничего, откроют же они дверь когда-нибудь. Они нас обвешивают, крошки падают сквозь деревянную решетку, и под прилавком к вечеру набирается целая гора крошек: и продавщицы их едят, они обязательно их

воруют. Но все их боятся, потому что они могут обвесить еще больше. Мороз такой синий-синий. Нет, нельзя плакать. Я приду домой, лягу, укурюсь с головой и тогда буду плакать. Сколько я не съела завтраков на переменах в школе, сколько не съела винегрета! Когда булка подсыхала и масло на ней желтело, я выбрасывала завтрак. . . Вот. Они открывают дверь. Куда лезет этот ремесленник? Ага, его отпихнули. Так ему и надо. Дяденьку запустили. И тетеньку из проходного двора. Меня — в следующий раз. А бабушка замерзла. И бидон на снегу стоит. И кто-нибудь вытащит у нее карточки, потому что нет ни патрулей, ни милиционера. . .»

Тамара стояла теперь возле самой булочной. Стекло в двери было выбито и заколочено досками. На шляпке каждого гвоздя вырос иней. Из булочной слышался глухой ропот от переминания многих ног по простывшему полу. Слева от дверей стоял ремесленник — мальчишка лет пятнадцати, в рваном форменном ватнике, с замотанной полотенцем шеей, в натянутой на уши кепке. Он прислонился к стене, глаза его полузакрылись, как у спящей птицы, синее лицо не выражало ничего. Он несколько раз совался к дверям, но его отталкивали. И он стоял возле стены, не понимая, что надо занять очередь в конце, потому что приходят все новые люди и они не пустят его впереди себя, хотя он пришел раньше их.

Город медленно выползал из тьмы, но не просыпался, потому что и не спал. Город и днем и ночью хранил в себе оцепенелость. Простор площади волнился сугробами. Между сугробами извивалась очередь в булочную. С крыш курилась снежная пыль. И все это было беззвучно. Как будто город стоял на дне мертвого моря. Густо заиндевелые деревья, разрушенные здания, мо-



сты, набережные, очередь в булочную — все это было затоплено студеным морем.

Ремесленник открыл глаза и сказал шепотом:

— Граждане, я вчера здесь, в булочной, карточки потерял, пустите, граждане, не вру, граждане, помираю.

Никто ему не ответил.

«Если карточки потерял, зачем тебе в булочную, — думала Тамара. — Нет, ты не двигайся, ничего у тебя не выйдет. Я тебе не верю. А может быть, я тебе верю, но лучше мне тебе не верить. Это так страшно — потерять карточки. Лучше пускай бомба упадет прямо в кровать. Только немцы мало бомбят зимой. И лучше бы наши не стреляли из зениток. Как только наши начинают стрельбу, так они и бросают бомбы».

Дверь отворилась, и кто-то сказал:

— Следующие двадцать.

В булочной пар от дыхания витал над огоньками коптилок. Коптилки горели возле продавщиц. За спинами продавщиц на полках лежали буханки. Длинные ножи, одним концом прикрепленные к прилавку, поднимались над очередной буханкой, опускались на нее, зажимали и медленно проходили насквозь. И края разреза лоснились от нажима ножа. А вокруг было, как в храме, приглушенно. И все смотрели на хлеб, на нож, на весы, на руки продавщиц, на крошки, на кучки карточных талонов и на ножницы, которые быстрым зигзагом выхватывали из карточек талоны.

Тамара получила хлеб на один день, потому что на завтра не давали. Норма могла вот-вот измениться. И никто не знал, в какую сторону.

Тронуть добавок она не решилась. Положила хлеб на ладонь левой руки и прикрыла его сверху правой. До дома близко — три квартала, и хлеб не должен был

замерзнуть. Она открыла ногой дверь из булочной, потом просунула в щель голову, потом плечо, потом шагнула в умятый снег, блестящий от утреннего солнца. И сразу черная очередь, белые сугробы и фонарный столб помчались мимо нес в сверкающее утреннее небо. Ремесленник толкнул Тамару, прыгнул на нее, вырвал хлеб, закусил его и скорчился на снегу, поджимая колени к самой голове.

Очередь медленно приблизилась к ремесленнику, и он исчез под валенками, сапогами, калошами и ботинками. Люди из очереди держались за плечи друг друга. Ремесленник не отбивался, только старался прятать лицо в снег, чтобы можно было глотать хлеб. Потом закричал.

Очередь тихо вернулась на свои места. А Тамара вытащила из костлявых пальцев ремесленника остаток хлеба, заслюнявленный, со следами зубов. «Анна Николаевна мне не поверит, — подумала она с безразличием. — Она велела мне взять авоську, а я не взяла, забыла».

Ремесленник пошевелился и сел на снегу. Кровь каплями падала изо рта на сизый ватник. Кепку его втоптали в снег, и бледные волосы мальчишки шевелил ветер. Но его широкое во лбу и узкое в подбородке, с морщинистой кожей, лицо было смиренным.

— Ты что, с ума сошел? — спросила Тамара. Она засунула остаток хлеба в варежку и пошла к каналу Крунштейна, мимо разбитой витрины аптеки, мимо вывески «Сберегательная касса», мимо старинной чугунной тумбы на углу.

Бухнул снаряд, и звук разрыва среди оцепенелой тишины прозвучал, как нечто живое.

Тамара поднялась на третий этаж, ощупью, в темно-

те, миновала коридор и наконец отворила дверь комнаты. Окна комнаты выходили в узкий дворовый колодец, и потому стекла уцелели. Две кровати молчали в углах, заваленные мягким барахлом.

Анна Николаевна и Катя спали.

«Я не стану будить их, — решила Тамара. — Я оставлю свою карточку, чемодан и туфли. Завтра они получат и мои сто двадцать пять грамм. А я куда-нибудь пойду. Хорошо, что вы спите, Анна Николаевна. Прощай, Катя. Если бы можно было сделать, чтобы не было сегодня и сейчас... Но это никак нельзя. Вот, я взяла только кольцо. Мама сказала носить его всегда. Оно не золотое, Анна Николаевна, оно серебряное с позолотой. За него не дадут и крошки хлеба, честное слово».

Тамара тихо прикрыла дверь, прошла кухню, коридор, спустилась по лестнице, вышла на канал, потом на площадь, мимо старинной чугунной тумбы на углу, мимо вывески «Сберегательная касса», и оказалась на бульваре Профсоюзов. Вдоль бульвара стояли замерзшие троллейбусы, свесив нелепо дуги, растопырив широкие колеса. Ветер мел поземку. Индевелые деревья смыкались ветвями над головой. Скоро они начали кружиться, и Тамара уже не знала, идет она или стоит, или сидит, и не знала, ночь сейчас или день.

...Арка почтамта, замерзшие часы. Черные матросы из патруля с автоматами на груди. Машина с надписью: «Почта». Живая машина, от нее сзади летит теплый дымок. Тамара толкнулась в высокие двери почтамта. Они с трудом поддались. Огромный зал с белой, сверкающей крышей. И пакеты, пакеты, мешки, мешки... И ни капельки не теплее, чем на улице. Но нет ветра. Она села в уголок, натянула полы пальто на колени,

засунула руки в рукава, зажмурилась и увидела большой, желтый, перезрелый огурец. И коров, привязанных веревкой за рога к телегам беженцев. Коровы шагали, широко расставляя задние ноги, их давно не доили.

— Нашла место спать! — громко сказал кто-то. — От какого райкома?

Человек был высокий, в белом полушубке, один рукав засунут под ремень.

— Я приезжая, я тут не помешаю, честное слово. Я карточки потеряла, — сказала Тамара.

— Комсомолка? Тебя, черт побери, спрашивают!

— Да. Только я с войны взносы не платила...

— Безобразие, — сказал Однорукий. — Распущенность. Секли тебя мало в раннем детстве. Секли или нет?

— Не знаю, — сказала Тамара.

— Пороли тебя или нет в детстве?

— Не знаю. Не выгоняйте меня, я не буду ничего плохого...

— Вставай!

Он взял ее рукой за воротник, приподнял, встряхнул, потом проволока в вестибюль и вытолкнул через тяжелые двойные двери на улицу. И она сразу села в снег.

— Очень хорошо, — сказал он. — Так и сиди. Сюжет будет называться: «Она потеряла карточки». Черт, затвор сразу замерзает! Знала бы ты, как трудно фотографировать одной рукой! Все. Вставай! Нам надо идти, слышишь? Здесь близко у меня есть великолепный угол, горит печь, и клей варится уже третий час.

Однорукий опять схватил ее за воротник и поднял на ноги.

Желтая арка почтамта и большие синие часы. Черные матросы из патруля с оранжевыми автоматами на груди. Сверкающий снег и падающий с проводов сверкающий иней. И где-то недалеко — бум! — в простывший камень ударило горячее, острое и тяжелое.

— Шагай, шагай, — говорил Однорукий. — Ты не такая дохлая, как думаешь. В тебе полно жизни. Я тебя отогрею и пошлю работать. Ты пойдешь разносить корреспонденцию. Видишь, дверь под лестницей? Жить под лестницей спокойнее в такое время. Самое крепкое на свете — то, по чему людишки поднимаются вверх. Садись к печке и теперь можешь спать. А через два часа ты пойдешь на работу.

Она села на койку к печке, и на миг ей почудились вечерние облака за Днепром и низко летящие над водой птицы. А потом она канула в сон. И проснулась, когда Однорукий опять тряс ее за шиворот. Она не сразу вспомнила, как попала сюда.

— Очухайся, — сказал Однорукий. — Чего ты зовешь маму? Я снял пену уже четвертый раз... Ты варила клей? Видишь, он кипит бурно, а пена не выделяется. Будем снимать? Веселенькое получится дело, если склеются кишки! Особенно мне будет плохо.

— Почему? — спросила Тамара.

— Одной рукой распутывать кишки труднее, чем двумя. Поверь, у меня есть прецедент. Пришлось зазимовать возле Новой Земли на ледоколе. Капитан напился в Колонии и на сутки опоздал к отходу, — рассказывая, Однорукий переливал сваренный столярный клей из кастрюльки в кастрюльку. — Команда чуть не избивала старика, когда мы поняли, что зимуем из-за его затяжной пьянки. Через месяц жрали только по банке консервов на рот и по сто граммов сухарей. Сейчас-то

кажется, что очень много! Потом к нам пробился «Красин». Три дня в Архангельске нас не забирала милиция. Можно было разбить витрину и лежать среди окороков, и тебя бы все равно не забрали в милицию. . . Теперь я выставлю варево на мороз, и через пять минут будем его глотать.

— Не ставьте за дверь, дяденька, — сказала Тамара. — Унесут коты.

— Начатки логического мышления к тебе уже вернулись, — сказал Однорукий. — Теперь осталось вернуть память: последнего кота здесь съели месяца два назад. И не пей холодной воды после моего студня. Кипяточком побалуемся, а холодного не вздумай пить. И учти, пить будет хотеться здорово.

— Честное комсомольское, не буду.

— Меня Валерий Иванович зовут. Тебе сколько лет?

— Скоро будет шестнадцать.

— Я думал, больше. . . Пойдешь для начала здесь, близко, по набережным. Вот, видишь эту сумку? Ее носила Оля. Тебе придется быть достойной ее светлой памяти. На дворников только не надейся. Сволбта наши дворники оказались. Ночевать придешь сюда. Как зовут?

— Тамара.

Он принес студень и вывалил его из кастрюльки на тарелку, посолил и разрезал вилкой на доли. Это был прекрасный студень. Он был вкуснее всего на свете, хотя в нем вообще не было ни вкуса, ни запаха. И жевать его было совсем нельзя: он сразу проскальзывал в горло. Потом они напились кипятку, и Однорукий сказал:

— Если ты бросишь сумку или письма, то станешь

подлецом и умрешь подлецом. Если ты разнесешь их по адресам, комсомол будет гордиться тобой.

И она ощутила тяжесть почтовой сумки на своем плече, и решила, что если есть бог, то он хороший.

2

На гранитных набережных Невы ветер сильнее.

И пока Тамара дошла до дома восемнадцать по набережной Красного Флота, тепла в ней опять не осталось ни на грош. Она разнесла одиннадцать писем, но ни разу на стук не открыли, и она оставляла письма в почтовом ящике или подсовывала под дверь.

В доме восемнадцать она поднялась на четвертый этаж. Дверь квартиры номер восемь была обита кожей, а ручка закапана стеарином. «Здесь живут, — решила Тамара. — Они еще не умерли и не уехали. Если письмо хорошее, они могут дать мне чего-нибудь. Пускай письмо будет хорошее. И пускай у них будет тепло. И пускай они не сразу выгонят меня. Я буду сидеть совсем тихо, в самой стороне».

Она подергала дверь, но дверь была закрыта. И тогда она стала бить ногой по мягкой коже. «Они, конечно, здесь, — думала Тамара. — Еще недавно они жгли свечку. Если бы они дали кусочек свечки, я бы ее съела. Стеарин липнет к зубам, его надо сразу глотать». Дверь наконец открылась. Женщина с совершенно белыми волосами выглянула в щель и сказала:

— Это ты стучишь?

— Письмо, — сказала Тамара. — Вот.

Женщина взяла письмо, приблизила его к глазам и вдруг зарыдала.



— От Пети, — сквозь слезы шепнула она.

И заспешила в темноту квартиры.

Тамара вошла за ней. В передней было холодно, но чувствовалось близкое тепло. И Тамара шагнула несколько раз в темноте, пока не уперлась руками в дверь, которая отворилась с легким скрипом. Комната за дверью была пуста. Ее окна выходили на Неву. Через окна светило солнце. В окнах не было стекол и не было фанеры. Посреди комнаты на белом снегу стоял черный рояль. И на нем тоже лежал снег. Возле рояля стояло несколько больших картин в золотых рамах и лежал

топор и щепки — здесь готовили дрова для печки. Одна картина изображала сирень в глиняном горшке и рядом еще один букет в горшке поменьше.

Тамара пошла дальше по коридору и отвела тяжелую портьеру. За портьерой была маленькая комната, вся заставленная мебелью. Посредине стояла буржуйка. Возле буржуйки горел светильник. И в свете его сидели рядом, обнявшись, женщина и старик, с такими же, как у женщины, очень белыми волосами. Они читали письмо. У женщины текли по лицу слезы, а старик одной рукой гладил ее по голове.

Тамара села возле буржуйки на корточки. «Они добрые, — подумала она. — Они меня не выгонят. Письмо хорошее».

— Совершенно не понимаю, зачем ты плачешь, если он жив, — ворчливо сказал старик. — Ты видишь, на штемпеле еще двадцать третье ноября. Наша почта работает безобразно!

Они не замечали Тамару, и она сказала:

— Я погреюсь у вас, можно?

Старик вздрогнул и перестал гладить женщину по голове. Женщина обернулась.

— Конечно, — сказала она. — Ты закрыла дверь на лестницу?

— Нет, — сказала Тамара, но не встала. Ей невозможно было отвести руки от буржуйки.

— Ты почта? — спросил старик.

— Да, — сказала Тамара.

— Ты принесла письмо от нашего старшего сына, — сказал старик. — Он воюет на фронте и пишет безобразно редко, а ваша почта работает еще более безобразно, вот что я должен сказать по этому поводу.

— Расстегни пальто, тогда ты согреешься быст-

рее, — сказала женщина. — А я пойду и закрою дверь на лестницу.

Женщина ушла, а старик опять стал читать письмо. Иногда он пожимал плечами и что-то бормотал себе под нос. «Нет, они ничего не дадут мне есть, — подумала Тамара. — Они живут по-человечески, но это из последних сил и по привычке».

Женщина, все еще плача, вернулась с кусками золотой рамы и холстом.

— Он так давно не писал, — сказала она. — Мы так боялись несчастья. Какой он солдат? Ему сорок лет, и он преподавал географию.

— Он командир, а не солдат, — сказал старик. — И кто это боялся несчастья? Я? Я убежден, что Петруша вернется живым. И нечего плакать.

Старик взял книгу и стал читать, как будто письмо уже больше не интересовало его. Старик сидел в большом кресле, закутанный одеялом. Его ноги, обернутые ковровой дорожкой, стояли на подставочке.

— Вот бритва, — сказала женщина Тамаре. — Возьми ее и режь картину на кусочки, ты поняла меня?

Тамара зубами стащила с руки варежку, сняла с плеча сумку и сунула сумку под себя. Потом она взяла бритву, но бритва сразу выпала из ее негнущихся пальцев.

— Я еще не могу, — сказала она.

— После того как Петя написал письмо, прошло уже около двух месяцев, — сказала женщина. — Все могло случиться, но мы не будем думать об этом.

— Наконец я услышал умное слово, — сказал старик, не отрываясь от книги.

— Нам, нечем угостить тебя, — сказала женщина.

— Не надо, — сказал Тамара, — Я только погреюсь.

— Ты давно мылась?

— Не знаю, — ответила Тамара.

— Понимаешь, я нагрела воды, чтобы помыть Александра, но если ты согласишься, я помою тебя. Это все, чем мы можем помочь тебе. Это страшно, но тебе будет лучше.

— Мне все равно, — сказала Тамара.

— Наверное, ты не мылась уже месяц, да?

— Наверное, я не помню, — сказала Тамара.

— Ты согрелась?

— Я не скоро еще согреюсь. Наверное, я никогда больше не согреюсь. Мне нужно... мне нужно в уборную, но на улице так холодно...

— Тебе надо немножко или..?

— Немножко...

— Александр, — сказала женщина, — ты слышишь?

— Мыться я бы сегодня не стал, — сказал старик. — Нельзя мыться старому человеку, Анна Сергеевна, когда он простужен. Очень хорошо, что эту экзекуцию решено проделать над почтальоном. А я разложу пасьянс.

— Александр! — строго сказала Анна Сергеевна. Старик плотнее закутался в одеяло и перевернул страницу. Анна Сергеевна подошла к нему, отняла книгу и положила ее на стол. Тамара прочитала название: «Пир».

— Ведро полное, — проворчал старик.

— Я о том и говорю, Александр, — непреклонно сказала ему женщина.

— Я кашлял всю ночь, Аннушка, — плаксиво сказал старик, жалко потирая зяблые, тонкие руки. — Пускай она сходит на чердак.

— Нет. Надо вынести ведро.

— Где чердак? — спросила Тамара.

— Нет, ты никуда не пойдешь. Тебе надо отогреться как следует. Александр!

— Дай мне письмо! — сказал старик. Жена дала ему письмо. Старик подышал на бумагу и поднес ее к самым глазам. — У Пети совершенно не изменился почерк. . . Прописные буквы твои, а все остальное от меня.

— Александр, ведро надо вынести. И если бы девушка не пришла и не принесла письмо, я все равно заставила бы тебя вынести ведро! . . Мужчин надо заставлять двигаться, милая моя, — объяснила женщина Тамаре.

— «Я знаю только одно, что я не понимаю своего народа, — прочитал старик из письма. — Я не знаю, что такое русский народ, русский характер и где кончаются его плюсы и начинаются его минусы. Всегда я чувствую только одно: сила моего народа, моей истории огромна; ее роль в истории мира тоже огромна. И если на земле есть Христос, то это и есть Россия. . .» Болван! — закончил старик. — И это мой старший сын!

Анна Сергеевна отняла у старика письмо. Он было собрался его разорвать. Старик скинул одеяло с плеч и поднялся из кресла. Он был высокий, в демисезонном пальто, — черный бархат воротника, белизна седины и бледность лица. «Он скоро умрет», — подумала Тамара.

— Где мои валенки, Аня? — проворчал старик. — Я не могу идти на улицу босиком, в конце концов!

Анна Сергеевна поставила валенки перед стариком. Старик пихнул их ногой. Ему совершенно не хотелось идти на мороз. Он предпочитал пофилософствовать:

— Они не понимают свой народ! Они не знают, что

такое русский характер! Федор Достоевский сказал про таких болванов, как мой старший сын! Он сказал: если ты ничего, ни бельмеса, не понимаешь, то и молчи в тряпочку! Нечего хвастаться своей тупостью! Они заявляют, что ничего не понимают, и думают, что этим открыли Америку и поразили всех своей откровенностью! И ему вручили судьбы людей! Он командует целым батальоном! Несчастные его солдаты!.. Аня, все наши соседи выливают ведра из окон, и я..

— Ни в коем случае! — сказала Анна Сергеевна. — Пускай они выливают. А мы не будем выливать помой из окна кухни. Это слишком некрасиво, Александр. Постыдился бы девушки!

Старик зарычал от возмущения. Он считал оскорблением даже мысль о возможном стыде. Он переобулся и открыл дверцу буржуйки, грея прозрачные руки. И все трое затихли, глядя на желтое пламя. Отблески пламени плясали по красному дереву старинного шкафа. Глубокая тишина стояла вокруг. И только слабо шипела, пузырясь, краска на горящем холсте.

— Жарко горит! — сказала Анна Сергеевна.

Старик наконец собрался с духом и вышел. Тамара резала картину на квадратные кусочки. Из мохнатых, густых нитей старинного холста под бритвой сочилась пыль: пыль копилась в холсте добрую сотню лет.

— Как ты думаешь, он очень плох? — спросила Анна Сергеевна.

— Ага, — ответила Тамара.

— Он доживет до весны?

— Не знаю.

— Мне обещали полкило масла за столовое серебро. Он не хочет менять серебро. Власть вещей, милая. Ты молода и не поймешь этого. Но она есть, власть вещей.

Я, конечно, сменяю серебро. Мне уже обещали устроить полкило масла.

— Тогда он дотянет, — сказала Тамара хрипло. Мороз все еще сидел в ней, в ее простывшем горле, в рукавах пальто, в отворотах высоких валенок, в сбившихся под шапкой волосах. Тело оттаивало и начинало сильно зудеть.

— Нужно выжить назло немцам, — сказала Анна Сергеевна. — Вот ты принесла письмо, и мы протянем лишнюю неделю. Видишь, вчера я не могла заставить его вынести ведро, а сейчас он пошел. Он гордый и смелый человек, мой муж.

Старик вернулся с пустым ведром в руках.

— Почему ты так быстро? — спросила Анна Сергеевна.

— Я вылил в окно, Аня, — бесстрашно ответил старик, глядя ей в глаза.

Анна Сергеевна вздохнула и сказала:

— Бог тебя простит, Александр!

Тамара взяла ведро из рук старика и вышла в прихожую.

«Я помоюсь немножко, потом я посплю у них, они хорошие, — думала Тамара. — Потом я отнесу письма в двадцать второй дом. Это лучше, когда куда-то надо идти обязательно».

Старик опять сел в кресло, укрылся одеялом и читал книгу Платона. В белом, чистом тазу парила на буржуйке вода. Репродуктор ожил, из него слышалась музыка. Иногда от дальнего взрыва язычок огня в лампе трепетал, и тогда старик чертыхался — ему не разобрать было буквы в книге.

— Нельзя читать о еде, — сказала Тамара старику.

— Почему ты думаешь, что я читаю о еде? — спросил он.

— Там пируют? Там идет пир, да? Брат Анны Николаевны все читал книгу о вкусной и здоровой пище и умер.

— Нет, здесь нет о пище. Сытые люди редко писали о еде в книгах, девушка, — сказал старик, откладывая книгу.

— Раздевайся, — сказала Анна Сергеевна.

Тамара стала послушно раздеваться, а старик сказал:

— Это книга о любви. Платон утверждает, что самое ценное на свете не вещи и символы их, а связи между всеми вещами мира. Всю жизнь он искал главную связь. И сказал, что нашел ее в любви. Но, я думаю, он соврал, он просто уверил себя в том, что нашел главную связь.

Анна Сергеевна помогала Тамаре стянуть валенки и гамаши.

— Сегодня стреляют очень долго, — сказала Анна Сергеевна. — Обычно они кончают раньше.

— Сегодня большой мороз, и они знают, что хуже тушить пожары, — объяснила Тамара.

— От снарядов загорается редко, — сказала Анна Сергеевна. — А голову мы будем мыть тоже?

— Обязательно будете. Иначе у почтальона скоро вылезут волосы. А они ей еще пригодятся, — сказал старик.

Тамара стояла посреди маленькой комнаты, освещенная огнем из буржуйки, на куче своей одежды.

— Ты бы отвернулся, дедушка, — сказала она.

Старик закряхтел, вылез из кресла и стал прилаживать свое одеяло на окно.

— Так будет меньше дуть, — объяснил он.

А Тамара увидела себя в зеркале шкафа и удивилась. Она была не такая тощая, как думала. Ей давно казалось, что ноги вот-вот должны уже переломиться.

— Ты будешь очень красивой, — сказала Анна Сергеевна.

— Нет, я долговязая, — сказала Тамара.

— Верь мне, милая! Я в этом понимаю толк. И давай мыться.

— Я не хочу умереть, — сказала Тамара.

Старик вдруг тихо заплакал.

— Шура, не надо! — строго сказала ему жена.

— Да-да, конечно, — стыдливо забормотал старик и взял письмо сына.

— Ты еще приедешь к нам в гости после войны, — сказала Анна Сергеевна, намыливая Тамаре голову. — У тебя чудесные золотистые волосы.

Тамара стояла, низко согнувшись над тазом, и слышала, как лопается в ушах пена. Тошнота подкатывала к горлу, и больше всего Тамара боялась сейчас, что упадет.

— Но, Анна Сергеевна, судя по некоторым деталям в письме, наш старший сын воюет хорошо, — сказал старик. Он, очевидно, опять перечитывал письмо. — Сын пишет, что танки — страшная вещь. Когда мужчина пишет про что-нибудь «страшно» — это значит, что он уже переборол свой страх.

— Петруша всегда был смелым мальчиком, — сказала Анна Сергеевна.

— Как будто Павел заядлый трус! — сказал старик с раздражением. — Еще ничего не надо вынести и вылить?

Тамара отжала волосы, и Анна Сергеевна накрутила ей на голову чалму из старой простыни.

— Александр, посмотри время. Мне уже скоро на дежурство? — спросила она, обтирая Тамаре спину.

— Сегодня ты не пойдешь на дежурство! — нахально, но веря себе, сказал старик.

— Вот еще! — сказала Анна Сергеевна. — У нас даже осталось мыло! Ты хорошая, послушная девушка.

— Вероятнее всего, она будет вздорной, сварливой и злой бабенкой! — наперекор жене с вызовом заявил старик.

— Не слушай его, — сказала Анна Сергеевна. — И скорее одевайся. Как бы это не кончилось воспалением легких. Хотя я знаю, что скоро тебе станет лучше.

— Тебе еще много ходить сегодня? — спросил старик.

— Мне надо ходить, пока смогу. В двадцать втором доме пять лестниц по семь этажей.

— Тридцать пять этажей! Целый небоскреб! — сказал старик. — Пожалуй, тебе кое-что надо оставить и на завтра.

Репродуктор умолк. Тишина потекла из него. Потом мужской голос объявил: «Граждане, начинается артиллерийский обстрел района! Граждане, не собирайтесь большими группами у подъездов зданий и в подворотнях!..»

Старик выключил радио.

— Значит, обстрел сейчас кончится, — сказал он.

— Ага, — сказала Тамара.

— Часик ты посидишь у нас, чтобы выровнялась температура, — сказала Анна Сергеевна. — И выйдем вместе. Я буду дежурить в домовой крепости — это угол Гангутской улицы и Фонтанки. А тебя я сейчас покормлю, Александр.

Но старик не слышал. Он спал. Книга сползла с его колен и упала на пол.

Анна Сергеевна постелила на угол стола чистую скатерть, поставила соль в хрустальной солонке, положила массивную вилку, нож и переставила с буфета высокую рюмку с засохшей розой.

— Мы не будем его будить, — сказала Анна Сергеевна. — Он будет говорить, что я дала ему больше хлеба, чем взяла сама. И все будет отрезать от своего хлеба ломтики и совать их мне, и ворчать, что я обманываю его всю жизнь. А когда проснется один, то съест все, потому что не сможет дотерпеть до меня.

3

«Кипяточку-у-у-у-у! . . .» — крик выполз из окна лестницы и поплыл между стен тесного двора к солнечному, голубому небу. «Это кричит женщина, — подумала Тамара. — Она очень давно, наверное, кричит. Наверное, она лежит на лестнице. Двадцать вторая квартира на третьем этаже. Наверное, она лежит ниже, и надо будет пройти мимо нее. Только бы она больше не кричала».

«Кипяточку-у-у-у! . . .» — раздалось опять.

Десятки других окон молчали, глядя в пустоту двора. Стекла окон были наискось проклеены бумажными полосками. «Лучше бы не наклеивали эти бумажки, — подумала Тамара. — Когда стекла вылетают после разрыва, осколки стекла виснут на бумажках, и ветер их качает. Приходят люди после бомбежки, а бумажки рвутся, и стекло падает на людей».

Дверь двадцать второй квартиры была распахнута настежь. В комнате на полу, привалившись спиной

к креслу, лежала женщина. Она перестала кричать, когда увидела Тамару, и тихо спросила:

— Ты — ангел?

— Я принесла письмо, — сказала Тамара.

— Кипяточку-у-у! — шепотом закричала женщина, медленно поднимая над головой руки.

— Перестань, тетя, мне страшно, — сказала Тамара, не решаясь переступить порог.

— Не буду, не буду, свет мой, солнышко мое, — зашептала женщина. — Он добрый, он специально послал мне эти муки за грехи мои и теперь ждет меня в царствии своем. И ты пришла за мной, лицо твоё полно добра и тишины, возьми, возьми меня скорее к нему, я не могу больше!

— Почему ты лежишь на полу, тетя?

— Я уже два дня лежу, ангел мой. Я закрывала дверь, а наверху разорвался снаряд, и дверной крюк ударил мне в спину, и я упала, и уже не встать мне было, я только приползла сюда, а ночью умерла Надя.

Тамара плохо видела в полумраке комнаты после дневного света и потому не сразу заметила ещё одну женщину, которая лежала на кровати за большим обеденным столом. Эта вторая женщина была мертва. Глаза её тускло блестели.

— Я затоплю печку, тетя, — сказала Тамара. — Потом принесу воды, и будет кипяток.

— Сестра все пела песни в бреду, давно это было, два дня... Я с ней говорила, она молчит, но я-то знаю, что она слышит меня... Возьми на столе папиросы, они от астмы, но они лучше, чем ничего, если мужчина курит; она берегла их для сына, когда он вернется с войны... Нет других папирос, только от астмы, возьми пачку, сменяешь потом на хлеб, она все

ждала сына, она писала что-то, потом стала петь песни и умерла...

— Где топор, тетенька? — спросила Тамара. — Я обколю тебе платье, и мы поднимем тебя в кресло, и я затоплю печку и сделаю кипяток, ты понимаешь меня?

— Возьми топор в кухне, там и колодки есть, деревянные колодки для обуви, они будут хорошо гореть, она берегла их. Зачем она берегла их? Возьми их... Холодно мне. Кипяточку-у-у!

Она была обута только в домашние парусиновые туфли.

Тамара обошла стол и села на кровать в ногах той женщины, которая уже умерла.

— Тебе не надо больше валенки, — сказала Тамара, стараясь не глядеть на тусклые глаза и скосматившиеся волосы. Но она все равно видела все это. И тогда кинула на лицо покойницы полотенце, а потом стянула с нее валенки.

Возле изголовья на столе лежал оторванный от стены кусок обоев, на котором, очевидно, обгорелой спичкой, было написано большими буквами: «Когда умру, зажгите эту мою свадебную свечу». Здесь же лежала веточка белых засохших цветов, огарок тонкой свечки и спички.

Тамара взяла спички, пошла к печи и стала совать в нее все, что попадалось под руки, — тряпки, веник, книги. Растопив печь, она переобула женщину в валенки. Тамара чувствовала, что женщина должна вот-вот умереть, и потому решила не звать людей и не идти в больницу или в милицию.

Огонь в печи разгорался, и теплый дым выплескивался в комнату. Но даже едкость дыма не могла пере-

бить едкий запах тления и нечистот. Все в комнате уже пропиталось смертью — мебель, книги на полках и ковры, висящие на стенах.

Тамара нашла топор, обухом обила платье и пальто женщины и немного приподняла ее в кресло. Поднять до конца и посадить было не под силу. Женщина скрипела зубами от боли. Очевидно, падая, она повредила себе что-то внутри. Иногда она замирала, пристально глядела на Тамару, называла ее ангелом. Она называла ее ангелом не так, как говорят, когда хотя бы тепло обратиться к человеку, а как бы произнося это слово с большой буквы, с глубоким, священным почтением.

Наверное, эта женщина была доброй и прожила праведную жизнь. Ее истощенное лицо хранило давнюю красоту, и красота эта проступала сквозь копоть и морщины. И голос ее был красив, когда она не кричала, а говорила тихо. Она кричала «кипяточку», теряя сознание, в забыты.

Тамара набила чайник снегом с подоконника и засушила чайник в печку.

— Что она написала там, ангел, прочти, если тебе не трудно, — попросила женщина.

— Она написала: «Когда умру, зажгите эту мою свадобную свечу».

— Зажги свечу, если тебе не трудно.

Тамара притеплила свечу от огня в печке.

— Куда поставить?

— Возле нее, если тебе не трудно.

Тамара поставила свечу в стакан с замерзшей водой у изголовья покойницы и в свете свечи увидела три узкие пачки папирос от астмы.

— Прочсть вам письмо? — спросила Тамара.

Женщина не ответила, но Тамара побоялась взглянуть на нее, села к огню, разорвала конверт, начала читать письмо, написанное детским почерком:

«Бабушка, родная, прости, что долго не писал. У нас плохие новости. Кто-то донес, что маму освободили от работы, и ее вызвали к прокурору. Он опять послал маму на завод, и ее, бедную, вторично освободил директор завода. Мама для нас второй раз сдает кровь, очень плохо себя чувствуя. После первого раза я ее со слезами умолял больше кровь не сдавать, но она не послушалась и потихоньку от нас сдала опять, получив за это восемьсотграммовую карточку. Она думала, что ее кровь для Красной Армии, для наших героических бойцов, а ее отдали для малярийной станции...» — Здесь Тамара почувствовала какое-то изменение в комнате, что-то неслышное проникало через закрытые двери. И Тамара продолжала громко читать дальше только для того, чтобы это неслышно входящее не заметило, что оно замечено ею. — «Заниматься я начал. По всем предметам ничего, но зато по немецкому получил два «плохо». У мамы очень понизилось духовное состояние, а писем от папы нет. Поддерживаю ее, как могу. Дорогая бабушка, я тебя очень люблю. Пиши нам чаще. Мы победим всех врагов. Твой Петя». В этот момент Тамара почувствовала, что женщина умерла. Не в силах остановиться, Тамара продолжала читать приписку на полях письма, чтобы подольше оттянуть момент, когда надо будет оглянуться. — «Если ты получила письмо от папы, перешли его нам. Здесь растет касторка. Она растет кустиками».

Вода в чайнике кипела с того бока, который был обращен к огню. Свеча оплывала в стакане. Тамара наконец оглянулась. Женщина глядела в потолок мертвыми

глазами. Чтобы громко не зарыдать, Тамара закусила варешку. Она не дышала, пока не спустилась во двор. «Я не возьму ваши папиросы, — говорила она сквозь рыдания, стоя посреди двора. — Наверное, вас похоронят вместе. Не надо вас разлучать. И больше я никуда, никуда не пойду. И больше я не хочу жить!»

Тамара заглянула в сумку и увидела там одно, последнее письмо и прочитала адрес: «Заводская ул., дом 2, квартира 43, Дворяниновой Любови Васильевне».

— Заводская улица? . . Она уже не Заводская, а Блока, Александра Блока. . . Это надо в конец Офицерской, то есть не Офицерской, Офицерская она по-старому, а в конец улицы Декабристов. . . Театральную площадь знаешь? Мариинский театр?

— Очень далеко. Мне все равно не дойти, — сказала Тамара.

Прохожий втянул голову в воротник пальто и зашагал по набережной. Детские саночки, вихляясь, потащились за ним. В небе над бульваром вертикальными кругами летал маленький самолетик-истребитель. Разбитый автобус стоял за сугробом. Ветер шуршал снегом о черные обледенелые стволы подстриженных бульварных лип.

Тамара обошла сугроб и забралась в автобус. Все в нем заиндевело. И казалось, что сизые потолок, стены, пол, ободранные сиденья испускают слабое сияние.

«Я прочту письмо, — подумала она. — Если там важное, я пойду на улицу Блока, если нет — нет. Оно откроется легко, потому что оно треугольное».

«Ах, Любонька, — простите, что вырвалось это слово, которое я так люблю, потому что оно — Ваше. Все мои думы и желания уже давно направлены только к одному — Вашему счастью, — читала Тамара. — Сейчас везут меня в санитарном поезде по нашей необъятной стране. И когда боль отпускает, я все думаю о Вас. Не беспокойтесь, я вернусь в строй. Конца войны еще не видно, но он будет, и победа будет за нами. В своем бумажнике я нашел письмо, написанное еще в конце мая. Я не послал Вам его. Я боялся оскорбить Вас. Говорят, в Ленинграде очень тяжело. Надеюсь, что мое письмо не застанет Вас, что Вы в безопасности. Но если Вы в Ленинграде, то пускай мое чувство к Вам согревает Вас. Ваш Николаич».

Это была самая бесконечная лестница. Семнадцать ступенек, двадцать ступенек. Двадцать девять ступенек. . .

Голова прерывисто кружилась. И стены, испачканные копотью, в облупившейся штукатурке, когда-то зеленые, отбитые по карнизу красной полосой, кружились вокруг. Иногда в зеленой карусели мелькало белое окно.

Тамара знала, что сорок третья квартира на верхнем этаже, но все равно старалась остановить кружение возле каждой двери, чтобы рассмотреть номер. Старые номера на медных дощечках, и после цифры — точка. Она стояла, прислонившись лбом к холоду двери, пока не останавливалось кружение. Потом отыскивала номер. И смотрела на конверт — серый треугольник, без марки, с треугольным штампом. И видела дважды подчеркнутый номер квартиры — 43. Отходила к перилам, ложилась на них грудью и толкала себя вверх со ступеньки на ступеньку.

Лестница закончилась широкой площадкой. И только одна дверь виднелась в глубине. Полумрак тихо жался по углам площадки. Изморозь выступала из стен. Кирпичная пыль густо лежала на ступеньках и перилах. Дверь впереди покачивалась.

Тамара взялась за ручку. Дверь отворилась легко и радостно. Слепящий свет метнулся из-за нее. Простор синего неба, красных закатных облаков и красного солнца. Ничего не было, кроме неба, облаков и солнца. Не было земли, домов и труб. Не было квартиры сорок три — прихожей и коридора, и пустых комнат, и замерзшей кухни. Все это давно рухнуло, подсеченное бомбой.

НАД БЕЛЫМ ПЕРЕКРЕСТКОМ

«Волга», цепляя брюхом бугры, ползла по узкой лесной дороге. Колеи были затянуты льдом. Лед лопался со стеклянным звоном, и колеса проваливались в рыхлую жидкую глину.

— Дальше нельзя, — в шестой уже раз сказал шофер. Ему было лет восемнадцать. — Машина ведь застрянет, товарищ гвардии полковник.

— Завязнет — вытаскивать будешь. Времени у тебя хватит.

Возле дороги по пояс в голенастом подлеске стояли старые черные ели. Снег еще не выпадал, но ночами сильно подмораживало. Лес был пуст и тих. Светило солнце.

— Скоро просека, пересечение просек, — сказал полковник. Он сидел на заднем сиденье, откинувшись на спинку, закрыв глаза.

Ветки елей то и дело ощупывали крылья и верх машины, недовольно пошурхивали. Дорога заворачивала, косо поднимаясь на холм. Повалившаяся береза на самом повороте перекрывала вершиной левую колею.

— Тут и на транспортере не проедешь! — сказал шофер.

— Давай! — приказал полковник, не открывая глаз.

Сучья березы затрещали под колесами, ее замшелый ствол несколько раз судорожно вздрогнул, а потом, когда «Волга», буксуя, прошла мимо, опять затих. Машина одолела подъем.

— Ну вот, — полковник приоткрыл глаза.

Шофер безнадежно махнул рукой. Ему, видно, было уже все равно, где ломать шею и куда ехать. Теперь он спускал машину под уклон. Задние колеса заносило. При кренах в моторе что-то екало, как селезенка у лошади. На середине спуска шофер притормозил и вылез на дорогу. Впереди была колдобина, заваленная валежником. Шофер подошел к ней и попрыгал на сгнивших ветках. Сапоги проваливались в ледяную кашу. Однако, вернувшись, он сел за руль и дал газ. Полковник сказал:

— Стоп, ефрейтор!

— Тут и на транспортере не проедешь, — шофер с облегчением вытер шапкой пот на лбу.

— Точно, — подтвердил полковник и посмотрел карту. — Километров шесть осталось, пешком дойду.

— И машину жалко.

— Точно, — повторил полковник, и непонятно было, издевается он или говорит серьезно.

Оба закурили. В опущенные окна залетал ветерок, трепал дым папирос. Перекликались лесные птицы: «Си-ши... Си-ши...»

Внизу виднелась лощина. Березовые рощи, лиловые заросли ольхи, темные ели спускались в нее и уходили к бледному небу у горизонта. Посредине лощины под прямым углом пересекались две широ-

кие просеки. По просекам вышагивали металлические мачты электропередачи.

— Белый крест, — сказал полковник.

— Что? — переспросил шофер.

— Видишь внизу крест?

— Почему ж он белый-то?

— Когда снег — белый. А леса вокруг темные. Если, конечно, сверху смотреть.

— Наверно, — согласился шофер и незаметно пожал плечами.

— Ты никогда не думал, ефрейтор, почему люди, когда богу молятся, лоб крестят?

— Я вот думаю сейчас, как буду разворачиваться, — рассеянно ответил шофер.

Полковник взял пакет и флягу, засунул их в карманы шинели и выбрался из машины.

— Прикажете сопровождать? — спросил шофер.

— Оставайся.

— Они вам кто — друг были?

— Да, — сказал полковник. И сам удивился, зачем ему понадобилось солгать. — Нет, — резко поправился он. — Просто погиб из-за меня.

— Бывает, — старательно сочувствуя, произнес шофер. — Я масло сменить успею.

— Приснился недавно... — Полковник частыми за-тяжками докуривал папиросу. — Как узнал я, что его тогда здесь похоронили, сразу мне и приснился.

— А... понятно... Так я масло сменю, товарищ гвардии полковник?

Полковник кивнул и начал спускаться в лощину, к перекрестку просек. Ветер закручивал вокруг его ног длинные полы шинели.

«Над самым этим пересечением я, полковник Хоб-

ров, то бишь сержант Хобров, вывел машину из пике. . . Интересно, как выглядело все это с земли? . . Карусель, сплошная карусель. . . А мачты здесь повалены были, это точно помню. Они, кстати, опорами называются», — думал полковник.

Он остановился у подножия мачты электропередачи. Провода с гроздьями черных изоляторов плавно провисли над головой. Чуть слышался их звон. На пожухлой, серой траве переплетение фиолетовых теней. Белое солнце. Подмороженный воздух.

Полковник глубоко вздохнул и вдруг нерешительно улыбнулся.

— Хорошо, — сказал он.

«Волги» уже не было видно. Полковник остался один в осенней лесной тишине. Он еще раз сверился с картой и пошел напрямик по кочковатой поляне. Вокруг кочек лежали синие полукольца инея, а на открытых солнцу местах земля осклизла.

В кармане шинели позвякивала об алюминиевую флягу денежная мелочь.

«Скоро ручей должен быть, — размышлял полковник. — Если карта не врет. Потом полтора километра вниз по течению. . . Костяника вон! . . Мерзлая. . . Пускай красуется. . .»

О том, куда и зачем он идет, думать не хотелось.

Полковник обошел стороной заросли ивняка, долго пробирался в голубоватом орешнике, пока не услышал журчание воды. Он двигался быстро и привычно: любил ходить. Только шинель была тяжеловата, слишком новая, — от нее ныли плечи.

Рядом с ручьем бежала тропа. Еще около получаса полковник шел по ней. Время от времени он нарочно загребал ногами — ворошил распятые на земле листья.

Одинокие осины росли прямо из воды. Их стволы были по-лягушачьи зелеными и скользкими. Потом открылось поле озими, совсем изумрудное. За полем стояли очень белые березы,

— Так... Теперь должно быть французское кладбище, — пробормотал полковник. — Французики где-то здесь лежат, давно лежат, с двенадцатого года... — Он оглянулся вокруг и опять глубоко вздохнул. — А хорошо! Хорошо, черт возьми!..

Он оставил озимое поле слева, продрался сквозь густой ореховый островок и неожиданно прямо наткнулся на могилу, которую искал: деревянная колонка со звездой, ограда из жердей и погнувшийся винт истребителя, воткнутый лопастью в могильный холмик.

Быстро и решительно полковник подошел вплотную к ограде, снял с головы фуражку и повесил ее на кол.

— Здравствуй, капитан, — негромко сказал полковник и разобрал поблекшие буквы надписи.

Коман... Истребит... Кадрилин,
Капитан Катун
...гиб... Нашей Родины Москву...
...ая слава Герою.

Доски колонки покоробились от сырости. В щелях было черно. У ограды росла рябина — молодая еще, видно, специально посаженная здесь. Тяжелые гроздья темных ягод сгибали тонкие ветки.

«Ка, Эн — у него инициалы были, — сказал полковник про себя. — Непогодой смыло».

— От тебя, комэск, верно, и мослов не собрали, — вслух проговорил он. — А я с тех пор сам не летаю. В десантных войсках только служу. Вот, понимаешь, какое

дело. Совесть у меня болит, понял? . . . Приснился ты недавно. Как узнал я, что тебя здесь похоронили, так и приснился. Сидишь рядом и молчишь. И борода у тебя почему-то. Седая. И откуда вдруг борода, черт ее знает!

Полковник тронул пальцем лопасть винта и уселся на пень.

«Ясное дело, и мослов не собрали, — подумал он опять. — А может, сгорел».

Он уперся руками в колени, осмотрел заляпанные грязью сапоги, покачал головой. Потом достал папиросы, долго чиркал зажигалкой. Наконец прикурил и закрыл глаза.

Заболело сердце. Вообще-то оно было здоровое, но сейчас стало покалывать.

«Совесть, — подумал полковник. — В сердце она живет, что ли? Сколько лет уже утекло! Что я, не ошибался за это время? Все от того зависит, как ошибешься. Можно и правильно ошибаться — это когда вперед идешь. Тогда и оправдание есть. А здесь для меня его нет. Неужели так и мучиться до самой смерти?..»

Он был тогда молод — двадцатилетний сержант, только из летной школы. Больше всего ему нравилось, как планшетка на длинном ремешке болтается и под коленку хлопает да как «ТТ» портупею на сторону перекашивает. . . Полевой аэродром в подмосковном лесу недалеко от шоссе, заиндевелые И-16 под ветками елей вдоль опушки, пробитые пулями, латаные И-16. . . Две недели полетов в зону с командиром звена, почти точно по школьной программе. . . Потом вылет с Катунем на первую встречу с противником, вылет, которого все новички ждали с восторгом, азартом, нетерпением. Катун сказал: «Ну, орел, посмотрим, что ты за летчик. Только давай повнимательней. Повнимательней. Повниматель-

ней давай, орел!» Как мерзнут в истребителе руки и ноги, если краги и унты не просохли! . . . Очень мерзнут, но этого не замечаешь, когда ждешь в воздухе или на взлетной полосе противника. А время тянется, каждая минута — словно четыре часа ночного дневальства. И вдруг голос комэска в шлемофонах: «Хобров! Хобров! Слева вверху «мессеры»!» Четыре быстрые острые черточки на фоне облака. И опять голос Катуну, спокойный и даже с улыбкой, как у преподавателя в летной школе: «Орел, дело сложное, не зарывайся, главное — высота, это выигрыш в скорости и свобода маневра!»

Комэск уходит влево с набором высоты боевым разворотом. Ведомый повторяет маневр ведущего. . .

Сидя на пне возле могилы Катуну, полковник отвел ручку влево и на себя. Он даже почувствовал ее упругое, какое-то маслянистое сопротивление.

Крен влево. Стремительный, будто кивок. Морозное солнце заплескивает кабину. Радужные искры летят с приборной доски. Земля сырым пузырем лезет в небо. Голос комэска: «Не прижимайся! Не прижимайся! . . . Я ж не твоя Маруся, орел!»

Их двое против четырех, а внизу огромная, бездонная зияющая пропасть — как раньше он никогда не замечал ее? — и хочется быть ближе к Катуну. Катун на миг оборачивается, видны черные провалы его очков, он зло отмахивает рукой, его истребитель неподвижно висит совсем близко. И вдруг немецкая речь в шлемофонах, гнусавая и спокойная. Два «мессера» идут кверху косою петлей. Два других выражают, встречая в лоб.

«Атакую прямо! Атакую прямо! Прикрывай меня! И сразу, как разойдемся, удираем к аэродрому!» —

Катун хотел только «причастить» его, «причастить» и увести из боя.

Серо-желтые тела «мессеров» прямо впереди. Страшная скорость сближения. Спазма в глотке. Оранжевые острые язычки высовываются из плоскостей и винтов «мессеров» — они первыми открывают огонь. Ведомому положено оглядываться. Хобров оглядывается на долгие секунды и видит еще три сверкнувшие на солнце точки чуть выше справа и сзади.

«Карусель! — орет он. — Капитан, они сзади и выше!»

Комэска больше не слышно. Молчит капитан. И тогда — правая педаль! Ручка вправо!..

Машина валится на спину. Переворот. Плечевые ремни врезаются в тело. Маска сползает к глазам. Облака закручиваются в спираль. Долой газ! Истребитель идет в пике. Бесшумное падение и нарастающий рев. Темнеет в глазах, и ни одной мысли. Потом сквозь мглу — расплывчатый белый крест, просеки, земля, уже очень близко. Ручку на себя! Как туго она подается! Вой и стон в ушах. Боль в позвоночнике. Пронесется внизу поваленные мачты электропередачи... ели... синие тени на снегу...

Он ушел из боя, не открыв огня. Катун был сбит. Ведомый бросил ведущего, и ведущий погиб...

Полковник открыл глаза и посмотрел на небо. Оно было просторное и пустое. Прикурил погасшую папиросу. Зажигалка зажглась сразу.

— Да, капитан, — сказал полковник. — Было такое. Из песни слова не выкинешь... Не выкинешь из нее, понимаешь, слова.



Он вспомнил лицо командира полка и тихие слова: «Сдать оружие — и под стражу. Судить. Расстреляем, мерзавец!»

Его не расстреляли. Люди были нужны. Вот и все. Он только неделю сидел в разрушенном доте. Вода на полу. Полумрак. Часовой у входа. И тяжелое, глухое презрение товарищей. Он сидел, ждал, когда его поведут на расстрел, и видел столб снежной пыли в том месте, где врезалась в землю машина комэска. А потом — штрафбат. . . Разведка боем под Сурожью. Из роты вернулись назад двенадцать человек. Форсирование болота под Пиногорием. Опять жив. Атака через минное поле по шею в снегу. . . Где это было? Ночь, ракеты, будто юродивые, прыгающие на снегу тени и — холод. . . И уже наплевать на все, уже не страшны ни противотанковые мины, ни пули, ни черт, ни дьявол. . . И опять жив, но сразу три дырки — в каждую ногу по осколку и пуля в грудь навывлет. . . Госпиталь, тихо, чисто, играет радио. Медаль «За отвагу» и — прощение.

— Прощение. . . — Полковник произнес это слово вслух и пощелкал пальцами. С рябины сорвались испуганные птахи. — Ну что ж, капитан, выпьем, что ли? — сказал он тихо.

Достал флягу и бутерброды в шумливой вощанке. Солнце склонилось к вершинам деревьев. Чуть колыхалась трава у жердей ограды. Почему у оград и заборов трава растет гуще?

Полковник встал, сорвал гроздь рябины. И вдруг подумал, что сок в ягодах — оттуда, из земли, из могилы.

Стало неприятно.

Он хотел швырнуть рябину в ручей, но не сде-

лал этого. Ему показалось, что кто-то следит за ним из зарослей ольхи. И знает все его мысли и эту, последнюю.

Полковник медленно оглянулся через плечо, чувствуя, как бегут по спине мурашки.

— Черт, чепуха какая! — выругался он громко. Но рябину не швырнул. Сунул в карман, будто только для этого и сорвал ее. Потом глухо сказал: — Я, капитан, водой запивать привык.

Он спустился к ручью и прошел несколько шагов вверх по течению. Прозрачная водяная струя крутилась в обмерзших камнях. Ледяные забереги с белыми пузырями воздуха внутри стискивали ручей. Вода взбулькивала, чисто звенела. Несколько рыбок метнулись от тени полковника под лед и спрятались там.

— Пескари, — сказал полковник. — Ишь ты, пескари...

Он привычно, по-солдатски ступил прямо в ручей. Вода обжала сапог, сквозь голенище за холодило ногу. Он зачерпнул в стаканчик — крышку фляги — воды и вернулся к могиле.

Плеснул водки на землю у колонки и только тогда глотнул из горлышка сам, запил водой и стал жевать бутерброд. Крошки он кидал на могилу — птицам: где-то слышал, что так положено делать. В Австрии, что ли, когда уже после войны служил там в десантных войсках? Летчиком-то он так и не стал. Не разрешили ему стать летчиком.

— Но подлецом я никогда больше не был, — сказал полковник. — Ты слышишь, капитан? Я больше никогда не поддавался страху, слышишь? Это из-за тебя, комэск... А ты вот лежишь здесь уже сколько лет, пони-

маешь... Мне бы если сейчас заплакать, так, наверное, легче стало.

Он встряхнул флягу — оставалось немного, на днышке. Хотел опять плеснуть на могилу, но передумал и выпил все сам.

— Прости, капитан, — сказал он погody. — Опять я перед тобой провинился, а? Или чепуха все это?

Тени осин легли на могилу комэска — на серые доски колонки, на гнутые лопасти винта. Тени шевелились беззвучно и неторопливо.

Тишина застоялась в полях, в перелесках, среди берез. По-осеннему умиротворенная тишина. Ни бульканье ручья в ледяной запруде, ни дальний стук топора не могли ее нарушить.

Полковник впервые за все это время вдруг почувствовал свое одиночество здесь, щемящее, тяжелое. Он думал о запутанности и сложности жизни, о смерти и ее неизбежности.

— Да, комэск... — сказал он наконец. — А в ручье пескари, вот, понимаешь, какое дело. Прямо подо льдом плавают...

Потоптался возле могилы. Ему было как-то совестно уходить. Было тоскливо думать, что скоро стемнеет, наступит ночь, зашумят по-ночному осины, забулькает, замерзая, ручей, а капитан, опять останется здесь один.

— Ну ладно, ты, верно, уже обвык, — серьезно и грубо сказал полковник. Он вспомнил, что давеча поскупился на водку, и от этого стало еще тоскливее. — Я еще вернусь, приду, приду, капитан, — добавил он тихо.

Повернулся и, на ходу надевая фуражку, пошел сквозь заросли ольхи к озимому полю. Он не оборачи-

вался, хотя ему опять казалось, что кто-то смотрит в спину. Он понимал, что никто смотреть не может. Сзади оставался только оплывший бугор земли да искорженный винт истребителя.

Сучья трещали и лопались под сапогами. Эхо шагов гулко и долго шумело в перелесках. Давно скрылась могила Катюна, а чей-то взгляд все охлаждал кожу под волосами на затылке. И набухшее сердце тяжело ворочалось в груди.

Теперь полковник не замечал ни замерзшей костяники, ни изумрудного озимого клина за березами, ни чистой белизны их стволов.

НАШ КОК ВАСЯ

После демобилизации из Военно-морских сил я работал в экспедиции по перегону рыболовных судов на Дальний восток через арктические моря. И вот принимал однажды в должности капитана малый рыболовный сейнер на судостроительном заводе в Петрозаводске.

Был 1956 год. Неразбериха в экспедиции царила страшная. Дизельное топливо, например, которое переправляло нам рыболовное министерство, захватила себе Карело-Финская республика и отдала сельскому хозяйству: их тракторам пахать было не на чем; теплое обмундирование доставали чуть ли не в Одессе. Словом, то одно, то другое, то третье. . .

Голова кругом идет, и очень ругаться хочется. А тут еще кока у нас нет, и приходится водить команду несколько раз в день на берег, в столовую.

Этим всем и воспользовался старший помощник, чтобы уговорить меня взять в рейс коком того беспалого Ваську.

— Кок, сами знаете, сегодня вещь дефицитная, — сказал мне старпом. — Кока надо брать за жабру и та-

щить на пароход. А вы отказываетесь. Нельзя таким разборчивым быть, товарищ капитан. Всякий дефицит всегда за жабру хватать надо.

Старпом у меня был хороший. Молодой, правда, и не очень грамотный, но умение хватать вовремя развито в нем было чрезвычайно. Помню, когда мы уже пришли в Беломорск, чиф (так на морском жаргоне зовут старшего помощника) однажды ночью три автомобильные покрышки где-то стащил. Из таких покрышек самые хорошие кранцы получаются, а кранцев на судне у нас не доставало.

Заботливый был старпом. Тут ничего не скажешь. Ему за эту заботливость и «мешок завязали» накрепко. Да еще грубоват был, на глотку очень сильный. Матросы между собой звали старпома горлопаном.

Вот он мне и сказал, что этого Ваську надо брать за жабру, пока другие этого не сделали. Я объясняю Василию Михайловичу, что кок больно молодой и никогда не плавал в море. К тому же уголовник — год в тюрьме просидел. Совпадение у него еще такое нехорошее: на руке нет двух пальцев, а фамилия Беспалов.

Старпом ударил себя кулаком в грудь и говорит:

— То, что Беспалов, это ничего. Его Васей зовут. Тезка он мой. А это что-нибудь да значит. Мальчишка? Да. Против факта не попрешь. Но уже в три геологические экспедиции съездил. Желание работать ну прямо-таки крупными буквами у него на морде написано. Боевой, в общем, парень. А в тюрьму по неопытности попал и молодости. В цирке был как-то. В первом ряду сидел. А на манеже — тигры. У одного хвост из клетки высунулся и вот по опилкам извивается. Вася за хвост ухватил, на руку его намотал и ждет: что дальше будет? Тигр сперва удивился. Потом стал на свою укроти-

тельницу зубами щелкать. А Вася все держит. Скандал получился. Васю за хулиганство и уперкли на годик. Интересный он парень. И характер в нем есть, как видите. . .

Ну что тут скажешь? Действительно, симпатичный вроде парень.

Вызвал я его к себе в каюту для обстоятельного разговора.

Входит парнишка в замызганной спецовке, смущается, переступает рваными ботинками и старается не смотреть мне в глаза.

— Сколько у тебя, морской бродяга, классов? И какова твоя специальная подготовка?

— Да я еще не морской бродяга. Хочу только. А классов чуть меньше пяти.

— Что ж так мало?

— Не удалось у меня с учебой, — говорит. И впервые мне в глаза посмотрел. Открытый взгляд, чистый. — Батьку, — говорит, — немцы убили. Матка состарилась чего-то рано очень. И все болеет, болеет. Хворь из нее вовсе не уходит уже лет десять, как война случилась. Сестренка зато у меня уже в седьмой класс ходит. А я вот подрабатываю. Давно уже подрабатываю.

Ну, я, как начальству в таких случаях и положено, говорю, что ученье — свет, а неученье — тьма, и надо всем учиться.

Он сразу согласился, что это правильно, и стал про- сить:

— Я учиться когда-нибудь буду. А пока вы меня на работу примите. Как вернусь с вашего плавания, может, сразу куда-нибудь и учиться пойду — на курсы какие-нибудь. Возьмите меня. Возьмите в море.

— Ну, а пальцы свои где оставил? — спрашиваю.

Он вздохнул, потерябил вихры, потом махнул рукой: мол, была не была.

— Проиграл, — говорит, — в карты.

— Так-так. Это уже в колонии, что ли?

— Там. Из-за фамилии. Чтобы в соответствие привести. Заставили урки.

— Зачем же ты, Вася, тигра за хвост трогал? Нехорошо ведь это. Аморально как-то.

— Трудно мне вам рассказать, — говорит Вася. — Не умею я хорошо рассказывать.

— Нет, — требую, — сядь вот сюда на диванчик и объясни. Мне очень интересно знать.

Вася сел, расстегнул воротник. Я дал ему папироску.

— Скучно мне тогда было как-то так, знаете. Скучно, товарищ капитан. Вот и все.

— Как так: все?

— Ну, вернешься из экспедиции домой. А там все скучно так, кисло как-то. Матка болеет. Ругает, что денег мало присылал, что непутевый я у нее родился. Верка клянчит чего-нибудь. Ребята-дружки поразъехались или учатся. Отстал я от них, отвык. А учиться... ну не лезет ничего в башку, товарищ капитан. И получается, будто кто окошко в комнате заколотил. Вот и я... Получилось как-то так...

— Все понятно, — говорю я. — А теперь отвечай мне честно. Значит, как вышел ты из тюрьмы, тебя на прежнюю работу не взяли? Вот ты на северный



перегон и подался. Здесь, мол, всех берут, люди нужны. Так?

— Так, товарищ капитан. Они — геологи мои — алмаз ищут. Секретное это дело. И не берут меня. Морально я разложился, — так мне объяснили. А я хочу путешествовать. Я с детства хочу путешествовать.

— Готовить-то умеешь?

— Умею, товарищ капитан. Очень даже хорошо готовлю, — сказал Вася быстро и убедительно. — И щи, и кашу, и лепешки.

Вечером я стоял на палубе, глядел в онежские сумерки и думал о том, что до отхода остается двое суток. Впереди длинные переходы, трудное плавание во льдах, а дух у меня уже не тот, чтобы всему этому радоваться. Я и не заметил, как рядом очутился наш новый кок. Он стоял в той же позе, что и я — нога на кнехте, локти на леере, — и тоже смотрел, как сгущаются над водой сумерки. Не люблю я смотреть на такие вещи с кем-нибудь вместе.

— Товарищ капитан, у меня труба дымит, — сказал мой новый кок и сплюнул за борт.

— Ну, — сказал я, — и что?

— Дымит у меня труба, товарищ капитан.

— Наверное, надо прочистить.

— А и верно! — почему-то обрадовался кок и подернул свои новые синие штаны. Старпом уже выдал ему робу.

Я ушел на берег и вернулся поздно. Там от города до судостроительного завода километров пять. Автобус не ходил: весенняя грязь по колено. Пришлось пешком. Ботинки после этого похода можно было в местный краеведческий музей ставить.

Пробираюсь я от трапа к себе в каюту мимо камбу-

за, слышу — там железо звякает. Вот, думаю, прав старпом: молодой кок, но старательный. Трубу чистит даже ночью.

Ранним утром кто-то стал дергать меня за ногу. Открыл глаза и вижу, что это наш судовой механик.

— Что вы, — говорю, — спятели, что ли, механик?

— Полундра, — отвечает. — Разобрал ваш угольник пароход на части. И клотик с мачты отвинтил уже, и киль теперь начинает из шпангоутов выбивать.

— Вы, Роман Иванович, в своем уме?

— В своем. В своем собственном. — И смотрит на меня, как тюлень на белого медведя: с тоской и злобой. Надо сказать, Роман Иванович был очень недоволен своей судьбой. Он думал, что по солидным годам, по солидному опыту его на какой-нибудь большой пароход назначат, а его засунули ко мне на сейнеришко. Вот он и злился на все вокруг и раздувал все неполадки. Как говорят — нездорово их преувеличивал. Ну, думаю, и сейчас преувеличивает. Не мог мальчишка за одну ночь весь сейнер разобрать на части. Невозможно это.

— Разобрал ваш новый кок пароход на части, на мелкие кусочки, — повторяет механик со злорадством. — Из водопроводной трубы на камбузе теперь бьет артезианский фонтан!

— Воткните, — говорю, — в артезианский фонтан пробку и не мешайте мне отдыхать. Ваше это дело — забивать пробки, а не мое.

— Конечно! Ваше-то только их выковыривать.

— Это уж намек какой-то нехороший. Идите, забейте пробку, а днем мы еще побеседуем. Сами вы подписывали приемочный акт, сами принимали такой пароход, который за два часа мальчишка может на части разобрать.

Тут механик еще посердился немного и ушел. А я прислушался — и, действительно, вдруг слышу: шумит где-то вода, сильно так шумит.

Еще потонем прямо здесь, у причала, думаю. Обидно как-то: прямо у причала потонуть в грязной воде.

Быстренько встал, оделся, прихожу на камбуз. А там дымовые и всякие другие трубы на полу лежат. Только одна плита и цела. На плите кок сидит. Увидел меня и облизывается от возбуждения.

— А вы, — говорит, — товарищ капитан, неправы были. Вовсе даже и не надо было трубу чистить. Я теперь как разобрал все, то и понял. Это просто наверху крышка есть в трубе. Чтоб дождь и снег не попадал. Так она, эта крышка, наполовину прикрыта была. Вот и дым.

— Какого же лешего ты другие трубы трогал? — спрашиваю я у кока.

— Раньше-то, в поле, все проще было, — оправдывается он. — Там костерчик разведешь — и все тут. А здесь устройство. Я его изучал на практике.

В это время появился старпом.

— Войдите, — просит, — в коковое положение, не сердитесь на него. Я знаю, что вам давеча механик наговорил про Ваську. А я вам скажу, что выхлопные газы из главного дизеля вместо атмосферы почему-то на камбуз попадают, так это механику ничего...

И пошел-поехал на Романа Ивановича говорить всякие штуки. Не любили они друг друга почему-то.

В общем, пришлось до самого выхода в море камбуз ремонтировать и команду кормить по-прежнему на берегу в столовой.

А Васька, чтобы показать, как он старается, все сложные обменные комбинации с продуктами устраивал. Мы последние дни ходили от причала к причалу:

то воду брали, то топливо, то балласт. И приходилось стоять рядом с разными судами. Вот Вася это и использовал. Еще швартовые не закрепили, а уже слышно.

— Эгей, дядя! Ползи сюда поближе! — кричал наш кок соседнему коку. — Ползи, ползи сюда. Успеешь миски помыть.

— Чего ты гавкаешь, щенок? — отзывался какой-нибудь поседевший над кастрюлями повар. — Чего ты, щенок, гавкаешь?

— Дядь, ты случаем раньше в ресторане не работал?

— Да, а что? — спрашивал повар и, вытирая руки, спешил к борту. Ибо каждый корабельный кок работал когда-нибудь в первом классе ресторана и любит вспомнить об этом.

— А в каком ресторане, дядя?

— В «Приморском» во Владивостоке.

— Ух ты! В «Приморском»! Это хорошо. А томатный соус у тебя есть?

— Есть, а что?

— Давай на томатный сок менять?

Кругом собирались матросы. Они у меня были совсем молодые — курсанты из средней мореходки, практиканты. Приходил и старпом. Внимательно (как бы не продешевил чего кок) слушал, потирал небритые щеки. Василий Михайлович твердо верил, что небритые мужчины нравятся девушкам больше. Правда, в море, где девушек нет совсем, он еще реже беспокоил себя бритвой.

В перебранке и торговле проходил час. Потом Вася тащил к себе на камбуз бутылку томатного соуса и от радости напевал что-нибудь.

Занятный он был парень, Васька. И пел задушевно. Особенно удачно у него получалось: «Я — цыганский

барон! У меня много жен...» Но что бы Вася ни пел, песня ему в работе не помогала. То клейстер из фигурных макарон у нас на обед, то тюрю из сушеной картошки.

Он очень старался приготовить что-нибудь попривличнее, наш новый кок, часто показывал всем свое свидетельство об окончании поварской школы в Ленинграде. Мне даже стало казаться, будто он не кончал ее. Плохо еще было, что Вася не имел привычки к морю, и когда у Святого Носа прихватило нас хорошим штормом, так даже клейстер из фигурных макарон он не смог приготовить. То у него все сгорит, то перевернется, то плитку чаем зальет, и угли уже не раздуть. Двое суток мы только консервы и сухой хлеб ели. Сам же Вася вообще ничего не мог взять в рот. Тяжело он переносил море — едва ноги передвигал. Но моряк мог бы из него получиться. Душевные данные для этого были у Васи: в койку он не лез — прятаться под одеяло от своей слабости не хотел. Чуть живой ползет по трапу в кубрик к матросам.

— Ребята, — хрипит, — а что я вспомнил сейчас! Очень даже веселая история. Посмеетесь, может быть.

В кубрике выбрасывает от качки ящики из рундуков и мигает свет. А Вася уцепился за поручни на трапе и рассказывает слабым голосом:

— Вот был у нас в экспедиции один парень. Двухлетнего оленя сшибал с ног. Зайдет с бока, как фуганет оленя плевком в морду! Тот брык — и с копыт долой. И не шевелится больше. Это, значит, нервный шок называется. Здорово, ребята? Или вот еще случай...

Ну, ребята и заулыбаются. Будто не было бессонных ночей, промокших сапог и сырых простынь на

койках. А пока Васька про оленя рассказывает, у него в кастрюльках только пепел остается.

Но ребята не злились на него за плохой харч. Полюбили его ребята. Не знаю за что, а полюбили. И прощали многое — и сухомятку, и тюрю из сушеной картошки.

Да, так вот. Поддаваться морю Вася не хотел. Боролся со слабостью. Дым из камбузной трубы задувало ко мне на мостик и в самую непогоду. Но одного дыма то мало. Дымом не пообедаешь. Механик делал мне по десять сцен на дню.

— Что ваш кок коптит? Только пачкает небо этот уголовник. А я есть хочу! Я в том уже возрасте, когда надо питаться регулярно. Мне по договору нормальная пища положена, а где она? Где пища, я вас спрашиваю?

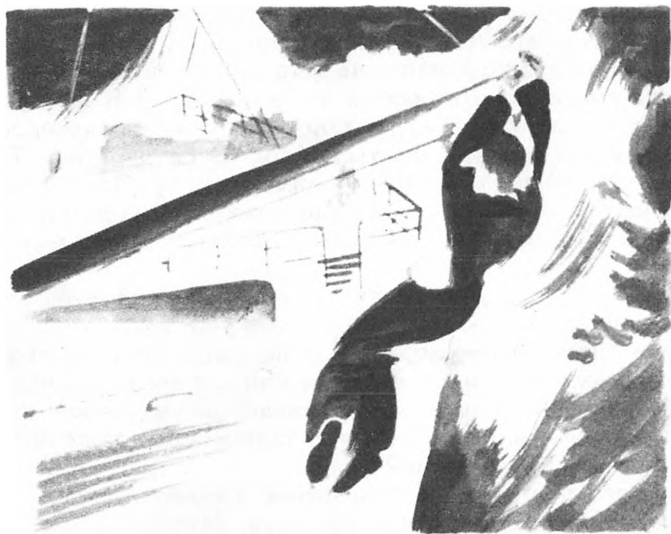
— Вы же видите, — растолковываю ему, — кок прилагает все усилия. А это и есть главное. Кок даже по ночам не выходит из камбуза.

Вася действительно по ночам в камбузе сидел. Это однажды сослужило нам хорошую службу.

Я еще на стоянке механику говорил, что надо грузовую стрелу смайнать до самого трюма и закрепить в лежачем положении намертво. А Роман Иванович уперся и говорит: «Нет!» Показывает мне заводской чертеж, на котором походное положение стрелы указано под сорок пять градусов к мачте.

— Если заводские инженеры так решили, — значит, точно, — говорил мне механик: он авторитетам очень сильно верил.

Ну вот, когда у Святого прихватил нас норд-ост, то оттяжки у стрелы не выдержали и лопнули. Тяжелый стальной блок стал с борта на борт по воздуху летать, и вся стрела тоже. Вася той ночью сидел у себя в камбузе и все пытался сварить что-нибудь. Вдруг по



стенке камбуза как ахнет этот блок. От удара краска и пробковая изоляция посыпались Васе за шиворот. Васек чувствует: случилось что-то неладное. Выбрался из камбуза. Ночь мокрым ветром насквозь полна. Пена через низкий фальшборт хлещет. Волна с полубака накатом идет по палубе. Тучи над головой летят так быстро, будто ими из пушки выстрелили. Свист и грохот вокруг. В такую кутерьму и бывалый матрос не сразу поймет, в чем дело. Но Вася понял. Подскочил к машинному люку — он ближе всего от камбуза расположен, — крикнул механику, что стрелу сорвало, а сам полез к мачте. Как его блок не угробил — это только Вася да тот блок знают.

Механик потом рассказывал, что, когда он вылез из машинного отделения, Вася уже по стреле карабкался. А стрела с борта на борт переключивалась, и от креплений оттяжечных осталось одно только воспоминание.

— Щенок беспальный! — заорал Роман Иванович. — С ума ты съехал, что ли? Сейчас за борт улетишь, стерва!

А Вася и ответить механику на грубые слова ничего не мог — так Васе на стреле трудно держаться было. Добрался он до конца стрелы, съехал по тросу на блок, обхватил его. Тут и я вышел на палубу. Вижу, летает по воздуху наш новый кок и время от времени кричит что-то совсем вроде нецензурное. А механик все хочет Васю за ногу ухватить, но никак это у него не получается.

— Вот видите, — кричу я механику, — неправы вы, Роман Иванович. Нужно было опускать стрелу до самого низа, а потом уже крепить. Я вам сколько раз говорил об этом! А вы все заводским авторитетам поклоняетесь. . .

Потом мы поймали кока за ноги, на блок набросили петлю и стрелу закрепили.

Механик после этого случая еще больше настроился против Васи. Будто это кок виноват в том, что оттяжки у стрелы не выдержали и Роман Иванович оказался неправ.

Вскоре кончился у нас запас печеного хлеба, который мы взяли в Беломорске, и надо было Васе печь новый хлеб. Но к этому делу кок отнесся как-то странно.

— Может, вместо хлебушка лучше жарить лепешки? — спрашивал он у старпома. Старпом к тому време-

ни уже начал косо поглядывать на Васю. За продукты отвечал он, старпом. А перерасход продуктов уже большой. В непогоду кормили команду консервами. По тридцать рублей старыми деньгами в день обходилась эта пища на каждого человека, — консервы вещь дорогая. А положен арктический паек по двенадцать рублей. Естественно, что насторожился мой старпом.

— Какие, — говорит, — лепешки? Ты что, Беспалов, твердо решил оставить меня при расчете совсем без монеты? На лепешки ведь надо уйму масла и все прочее. А нам еще три месяца в морях болтаться. Пеки хлеб. И не шути больше так. Чтобы выдал завтра первую плавку, и все тут. А то вот, — и кулак показывает.

На следующий день приходит Вася ко мне на мостик. Ветер начал стихать, море успокаиваться. Но Вася стоит и весь дрожит.

— Товарищ капитан, невозможно сейчас хлебушек печь. Поверьте мне, товарищ капитан. Я же так... так стараюсь... Я... Я все лучше хочу как... А в духовке кирпичи повываливались от шторма этого, и горит хлебушек, как только его туда сунешь. А старпом «пеки» говорит, и все тут.

— Вася, давай честно, ты вообще-то умеешь выделывать хлеб?

Вася стоит, беспалую руку сует под мышку, греет. Лицо у него серое, мешки под глазами набухли и отливают голубиным пером.

— Умею, — говорит, — делать хлеб. — А сам смотрит куда-то в небо. И такую тоску я почувствовал в нем тогда. — Нужно, — говорит, — глины огнеупорной, чтобы замазать кирпичи обратно.

— Ну, ладно, — отвечаю. — Придем вот скоро на остров Вайгач. Станем в бухте Варнека. Там доставим глины. Вечером к земле подойдем. Это для моряков всегда большое событие. Вот и укрась его вкусным ужином. Доставь ребятам маленькую радость. Работа-то в море, сам видишь, трудная, мокрая, грязная.

— Если бы я... если бы я, товарищ капитан... — Но не договорил тогда Вася, вздохнул и полез с мостика вниз.

Пришли на Вайгач. Я стал под борт к флагманскому судну, договорился насчет бани для команды, отправил людей за глиной для духовки, а коку приказал идти готовить на камбуз флагмана, чтобы не терять времени.

За ужином собралась вся моя команда. После бани все чистые, довольные. Один трудный этап пути уже остался за кормой.

Вася занял на другом судне хорошего хлеба. На следующей стоянке — у Диксона — обещал отдать. И сам ужин у Васи получился просто великолепный. Сухую картошку он, видно, пропустил через мясорубку и напек из нее то ли котлетки, то ли пирожки. И залил все это томатным соусом. Красиво выглядит в мисках и вкусно. Сварил еще уху из трески с клецками и кисель на третье.

Шумят ребята мои, радуются. Наконец-то, мол, Васька проявил свои таланты, это ему морская встряска мозги поставила на место.

И хотя за иллюминатором хмурое небо и дождь лупит, но у нас в кают-компании хорошо, весело. За тем ужином вдруг почувствовал я, что есть у меня на сейнере команда. Не просто люди разные — мотористы,

матросы, — а команда. Сбило их, сшило, спаяло море. Радостное такое чувство от этого. Даже механик размяк и рассказал веселую историю про одного своего знакомого, который якобы написал труд о родимых пятнах и их роли в жизни красивой женщины и хотел получить за этот труд звание кандидата наук.

Все смеялись. Один кок мрачный ходил. Только спрашивал у всех: «Добавить? Добавить?»

Через день выбрали якоря и двинулись дальше. Только прошли Югорский Шар — и сразу во льды попали. Полоса тяжелых льдов миль в сорок. Ледокола с нами еще не было, и мы в этих льдах мучились целые сутки. Промерз я, стоя на мостике, изнервничался.

Бьют нас льды, а Вася рад. Во льдах не качает, волны нет. Печку отремонтировали на Вайгаче, и Вася печет хлеб. И все мы, как на его возню посмотрим, так сердцем теплеем, хотя вокруг и тяжелые льды. Однако старпом время от времени подбадривает кока.

— О'кэй! — кричит. — О'кэй, Васек, нажаривай хлебушек!

Старпом любил беседовать по-английски.

Вышли наконец на чистую воду. Я спустился с мостика, вымылся и — обедать. В кают-компании все готово к обеду, и хлеб на деревянном подносе лежит посреди стола. Я здорово хотел есть. Ну и, не дожидаясь супа, отломил краюшку. А механик сидит против меня и смотрит очень внимательно.

От той краюшки у меня глаза полезли на лоб. Явственно я это почувствовал.

— Что, капитан, откушали хлебца? — спрашивает меня механик.

— Откушал, Роман Иванович, — шепотом отвечаю я.

— И я, — говорит, — тоже. — И задышал часто-часто.

— Не раскисайте, — говорю, — товарищ старший механик. Моряк вы или нет?

Механик тыльной стороной ладони вытирает со лба пот.

— Я, — бормочет, — умру сейчас.

— Вам, — говорю, — видно, совсем уже плохо, Роман Иванович, раз вы до таких мыслей начали подниматься.

Потом он немного пришел в себя, открыл глаза, а в глазах у него лютая ненависть, и говорит:

— Убью я его. Убью Ваську.

А Вася суп несет и, на свою беду, робко так, но все же спрашивает про хлеб: как, мол, ничего?

Роман Иванович взвизгнул, схватил ложку и запустил ее в кока. Васек присел на корточки, поставил суп на пол — и шмыг в двери.

Стармеха матросы оттащили в каюту, кажется, на руках. Он и говорить ничего не может больше — икота на него напала.

Мне не до обеда стало. Пошел к себе и лег.

Поспал немножко и проснулся, как всегда просыпаюсь — внезапно, будто лопнула в койке пружина и воткнулась в спину.

Плескало за бортом Карское море. От воды несло холодом. Я побродил по палубе. Металл кое-где уже порыжел от ржавчины. В ватервейсе у камбуза валялось несколько щепок и пустая консервная банка. Я толкнул дверь и заглянул в камбуз.

Вася сидел на полене возле плиты и смотрел на

огонь. Привязанные проволочками кастрюли висели на стенках, покачивались. Пахло чадом и газами от дизеля.

— Я не умею печь хлебушек, — сказал Вася. — И ужин на Вайгаче не я готовил, а Семен Семенович с флагмана. Я готовить плохо умею. И свидетельство поварское у меня липовое. Ребята сделали.

— Так мне и казалось, — сказал я.

— Вы меня на Диксоне выгоните? — спросил Вася и стал подгрести к плите мусор.

— Если замена будет, — сказал я.

— Может, я быстренько научусь, а?

— Не знаю, — сказал я. — Это ведь не так уж просто.

— Да. Не так уж просто, — повторил Вася тихо. — Как ребята тогда котлеткам картофельным радовались... И вы радовались.

— Радовался, но не только котлеткам.

— Хорошо, когда люди радуются, — пробормотал Вася. — Или смеются.

— Это так, — сказал я.

— Может, ребята на меня не очень сердятся, а?

— Дружище Вася, нам еще долгий путь. Может статься, кто-нибудь и не вернется из него. Он трудный, наш путь. Матросы не понимают этого. Они еще слишком молоды. Я понимаю за них. Людям придется много работать. Людям будет трудно там, впереди, во льдах. Их надо хорошо кормить. Надо быть поваринным асом, чтобы готовить в этих условиях вкусную пищу.

— Я понимаю, — сказал Вася и зачем-то потрогал пальцем подошву ботинка.

— Ты учись. На будущий год найди меня в Ленинграде. Я тебя в другой рейс возьму. Слышишь? Учись обязательно.

— Спасибо, спасибо. И простите меня. А коком я стану. Тут десять классов иметь не обязательно. Может, таким образом и утрясется моя судьба. Хорошо тогда за ужином было... И плавать буду, путешествовать...

На Диксоне старпом нашел другого повара — Марию Ефимовну Норкину. Была она тогда дамой полной. Двух Вась из Ефимовны в те времена можно было бы вскрыть запросто.

— Хватка у нее есть, — сказал мне старпом. — Это точно. Я попробовал ее потрогать, так она меня такхватила! До сих пор ухо потрескивает. Морячина насквозь соленая. В сорок пятом «Рылеев» у Бронхольма подорвался на mine. Так она на нем буфетчицей плавала. В Швецию их вельбот вынесло. Опытная баба...

— Я те дам «баба»! — сказала наш новый кок, перелезая через борт. — Я те дам «баба», заяц нечесаный!

Стармех, увидев нового кока и услышав ее первую тираду, заулыбался радостно и даже перекрестился, а потом сказал мне тишком:

— Эх, Виктор Викторович! Сколько мне ваш Васька крови и желудочного сока испортил, подлец такой! Желудок не крематорий, а? Огнеупорной глиной вместо хлеба кормил. Да. Вредитель он закоренелый. Ведь и трубы разобрал тогда, чтобы не выгнали его еще на стоянке. Да. Я вас, Виктор Викторович, попрошу: штаны я ему решил подарить. Хорошие они еще совсем. Великолепные просто штаны. И китель тоже. А то костюм у него, так сказать, слабый. Ехать-то отсюда далеко. Вообще, молодой этот Васька и неустроенный какой-то. Так вы вот передайте ему, пожалуйста...

Тоскливо пасмурное небо в Арктике, будь оно не-ладно. Кажется, никогда больше солнце не пробьется к земле. Тучи над Диксоном, как серая, мокрая вата, льнут к самой воде, задевают скалы.

Ледокол тремя сильными гудками позвал нас за собой и медленно побрел к выходу из бухты. Черный дым из труб ледокола стлался над водой.

Из трубы нашего камбуза дым шел тоже.

Вася стоял на краю причала. Плакал. Фанерный чемоданчик он отнес подальше от воды. Холодный ветер порывами задувал с моря. Чемоданчик под напором ветра покачивался. Вася плакал и локтем закрывал лицо.

Вся команда топталась вдоль борта. Механик выглядывал из машинного люка, морщился.

— Отдавайте скорее швартовы, старпом! — приказал я. — Отдавайте их скорее, черт вас всех побори!

ПУТЬ К ПРИЧАЛУ

1

На «Полоцке» было четверо добровольцев: Росомаха — боцман со спасательного судна «Кола», двое рулевых и моторист.

«Полоцк» шатался на волнах и окунал нос в воду при каждом рывке буксирного троса. Его помятые шпангоуты обтягивала ржавая обшивка. По трюмам плескалась вонючая жижа.

Когда-то немецкая бомба угодила «Полоцку» в машинное отделение. Команду сняли, а искалеченное судно выкинуло на пустынный берег Новой Земли. И «Полоцк» пролежал там многие годы. Зимой его заносила снегом пурга и любопытные медведи лазали по матросским кубрикам. Летом крикливые полярные чайки садились отдыхать на перекошенных ряях и ослабших тросах такелажа.

За эти годы «Полоцк» глубоко вдавил свою тяжелую острую грудь в прибрежную гальку. Людям пришлось повозиться, пока они стащили его с мели, залатали пробоины, заварили трещины в обшивке.

Теперь «Полоцк» бредет на буксире у спасательного судна, чтобы в Мурманске стать к своему последнему причалу, от которого пути не будет никуда. Впрочем — будет: автоген расчленил металл, куски «Полоцка» погрузят на платформы, а потом переплавка — новое рождение в огне. Для этого и возились люди, снимая с мели судно, для этого и вели через беспокойное Баренцево море.

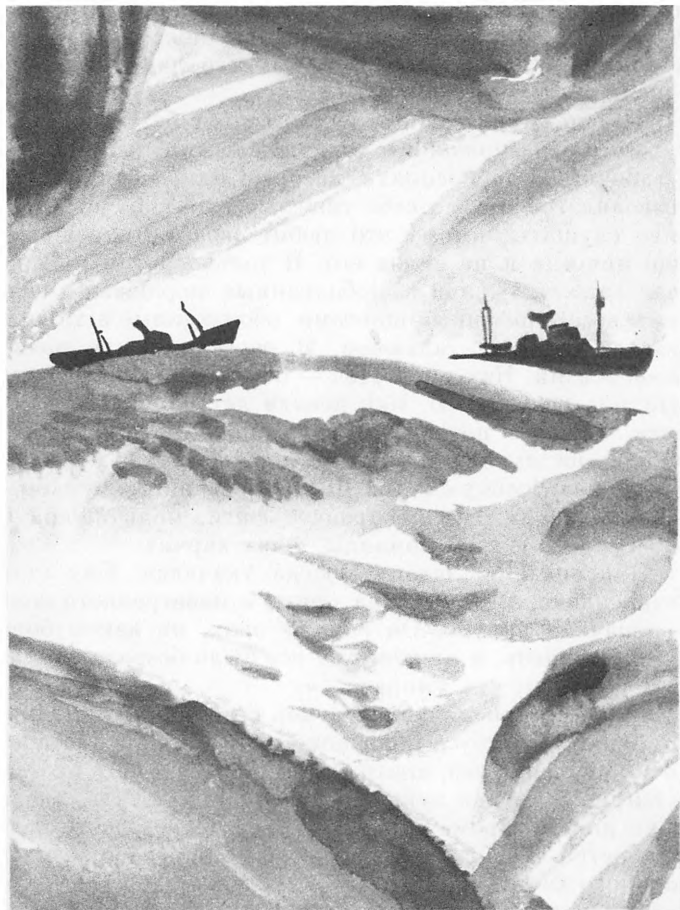
«Полоцк» вихлял и упирался, но стальной буксирный трос крепко держал его за чугунные ноздри клюзов.

Росомаха, волею судеб ставший на «Полоцке» кем-то вроде капитана, сидел на бочке из-под кислой капусты в кормовой надстройке, возле единственного уцелевшего окна. Боцман собственноручно принайтовил бочку к палубе и был убежден: как бы ни разгуливалась погода, сиденье для него обеспечено до самого Мурманска.

В надстройке было холодно, сыро и неудобно.

Время от времени Росомаха пускал папиросный дым себе за пазуху и наблюдал, как он потом выбирается из рукавов. Теплее от дыма не становилось, но в таком занятии было что-то успокаивающее. А состояние, в котором Росомаха пребывал весь последний рейс, было необычным, тревожным. Боцман ждал встречи с сыном. Уже три месяца он жил этой встречей, часто представлял себе, как они сядут друг против друга за столиком в пивной, как он нальет сыну и себе, а вокруг, в табачном дыму, будут шуметь и ругаться люди, но он и сын будут совсем одни среди этих людей, потому что они — отец и сын.

У них будет трудный разговор. Так много нужно объяснить. Но ничего, он найдет правильные слова. Он скажет, что Марии больше никогда не придется ра-



ботать. До самой смерти. А если первым умрет он, Росомаха, Мария получит хорошую пенсию. Недаром же он проплавал сорок лет. За него дадут хорошую пенсию.

Сын нахмурится. Может, он станет бить своего непутевого отца молчанием или тяжелыми словами обиды и горечи. Тогда Росомаха, который никому никогда не позволял говорить о себе тяжелые слова, будет терпеливо слушать, потому что любит своего Андрея, хотя еще никогда и не видел его. И только потом покажет свои ладони, тысячи раз ободранные шершавыми вальками весел, резанные шкотами, обожженные в хлорной извести судовых гальюнов. И расскажет про начало своей жизни. Как умер отец — помор и рыбак, утащенный под воду сетью. Как девяти лет он, Зоська Росомаха, впервые попал в море. Капитан-швед, который обходил на шхуне беломорские берега, скупая у поморов рыбу, взял Зоську с собой. И как Зоська стал зуйком — чем-то еще ниже и бесправнее юнги, мальчишкой на побегушках у всей команды — «за харчи».

В первый же шторм Зоська укачался. Ему стало очень плохо. Он вытравил прямо с наветренного борта и испачкал палубу. Он еще не знал, на каком борту можно травить, и притом ему все было безразлично: он был убежден, что умирает.

Капитан просмоленной рукой сгрел Зоську за шиворот, вытер палубу его физиономией, а затем протащил до самого полубака, швырнул на взлетающий к небесам бушприт и загнал зуйка на самый нок — туда, где не было ничего, кроме бурлящей пены и жестокого ледяного ветра. Зоська качался и вертелся посреди зеленого водяного хаоса, вцепившись в скользкое дерево. Он ревел и урчал, хватаясь зубами за форштаги, но не сорвал-

ся и совсем забыл про то, что его тошнит, что он умирает. Над самой головой Зоськи железно лязгала намокшая парусина кливеров. Команда шхуны собралась на баке и хохотала, глядя на это.

Когда зуйка пустили обратно на палубу, он изловчился и прокусил клеенчатые капитанские штаны и капитанскую ляжку, за что, страшно избитый, был брошен в канатный ящик и сутки провалялся на перекатывающиеся якорных канатах.

— У, зверек! — не без уважения и даже с некоторым любованием Зоськой говорили матросы.

— Станет моряком, — усмехался капитан, — у, росомаха!

Больше никогда Зоська не травил и не боялся моря, штормов. Валяясь избитый, мокрый и одинокий в канатном ящике, зук подвел итог своему первому морскому приключению. Он навсегда понял, что море можно пережить, если держаться до конца и ни о чем, кроме этого «держаться», не думать. Он понял, что должен стать здоровым и сильным, чтобы отомстить всем, кто издевается над ним сейчас, когда он маленький и слабый. . .

Это было в шестнадцатом году, а только в конце тридцатых, наполовину забыв русский язык, он вернулся на родину, обойдя к тому времени большинство морей мира. Сколько раз его били, сколько издевались над ним! Сколько кровавой юшки вытекло из его носа, сколько злобы скопилось в душе! . .

А может, и не стоит обо всем этом рассказывать сыну? Пускай не думает, что отец хочет разжалобить его. . .

Так раздумывал боцман Росомаха, сидя на бочке изпод капусты в кормовой надстройке «Полоцка» и пуская



дым себе за пазуху. Сквозь мутное стекло он видел едва заметные в ночной темноте очертания носовых надстроек и белесые полосы налетающих снежных шквалов. Иногда тьму вспарывал маленький, но лучистый огонек — гакабортный на корме «Колы».

Если огонек показывался в стороне от носа «Полоцка», боцман стучал каблуком по своей бочке и обзывал рулевого щенком. Щенок — по фамилии Бадукон — был ростом около двух метров, но по мягкости характера на боцмана не обижался и молча начинал перекладывать штурвал, выводя нос «Полоцка» в кильватер «Колы».

Управлять рулем вручную становилось все тяжелее и тяжелее. Штуртросы заедало, хотя перед выходом их почистили и смазали, пустой и высокий нос «Полоцка» часто уваливало под ветер, а через разбитые окна били в лицо холодные и жесткие брызги.

Бадукову помогала только молодость и свойственная рулевым привычка к мечтаниям. Он мог подбадривать себя простыми мечтами: например, тем, что до конца вахты остается всего полтора часа, потом заспанный Чепин поднимется в рубку и можно будет передать ему рукояти штурвала, спуститься вниз и заснуть, укутавшись с головой сухим тулупом: Правда, и во сне перед глазами будет качаться снежная белесая мгла и он, Бадуков, будет искать в ней гакабортный огонь «Колы», и ждать сердитого окрика Росомахи, и мозолить ладони на штурвале, но во сне все это не так нудно, как сейчас, наяву.

Жили в нем и другие, более сложные и менее исполнимые мечты: чтобы капитан «Колы» Гастев объявил ему благодарность за согласие тащиться на этой ржавой консервной банке через штормовое море. И не просто благодарность, а и отпуск на недельку. Чтобы можно было, помахивая легким сундучком, сойти в Мурманске на причал, сесть в поезд и поехать в Вологду к Галке. Явиться совсем неожиданно и встретить Галку у дверей института в скверике. И чтобы снег падал на деревья. Очень хорошо, когда снег падает, а ветра нет и ничто не гремит, не стонет, не качается вокруг. . .

Бадукову вспомнилась его деревушка на Вологодчине. Снега. Сугробы по самые крыши. Тишина. Слабый скрип венцов у изб в лютые святочные морозы. Долгий и ясный звон, когда от ветерка качаются обле-

денелые веточки поникших берез. И та памятная для него зима, когда стояла особенно большая стужа. От натопленных печей в низеньких комнатках деревенской школы было душно, слезились стекла окон, потемнели от сырости лозунги, написанные на старых газетах еще со сводками Информбюро. Даже самые отчаянные мальчишки не выскакивали в перемену на мороз, сидели в духоте, шумели в коридоре, играли в «поцелуйки». Кто-нибудь брал за руку девчонку, которая ему нравилась, а по свободной руке его лупили ремнем. Кто дольше выдержит, не отпустит? Вот и вся игра.

Он, Лешка Бадуков, был в те времена очень маленького роста. Это потом, после седьмого класса, вымахал сразу на полметра. Такой незаметный был, что Галка совсем не обращала на него внимания. И взял он ее кисть робко, чуть слышно. Но чем яростнее били его ребята, тем плотнее слипались Галкины пальцы в его ладони.

Как улюлюкали вокруг мальчишки! Хлестали, как и положено, без всякой жалости. Он весь взмок от пота, и губы дрожали. . . И бог знает, чем бы все это кончилось, если б не прозвенел звонок.

Хихикая, убежали девчонки. В последний раз хлестнув его ребром ремня, умчался экзекутор. И Галка спросила:

— Чего не отпускал? Ведь больно очень. . .

— А зачем? — пробормотал он и наконец отпустил. . .

Почему-то всегда при Галке он куда смелее и выносливее, чем без нее. . .

Вот так раздумывал Бадуков, наваливаясь грудью на непослушный штурвал и отыскивая во тьме за форштевнем «Полоцка» гакабортный огонь «Колы». Раз-



мягченный мечтаниями и воспоминаниями, он начинал петь. Он пел все одну и ту же песню:

Мы в море уходим,
Там всяко бывает,
И может, не все мы
Вернемся домой. . .

Бадуков пел так проникновенно и чувствительно, что потерпев минутку, Росомаха приказывал ему замолчать.

В трюмах «Полоцка» возле мотопомп нес вахту моторист — молоденький, но очень рассудительный парнишка с круглой и плоской, как сковорода, физиономией, вечно измазанной соляром или тавотом. Настоя-

щее имя моториста было Василий, а прозвали его Ванванычем — за степенную не по годам рассудительность. Этот паренек пережил много. Он побывал в оккупации. И хотя тогда был еще совсем мал, все-таки принял участие в войне. Однажды, забив в сапоги немецкому офицеру, который квартировал у них, по здоровенному гвоздю, удрал к партизанам и честно поработал помощником поварихи на партизанской базе.

Ванваныча на «Колё» любили, он знал это и, когда кто-нибудь ерошил ему волосы или нахлобучивал шапку на глаза, не сердился.

Мечтать на вахте моторист не мог: воды поступало порядочно, а одна из помп вела себя плохо — начинала чихать, и тогда ее отливной шланг прыгал и извивался в темноте трюма, как огромная, тяжеленная змея. Ванваныч прыгал тоже, уклоняясь от шланга, и обзывал то помпу, то себя «перекистью ангидрида марганца». Себя он ругал за то, что забыл на «Колё» запасное магнето и прокладку от приемного шланга.

Когда помпа начинала чихать, плеск воды в трюме усиливался. В луче электрического фонарика Ванваныч видел, как черная маслянистая жижа качается, поднимаясь по скобам трюмного трапа. А Ванваныч никак не мог разрешить ей подниматься. Он был один на один с этой грязной, черной водой в гулких пустых трюмах, и временами ему становилось жутковато.

Каждый час к Ванванычу спускался Росомаха. Сперва в зыбучей темноте показывался светлячок папиросы, которую не выпускал из зубов боцман, потом раздавалась хриплая брань: пока боцман брел в темноте, что-нибудь обязательно попадало под ноги.

Росомаха проверял отметки уровня воды в трюмах и несколько минут проводил с Ванванычем. Они

сидели на корточках, друг против друга, слушали удары волн о борт, шум помп, плеск жижи в трюмах. Боцман вытаскивал часы, долго смотрел на их светящийся циферблат — замечал время обхода.

— Ну, как на воле? — спрашивал Ванваныч, чувствуя, что Росомаха вот-вот опять уйдет.

— Осенью всегда дует...

— Ага, — солидно соглашался Ванваныч. Ему очень хотелось хоть на минуту еще задержать боцмана, задать ему еще какой-нибудь вопрос, но Росомаха уже поднимался на ноги.

— Бывай, — говорил он. Боцман понимал, что моторист не хочет снова остаться один, но раз надо — значит, надо. И потом он, Росомаха, — боцман, а не солнышко и всех обогреть не может.

На палубе Росомаху обдавало водяной пылью, по глазам стегал ветер со снегом.

Две тысячи тонн стали, которые они вели через штормовое море, качались, дыбились. Но Росомаха умел собирать пальцы ног в такую щепотку, что подошвы прилипали к палубе на любом крене, как присоски.

Боцман не торопился подниматься в надстройку. Он стоял на палубе, оглядывая ночную тьму, — там ворочалось, извивалось и выло море; оглядывал небо, в котором нордовый ветер распарывал тучам рыхлое брюхо, на миг давая пробиться слабому свету звезд; и вся эта





затя с буксировкой «Полоцка» не нравилась ему все больше и больше.

«Кола» долго проплавала в Арктике, обеспечивая перегон речных судов в устье Оби. Ее команда честно заработала себе право идти прямо в Мурманск, и то, что капитан «Колы» Гастев согласился на обратном пути из Карского моря буксировать «Полоцк», злило Росомаху.

Впервые за всю свою морскую жизнь боцман торопился вернуться в порт, на берег. Нестерпимым становилось ожидание встречи с сыном. На последней стоянке Росомаха даже попросил капитана списать его с судна до окончания рейса.

— Меня ждут на берегу, — сказал боцман Гастеву. — Мне нужно в Мурманск. — Он сказал это гордо, хотя совсем не был уверен в том, что его действительно ждут.

Но Гастев не стал слушать, кто ждет Росомаху на берегу: ему необходим опытный боцман для буксировки «Полоцка». Вот и все.

Росомаха обиделся на капитана. Несколько утешало только то, что на «Полоцке» оказались кое-какие полезные вещи. Боцман вытащил металлический штормтрап из котельного отделения и снял ручки с дверей нижних кают. Все это могло пригодиться для «Колы»...

Проведав моториста и проветрившись, Росомаха

опять взбирался на свою бочку в кормовой рубке и закуривал новую папиросу.

Опять за его спиной скрипел штурвал и чувствительно пел Бадуков. Пел про то, что в море бывает всяко, что если моряк не вернется, то «рыбачка заплачет скупыми слезами и черную воду навек проклянет, а белые чайки замашут крылами, и кто-то другой в непогоду уйдет. . .»

Около восьми часов утра поднялся в надстройку второй рулевой, Чепин. Еще с порога он закричал про сон, который ему приснился:

— Здоровенная, понимаете, груша! А я ее луплю, как тренировочную для бокса! Из нее сок в разные стороны так и летит, так и летит! А я ее — боевыми перчатками! Хрясть! Хрясть! А сам думаю, кусить бы кусочек. . . Во как бывает! Сколько на румбе?

— Проснись. Какой тебе здесь румб? — вяло откликнулся Бадуков, передавая штурвал сменному. — Держи в задницу «Колы», вот тебе и весь румб. . . Вахту сдал! — доложил он Росомахе.

— Принял! — бодро гаркнул Чепин и продолжал: — Эх, и жаль мне эту грушу! Так и не попробовал. Слышишь, боцман, я грушу видел!

Росомаха молчал.

По-прежнему впереди то гас, то зажигался гака-бортный огонь «Колы», «Полоцк» вздрагивал от рывков, окунал нос в воду, а потом суетливо раскачивался с борта на борт, и оборванные ванты фокмачты с разлета закручивались на грибах вентиляторов возле дымовой трубы.

Близился рассвет.

Одна за другой уходили за корму разрезанные «Полоцком» волны. На пустынной палубе громыхала, раскатываясь при кренах, пустая канистра из-под бензина — не закрепил ее Ванваныч. Сырость пробиралась сквозь одежду. Чепин зябко ежился, но бодрости в нем не убывало, и, чтобы развлечься, он стал задавать боцману каверзные вопросы.

— Зосима Семенович, — спросил Чепин задумчивым голосом. — Как считаешь, при коммунизме тебе не очень скучно жить будет, а? Все, понимаешь, тихо, мирно... Милиции никакой, пивные закроют...

— Не ходи право! — рявкнул боцман.

— Есть не ходить право! — по всей форме повторил команду Чепин. Но после приличной паузы возобновил атаку:

— Боцман, скажи, пожалуйста, ты сколько раз в Африке бывал?

— А зачем мне считать? — чуя какой-то подвох, спросил Росомаха.

— Так... — многозначительно и зловеще протянул Чепин. Но, к счастью боцмана, здесь с «Колы» поднялась и, зависнув на миг в низких тучах, рассыпалась бледными искрами ракета. Это был вызов на связь. Росомаха включил переносную рацию.

Говорил капитан «Колы» Гастев. В темноте его строгий голос звучал так отчетливо, что, казалось, сам капитан пришел сюда — маленького роста, с лицом, изрытым оспой, в синем простом ватнике, который всегда надевал в море; вошел и смотрит подчиненным прямо в лица своими сощуренными холодными глазами.

Чепин даже выпрямился: капитан терпеть не мог, когда рулевые гнулись у штурвала или прислонялись к переборке спиной.

— Боцман Росомаха, доложите сводку!

Росомаха доложил: уровень воды в трюмах поддерживается неизменным, штуртросы по-прежнему немного заедает, люди покамест работают хорошо.

И опять вслед за своим голосом вошел в кормовую надстройку Гастев, но теперь казалось, будто капитан присел рядом с Росомахой на бочку из-под капусты и запросто обхватил плечи боцмана.

— Как слышишь меня, Зосима Семенович?

— Хорошо слышу, капитан, — неторопливо ответил Росомаха и пустил дым себе за пазуху. Он понял: разговор будет о чем-то серьезном.

— Ветер-то крепчает, боцман... Прогноз — до девяти баллов норд-вест...

Чепин выругался, пососал ссадину на кулаке и плюнул в разбитое окно перед собой. Ветер тотчас отшвырнул плевков обратно, и Чепин едва успел отскочить в сторону. Погодка действительно разгуливалась.

Капитан продолжал:

— До Канина Носа часиков двадцать всего осталось. Как «Полоцк» ведет себя? Еще не поздно на Колгуев свернуть, в Бугрино отстояться можно... Не торопись отвечать. Я на связи. Прием.

Росомаха наблюдал за дымом, который сочился из правого рукава полушубка, и думал. Он понимал все, о чем Гастев не считал нужным говорить вслух. Гастев вообще не любитель говорить много. В девятибалльный штормягу их с «Полоцка» не снимешь быстро. Чуть что — и будет просторный гробик на четверых: пока вельбот с «Колы» спустят, его двадцать раз в щепки разнесет... Но идти в порт Бугрино на Колгуеве — значит потерять неделю, а то и больше. Осенние штормы скоро не кончаются... Все в этом рейсе складывалось

так, чтобы досадить Росомахе, все было против боцмана: и капитан с его согласием буксировать «Полоцк», и море, что собирается шуметь и буяннить не на шутку, и сам «Полоцк», который вихляет и упирается...

— Я — Росомаха, я — Росомаха! — сказал боцман в маленький черный зев микрофона. — Стравите еще метров сто буксира, а то рывки сильные. Стравите буксира, и потихоньку дойдем.

— К богу в рай, — вполголоса закончил за боцмана Чепин и, придерживая носком сапога штурвальное колесо, потянулся к углу, в котором стояла рация, дернул Росомаху за тесемку капюшона: — Боцман, скажи радисту, пусть Витьке Мелешину передаст: если только мою канадку наденет, я ему морду набью... Он всегда все чужое хапает!..

«Полоцк», оставшись без управления, немедленно повалился на борт.

— Я т-те дам канадку! — закричал Росомаха, втыкаясь носом в рацию. — Я т-те дам!

Из радиации опять раздался голос капитана:

— Если помпы станут, сколько продержитесь?

— Главное — чтобы буксирный трос не лопнул, а за остальное не беспокойся. Эта коробка не такая дырявая, как кажется... — доложил боцман, показывая Чепину кулак. Но, закончив разговор, Росомаха больше не ругал рулевого. Он стал возле окна, бессознательно повторив позу, в какой обычно стоял Гастев, — упер локти в углы оконной рамы.

Сейчас, не задумываясь, он рискнул не только собой, но и всеми этими молодыми парнями. Не следовало сердиться на них. И буксир проверить пора — как бы не перетерся, — тогда сразу крышка... Не будет тогда ни встреч, ни разговоров...

— Так вот, товарищ боцман, — опять завел свою пластинку Чепин. — В этой самой Африке до сих пор кое-где существует первобытнообщинная формация. Эта формация. . .

— И без тебя знаю, — неуверенно пробормотал Росомаха. — Буксир надо посмотреть. У левого клюза трос на большом изгибе, как бы не перетерся. . .

— Все равно сюда вернешься! — с веселым злорадством сказал Чепин. — На палубе долго не просидишь. . . Я за четыре часа тебе про все формации расскажу. . .

Росомаха досадливо отмахнулся и пошел проверять крепления буксирного троса на полубаке.

Неся на спинах белые гребни, с океана накатывались валы. За их грохотом уже не разобрать было ни скрипа штурвала, ни шума помп Ванваныча.

Тучи опускались все ниже. Они будто придавливали к морю ветер. Ветер становился плотнее, набирал силу.

2

Росомаха — северный одинокий зверь. Он никогда не делает себе постоянного логова, он бродяга. Толстолапый и неуклюжий с виду, а на самом деле — быстрый и сильный.

Таким, оправдывая свою фамилию, стал и Зоська Росомаха к тому времени, когда его начали называть полным именем — Зосима. Он не любил задумываться над будущим, смеялся над настоящим и брал от этого настоящего все, что мог взять сегодня, что могли удержать его здоровейные, плоские, как лапы росомахи, руки. Но себя он никогда не берег и гордился этим.

С мятежным озорством Росомаха мог начать драку один против десятерых. Мог, вися на руках, перебраться с мачты на мачту по штаг-корнаку.

Мог — и не раз делал это — метнуться за борт на помощь какому-нибудь неудачнику. Но мог со спокойной совестью и не сделать этого: «Что я, рыжий, что ли?»

Его ценило начальство, потому что Росомаха был из тех настоящих боцманов, которым редко надо приказывать. Моряцким чутьем он чувствовал, где под слоем чистой краски ржавеет незасуриченное железо, где за доски обшивки вползла сырость, и без прогнозов погоды понимал, когда надо готовить добавочные крепления на палубный груз. Он любил свою работу, любил море: «А куда я без него?»

Женщины, которых он встречал на стоянках, тянулись к нему. Они чувствовали, что этот здоровенный, рыжий, кудлатый моряк спокойно может прожить и без них. Это задевало самолюбие, хотелось найти, чем же можно привязать его к себе.

Но Росомаха был твердо убежден, что жить свободным — спокойнее и легче. Особенно если работаешь опасную работу. Одиноким рискует только собой, а одинокий мучается за всех своих родных и близких.

Когда судно покидало очередной причал, боцман возился у своего брашпиля или убирал швартовы и только в самый последний момент неторопливо распрямлялся над фальшбортом, махал остающимся грязной рукавицей: «Не скучай, голуба!»

Все дальше уходил от него берег. Мутная, в радуге нефти, вода светлела. Все меньше щепок и разной другой портовой плавщины откидывала от борта ходовая волна. Бесчисленные боцманские дела вели Росомаху по судну и уже скоро занимали все его мысли: «Опять

неплотно зачехлили шляпки!» И когда он оглядывался назад, берег, если это было днем, уже синел бледной, бесплотной полоской или рассыпался пригоршнями маленьких огней — если была ночь. И так же бледнели и рассыпались в памяти боцмана люди, оставшиеся на причале.

Даже в свое родное становище на Белом море он так и не собрался съездить, когда вернулся в Россию после долгих лет бродяжничества по свету среди чужих людей.

Перед самой войной Росомаха плавал на рыболовном траулере в Атлантике и чуть не влюбился. На траулере работала поварихой молоденькая девушка-рыбачка. Ее звали Марией.

Она была маленького роста, низко по лбу — у самых глаз — повязывала платок, держалась всегда тихо и незаметно. С одинаково робкой, слабой улыбкой Мария приносила горячую уху рыбакам в кубрики, как бы ни лютовал шторм на море. Такой же улыбкой отвечала на их шутки — соленые, как треска прошлогоднего засола, с такой же улыбкой могла подхватить разлохмаченный стальной швартов голый рукой, а потом потихоньку отмачивать ссадины в забортной воде.

Обычно Росомахе нравились женщины шумные, заметные, зубоскальные, а тут ему приглянулась эта тихая повариха. Но, хлопоча со своими бачками, напевая ей одной слышные песенки, Маша никакого особого внимания на боцмана не обращала. По нескольку раз в день Росомаха спускался в камбуз, тяжело вздыхал, жаловался на одинокую судьбу, горести, пережитые на чужбине. Маша улыбалась в ответ своей слабой и робкой

улыбкой, но от этого ее сердце не делалось для боцмана доступнее.

Все, конечно, знали про боцманскую неудачу. Те, кто был посмелее, подтрунивали над ним.

Восемнадцать лет назад в такую же вот осеннюю штормовую ночь — во тьме и пурге — капитан траулера не разглядел маячного огня. Траулер налетел на скалы у островка возле берегов Скандинавии. Сели плотно — с полного хода. От удара о камни в машинном отделении появились пробоины. На сигналы бедствия никто не откликнулся. А самим сняться с мели, заделать пробоины, откачать воду не удалось.

За ночь рыбаки так измучились, назяблись и отупели, что понемногу стали уходить в каюты. Засыпали, уже не замечая тягучих ударов судна о камни и изменения крена. Росомаха же до конца боролся с водой. Надежда на спасение дольше других не покидала его. Слишком сильна в нем была жизнь. Даже тяжелая, как ртуть, усталость, которой набрякли руки, только обостряла ощущение жизни в теле.

Когда вода залила трюмные насосы и борьба стала совсем бессмысленной, Росомаха поднялся в ходовую рубку, разбил путевой компас и напился спирта: помирать, так с треском! Потом, отчаянно ругая все на свете, пробрался в каюту поварихи.

Маша лежала, закрывшись с головой, сжавшись в комок. Через треснувшее стекло иллюминатора в каюту залетали брызги.

— Вот и пришел наш час, помираем! — заорал ей в ухо Росомаха. — Эх, ненаглядочка моя! На, глотни спиртяшки, побалуй душу, легче будет.

Она послушно выпила спирта. Ей было страшно, ее трясло.

— Ну, не трясись, не трясись. . . — и грубовато, и как-то в то же время задушевно утешал ее боцман.

Их спасли тогда. И месяц после они прожили с Машей на берегу; и боцман ходил непривычно тихий и трезвый и сам искренне думал, что навсегда переменится. Но подвернулся какой-то интересный рейс, и он ушел опять в моря и больше даже и не вспоминал Марию. Все это случилось много лет назад, еще перед войной.

Войну Росомаха провел в спецкомандах на Дальнем Востоке — плавал на транспортах в Америку. Несмотря на то что работа была опасная и Росомахе пришлось еще раз тонуть, он все-таки пережил меньше многих: у него не было дома, семьи, близких, за которых он мог страдать. Он по-прежнему оставался бродягой.

Как и все члены экипажа, Росомаха получал медали, получил даже орден Красной Звезды. Но когда совсем молодой еще капитан сказал, протягивая награду: «За проявленное мужество и самоотверженность в деле защиты Родины. . . От имени. . . по поручению. . .» — боцман секунду помедлил протягивать руку. Он сам не знал, почему вдруг помедлил подставлять свою заскорузлую ладонь под красную коробочку.

— Пожалуй, я не стою того, капитан, а? — ухмылкой прикрывая неожиданную растерянность, сказал он.

— Что ж, вам полезно иногда подумать так, — сказал капитан. — Но это вы заработали честно.

— Это так. Это правильно, — согласился Росомаха и взял орден.

Спустя два года после войны он вернулся в Мурманск. У него оказалось много денег — рейсы в Америку были выгодными, а тратить деньги раньше не хватало времени.

По возвращении Росомаха собрал в «Арктике» всех старых знакомых, кого встретил на причалах Торгового и Рыбного портов. За неделю спустил все деньги до копейки — и захандрил. В душе Росомахи стала пробиваться усталость. Его все меньше тянуло выпиться в компании таких же, как он, отчаянных голов, все реже хотелось шуметь и скандалить. Водка уже не веселила, чаще заставляла скучать или рождала незнакомое доселе чувство одиночества.

Закрывшись ночью в каюте, Росомаха все хотел понять, что происходит с ним, куда девалось былое озорство и чего же наконец он хочет. Он не догадывался, что это копилась в нем усталость и тоска от бесцельной жизни. Много раз в жизни боцмана трепало и уродовало море. Он никогда не забывал о силе вздыбленной ветром воды: может, и ему суждено когда-нибудь оступиться и ухнуть за борт, или запутаться в стремительно разворачивающемся тресе, или неточно рассчитать путь смайнанного в трюм груза. Но только недавно боцман подумал, что никто на земле не заплачет, узнав об этом. Кореша, конечно, помянут; кореша честно напьются на поминках, но корешей таких — все меньше и меньше. Одни стали штурманами, даже капитанами, другие осели на берегу, зажили семьями, растили детей. . .

Да, времена менялись. И на флоте они менялись круто. И после очередного хулиганского поступка Росомаху уволили из пароходства. Он долго и горько шумел в отделе кадров, доказывал, что лучшего боцмана не найти на всем Мурмане, но все это не помогло.

Только тогда он решил съездить на родину. Походил по замшелым скалам на том беломорском берегу, где родился. На месте былых хибарок теперь стояли цеха

рыбоконсервного завода. Все изменилось вокруг, и только запах протухшей рыбы напоминал прошлое.

Новую работу найти оказалось трудно. Росомаха теперь не хотели брать даже на суда сельдяной экспедиции в Мурмансельди. И только капитан «Колы» Гастев взял его к себе на спасатель, потому что хорошо знал и ценил отчаянную смелость боцмана, его воловью выносливость в работе. А работы на спасателе в северных суровых морях было много. В привычной обстановке моря, которого Росомаха чуть не лишился совсем, в холоде, сырости и тяжелой усталости пропадали ненужные, невеселые мысли. Боцман был благодарен своему капитану и старался не подводить его.

Весной, накануне ухода «Колы» в последнее плавание, Росомаха встретил Марию. Это случилось возле Рейсового причала в Мурманске. Она подошла сама — тихая и незаметная, как прежде. Остановилась за шаг, всплеснула руками и сразу прижала их к груди, позвала одними губами:

— Зосима!

Он не сразу узнал ее, а когда узнал — обрадовался. Все спрашивал про старых знакомых, про то, почему нигде не встречал ее — что, плавать давно бросила?

Мария отмалчивалась. Потом подошел очередной катер.

— Вот и свиделись еще, — сказала Мария. — Я думала, тебя и в живых нет давно.

Она заплакала, медленно отирая со щек слезы рукавом ватника. От проснувшейся вдруг жалости Росомаха тихонько выругался.

— А ты не ругайся, это я так... Ты не думай...

Все уже быльем поросло. . . — Она пошла к сходням на катер, оглянулась, сказала уже спокойно: — Андрюшка у меня, сын. Твой он. От тебя. На побывке сейчас. Хоть — зайти можешь. . . На Мишуковом мысе живу.

Катер с Марией отвалил, а Росомаха так и остался стоять на причале: все не мог постичь то, что услышал.

«Кола» должна была той же ночью сниматься, но Гастев отпустил боцмана вечером на три часа.

С Росомахой творилось что-то странное — он боялся. Он ждал встречи и боялся ее. Так боялся, что бровь стала подергиваться на его лице. И это никогда раньше не бывавшее у него чувство страха и дергающаяся бровь пугали еще больше.

Но сына он не застал дома. Видел только его карточку: здоровенный, широкоплечий парень в пиджаке, с галстуком, стоял у какого-то дворца с колоннами и хмурился. По этой хмурости Росомаха понял: точно, его кровь, и никаких сомнений тут быть не может.

— На доктора учиться, — это было все, что сказала ему об Андрее Мария. А Росомаха не решался спрашивать что-нибудь еще, хотя она держалась ровно, больше не плакала и ничем не попрекала. Мария вела себя так, что чувство страха у Росомахи прошло.

Да и все в тот вечер — белесый и тихий, как бывает в Заполярье поздней весной, — настраивало на грустный, но спокойный лад.

Они сидели на крыльце домика Марии. Почти у самых ног хлюпала слабая волна в обросших водорослями сваях маленького причала. Тренога створного знака, который стоял в скалах за домиком, не освещалась вспышками огня — маяки и створы не работали. Их свет не нужен морякам, если солнце не опускается за гребни сопки. Рваные сети, развешанные вместо огра-

ды, парусили от ветерка; и огненного цвета петух с пышным хвостом кукарекал, запутавшись в сетях.

Мария освободила петуха, подкинула его в воздух:
— Иди домой, петя! Ночь на дворе. . .

Петух захлопал крыльями, закричал победно и глупо. Он все не мог понять, что свет над землей не всегда обозначает день.

Росомаха курил папиросу за папиросой и ждал, что вот-вот сын подойдет. Но протарахтел моторчиком последний рейсовый катер, гулко ткнулся о сваи причала, матрос лениво бросил канат на деревянный пал и зевнул. Через полчаса катер должен был уйти обратно в город и увезти с собой Росомаху, а сын все не появлялся — гулял где-то на танцах с друзьями.

Какой-то офицер спустился с сопки, чавкая сапогами по мокрому мху, поздоровался. Мария заторопилась в дом, вынесла ему узел. Офицер отсчитал деньги.

— Ох! А у меня сдачи нет! — встревожилась Мария сильнее, чем следовало. — Мельче-то не найдете? . . . Рубахи пересинила чуток, вы не гневайтесь. . .

— Не надо! Не надо сдачи, — махнул рукой офицер. — Спасибо вам, мамаша. Через недельку приходите, еще дадим. . .

Он кивнул Росомахе, полез на сопку.

— Хорошие ребята, тихие, — сказала Мария, будто оправдываясь перед Росомахой. Деньги она скомкала, засунула в карман.

— Стираешь? — спросил Росомаха.

Мария не отвечала.

— И деньгами не дорожатся. . . — сказала она, думая о чем-то своем. — По молодости это у них. . . Плавать-то не устал?

— А если и устал? Куда мне без него?

Росомаха выщелкнул окурок по направлению к морю — туда, где за поворотом залива оно дышало туманом на простывшие за долгую зиму берега.

Откашлялась и заняла сирена на катере, сзывая пассажиров, и боцман понял, что так и не успеет дождаться сына. И только тогда, перестав ждать его, он впервые взглянул в лицо самой Марии, легонько тронул ее рукав, посадил рядом.

Она опустила покорно и робко. Росомаха все смотрел ей в лицо, видел его близко — посеревшие, но еще пушистые волосы, жилы, двойной оплеткой протянувшиеся по шее.

— Эх, Маша... — сказал боцман. Он все искал, что бы сказать еще, но в душе его сейчас было так много совсем непривычных и даже непонятных чувств, такая смутная, горькая, но в то же время чем-то приятная боль трогала сердце, что губы у Росомахи задержались, как давеча дергалась бровь.

— Эх, Маша... — повторил он и долго шарил по карманам, искал папиросы, которые лежали рядом на ступеньке.

Мария молчала. Смотрела на дальние сопки.

И хотя боцман понимал, что нельзя просить прощения за все, что по его вине пережила она, однако, перебив спазму в горле напором голоса, а потому грубо и громко, с угрозой договорил:

— Ты прости, слышь? Прости, Мария?!

— Как Андрей скажет, — ответила Мария и отвернулась. — Счастливо плавай... .

Опять заняла сирена на катере. Росомаха встал, и тогда только нашлись слова, которые и могли выразить всю сложность и значительность того, что он пережил сейчас.

— Впервой не хочу в море идти, — сказал боцман. Но ушел.

И как он мог не уйти, если «Кола» вот-вот уже снималась с якорей?

3

Днем шторм набрал полную силу.

Море — мутное и злое — било «Полоцк» под бока тяжелыми, крутыми волнами. От этих ударов где-то в глубинах мертвого судна рождались тягучие стонущие звуки. Звуки, в свою очередь, вызывали у Бадукова, опять стоявшего вахту, нехорошие ощущения. Ему казалось, что каждый раз, когда буксирный трос рвет на себя, «Полоцк» растягивается, хрустит позвонками киля, шевелит ребрами шпангоутов и в результате вот-вот развалится на куски. Мечты — и маленькие и большие — от усталости исчезали. Бадуков снова пытался вызывать их, но в голову приходило только невеселое: Гастев, конечно, никакого отпуска не даст; «Кола» после рейса станет на ремонт, и придется целыми днями шкрябать с ее бортов старую краску. От этой скучной и грязной работы болят глаза и дрожат руки...

Поймав себя на таких мыслях, рулевой встряхивал головой и спрашивал у Росомахи разрешения покурить. Но Росомаха не разрешал:

— На вахте стоишь, а не картошку копаешь...

Бадуков обиженно шевелил посиневшими от ветра губами и, назло боцману, ветру и брызгам, старался вспомнить что-нибудь яркое и радостное. И опять оказывалось, что все самое хорошее и радостное связано с Галкой. Было приятно вспоминать даже незначитель-

ные случаи. Как, например, они однажды вечером шли из клуба после самодеятельного концерта. Сверкали лохматые от мороза звезды. Над застывшей землей висела тишина. Стоило остановиться, не скрипеть валенками, как эта тишина обволакивала все вокруг, и тогда становилось почему-то боязно нарушать ее.

Галка от смущения старалась идти в сторонке от него. Тропинка в сугробе была узкая, и Галка черпала валенками снег и спотыкалась.

— Я сама дойду. У тебя уши отмерзнут, — тихонько просила она и останавливалась. От жгучего мороза першило в горле. А он, дурак, при Галке всегда кепку носил. Вот теперь уши и болят, как только ветром прихватит.

— О чем думаешь? — строго спрашивал рулевого Росомаха.

В эти последние дни плавания боцман, помимо своей воли, по-новому приглядывался к молодым матросам. Внешне он по-прежнему был с ними груб, строг и беспощаден, но то и дело ловил себя на вдруг проснувшемся интересе к людям, которые были почти погодками его сына. Они были одним поколением, выросли в одно и то же время. Понять их — значило подготовиться к встрече с сыном.

Вообще Росомаха не привык делиться с кем-нибудь своими мыслями. Только Гастеву он сказал о Марии. И то сделал это по необходимости. Но теперь, когда до Мурманска оставались уже не недели, а дни, боцману становилось невтерпеж держать все про себя.

— Так о чем ты думаешь, когда на руле стоишь? — повторил вопрос Росомаха.

Бадуков только вздыхал. И переминался с ноги на ногу, когда палуба на миг выравнивалась.

— Штормит сильно, боцман, — оправдывался рулевой. — И штурвал заедает. . .

— Конечно, штормит, а ты чего ждал? . . — глухо говорил боцман. — А я вот все о себе думаю. Все, понимаешь, думаю. И думаю. . . Смотрю на вас — и. . . А у меня вот тоже сын. . . Вас помоложе, а уже доктор. . . Во, а ты говоришь. . .

— Я ничего не говорю, — робко обижался Бадуков.

— Во. . . И жена, может, есть. . . А рука у нее как клешня у краба — замозолилась. . .

— Вам, боцман, отдохнуть пора.

— Дойдем к причалу, там и отдохнем. . . Да не рви, не рви штурвал! Спокойно работай. . .

— Есть. . . Только на доктора теперь шесть лет учиться надо. А говорите — нас моложе. . . Или даже шесть с половиной.

Но Росомаха уже не слушал Бадукова. Он разговаривал опять сам с собой. А под бортом «Полоцка» с грохотом все взрывались и взрывались волны.

На полу капитанской каюты, в которой они устроили себе жилье, безмятежно спал Чепин, хотя при резких кренах его перекатывало от стенки к стенке. Груши ему больше не снились: наверное, устал за четыре часа вахты.

Ванваныч тоже замучился со своей непокорной помпой в третьем трюме, и Росомаха теперь спускался к нему каждые полчаса. Вода в трюмах прибывала, но не так, чтобы это серьезно тревожило боцмана. Судно, по его мнению, держалось великолепно, и никакой опасности им не грозило: до Канина Носа оставалось часов шесть хода.

Берег уже появился с левого борта — неровная черная стена между низкими клубящимися тучами и белой полоской штормового наката.

В сером свете дня особенно неприглядными стали ржавые листы железа на палубе «Полоцка», его полуманские мачты и перекосившаяся дымовая труба, из которой не вылетал даже самый слабый дымок.

Но и шторм, и низкие тучи, и холод, который давно пробрался к самым костям, и тяжелая, резкая качка, и неполадки с помпой, и заедающий штурвал — все это было так привычно и обыденно, столько раз в жизни по-разному испытано, что, исполняя положенные обязанности, Росомаха не утруждал своего внимания. Чутье, рожденное опытом, подсказывало ему, когда, что и как надо делать. Голова же боцмана была свободна, и мысли о самом себе, о той новой жизни, которую он обязательно начнет теперь по возвращении в Мурманск, одна за другой приходили к нему.

И по тому, как окликнула его Мария на причале, как прижала руки к груди, и по тому, как покойно и тихо стало той ночью, когда он сидел рядом с ней на крыльце, слушал плесканье воды в сваях, и по многим другим, самому ему непонятным вещам — Росомаха чувствовал, что она простит или уже простила. Он понимал, что она сразу угадала его теперешнюю неприкаянность, одиночество и пожалела его, но не мог не удивиться ее силе. Как можно после стольких лет, прожитых в горе и труде, прожитых так тяжело по его, Росомахи, вине, не проклинать, не ругать, не кричать, не ненавидеть?

Покорность судьбе, бесшумность и незаметность Марии никак не вязались с тем мужеством и верой, которые нужны, чтобы родить сына, поднять его в темные

годы войны. И ни разу даже не попробовать разыскать его, Росомаху, сказать, потребовать помощи! «Рубахи пересинила, вы не гневайтесь...» Когда боцман вспоминал эти слова, ребра на левой стороне груди начинали ныть, будто в драке хватили по ним пивной бутылкой. Росомаха потирал бок сквозь мокрый брезент плаща. Брезент топорщился под ладонью.

«Эх, Маша, Маша, — мысленно все повторял боцман и пожимал плечами. — И чего ты тогда нашла во мне? Эх, Маша, Маша...»

Разрушенные бомбой надстройки «Полоцка» качались перед ним, по развороченной палубе стекали в проломы фальшборта потоки кипящей воды.

И в тот момент, когда привычному глазу боцмана вдруг показалось, что ветер чересчур быстро стал менять направление, а волны пошли не с того курсового угла, над «Колой» поднялась очередная ракета. Бадукков крикнул:

— Боцман, они ход прибавили! Что они там, с ума походили?!

— Похоже, и курс меняют, — настраивая рацию, проворчал Росомаха.

4

Когда в штормовом море гибнут люди, их нельзя спасти без риска погибнуть самому.

Каждый раз, когда капитан «Колы» Гастев вел свое спасательное судно навстречу шторму на помощь гибнущим людям, ему приходилось в той или иной степени рисковать и своим кораблем и своим экипажем. И он привык к этому. Море есть море.

Трудное дело — быть капитаном аварийно-спасательного судна. Море и ветер отпускают на раздумье секунды. Нужно уметь верить в себя и своих людей — это главное. И не бояться ни бога, ни черта. И знать морскую службу. И иметь за плечами такую биографию, которая дает моральное право на любой приказ подчиненным.

У Гастева было все, включая и биографию. Военный моряк, подводник в прошлом, он столько раз в своей жизни смотрел смерти в глаза, что даже перестал при этом жмуриться. Да и некогда мигать и жмуриться, если перископ выныривает из воды на одну-две секунды, а оглядеть надо и небо, и море, и горизонт. А тут вдруг еще увидишь орудийное дуло и бурун под носом эсминца, который летит прямо на тебя со скоростью в тридцать узлов.

Однажды на Балтике, уже в конце войны, он всплыл вот так, под перископ, внутри немецкого каравана, успел увидеть все, что нужно, успел атаковать торпедами здоровенный транспорт, но не успел уйти от тарана эсминца охранения — от того самого проклятого буруна под острым форштевнем. Лодка упала на грунт. Ее забросали глубинными бомбами, но не добились до конца.

Двое суток лежали на грунте и ремонтировались. Забортная соленая вода попала в аккумуляторные ямы. В отсеки стал просачиваться хлор. Тогда и закончилась подводная карьера Гастева. Даже в обычной каютной духоте надводного корабля он часто бледнел и рвал ворот рубахи — задыхался.

После демобилизации сам пошел третьим помощником на спасатель. Выплавал диплом капитана дальнего плавания. С тех пор — уже около десяти лет — коман-

давал «Колой». Десять лет штормов, срочных погрузок, аварийных тревог, оборванных буксиров, докладных записок на списание погибшего имущества, разбитых в щепки вельботов и мотопомп, которые всегда приводят в самый ответственный момент. . .

Когда Гастев прочитал короткие строчки радиogramмы, подписанной капитаном лесовоза «Одесса», в одной руке оказалась судьба четверых из команды «Колы», в другой — судьба тридцати восьми человек, которых он никогда не видел.

Но Гастев был капитан-спасатель. Любой попавший в беду немедленно должен был стать для него дорожкой и важнее, нежели самые близкие и родные люди, — это и было особенностью его работы, его долгом.

Тридцать восемь человеческих жизней вместе со своим лесовозом через три часа разобьются на каменных кошках недалеко от мыса Канин Нос. Никто, кроме «Колы», не может поспеть туда за это время. Но, чтобы успеть, «Колу» необходимо вдвое увеличить число оборотов.

Осенний свирепый норд-вест тащит «Одессу» на скалы, и нет времени, чтобы постепенно увеличить скорость. За кормой «Колы» на буксире «Полоцк». Резкое увеличение хода — сильная нагрузка на трос. Трос может лопнуть, но. . . Но времени нет. И все равно, ведя на буксире «Полоцк», «Одессе» не поможешь. «Колой» связана в маневре полукилометром стального троса и двумя тысячами тонн ржавого железа. С таким шлейфом нечего и думать подойти к «Одессе».

И в ту же минуту, как Гастев прочел радиogramму, он приказал увеличить ход. Он не запрашивал мнение Росомахи, потому что не сомневался в своем боцмане. Тот должен был понять, что на выборку буксирного

троса, на спуск вельбота и попытки снять с «Полоцка» людей пришлось бы потратить два из тех трех часов, которые все, до последней минуты, требовались, чтобы успеть к мысу Канин Нос до того, как аварийное судно разобьется на кошках.

Старший помощник Гастева толкнул рукоятку машинного телеграфа. В машинном отделении звякнул звонок.

«Кола» рванулась вперед.

Волна навалилась на ее правую скулу, наискось перехлестнула через полубак. На какой-то миг свет в рубке позеленел, — брызги покрыли стекла сплошным потоком воды.

Рулевой не удержал штурвал, поскользнулся и съехал по мокрому линолеуму к дверям рубки. Крен был большой, градусов сорок.

— Стойте на ногах! — крикнул Гастев. Изрытое оспой лицо капитана покрыли морщины.

— Есть! — ответил рулевой и, цепляясь за подоконные ремни, пошел обратно к штурвалу.

— Буксирный трос на таком ходу выдержит не больше часа! — Старший помощник сдвинул папиросу в самый угол рта и ощерился.

— Нет, — ответил Гастев. — Нет. Не выдержит часа. Минут сорок. Это максимум. У вас есть другие предложения?

Старпом не ответил. Новая волна поднималась с правого борта, и надо было готовиться встретить ее. Он уцепился за поручень и подогнул ноги.

Волна ударила. «Кола» вздрогнула, повалилась на левый борт. Рулевой тяжело выругался. Волна схлынула, судно выпрямилось, и все почувствовали еще один слабый толчок.

— Буксир надраивается! — крикнул старпом.
Гастев молчал.

— Сейчас волна дойдет до «Полоцка», — сказал рулевой. Его лицо напряглось, глаза сузились. Колесо штурвала вращалось медленно, настороженно. Пощелкивали контакты контролера. Наконец «Кола» вздрогнула и присела на корму, как осаженная на полном ходу лошадь. От толчка Гастев ударился козырьком фуражки в стекло окна.

— Дошла! — крикнул рулевой и быстро завертел штурвал.

Буксир выдержал.

— Старпом! — приказал капитан. — Передайте на «Одессу»: идем к ним. Дайте наши координаты. Наш ход до семи узлов. И вызовите на связь Росомаху. Я буду говорить с ним. Сам.

Старпом, цепляясь за все, что попадалось на пути, выбрался на крыло рубки и посмотрел на корму.

В трехстах метрах позади кормы в облаке водяной пыли моталась на буксире темная махина «Полоцка». Буксирный трос то надраивался, весь показываясь из воды, то опадал и, провиснув, скрывался в волнах. Когда он надраивался, то вспарывал воду, ветер обдувал брызги, и казалось — на тросе полощут серое тряпье.

Старший помощник сплюнул вязкую слюну, положил тяжелый сигнальный пистолет «Вери» на выступ прожектора и выстрелил, вызывая на связь Росомаху. От момента получения Гастевым радиограммы до этого выстрела прошло около трех минут.

— По тому, как далеко снесло ракету — она разорвалась где-то под берегом, — становилась еще заметней сила ветра на высоте. . .

Гастев спустился в радиорубку. Радист вскочил с кресла и уступил место капитану.

— Дайте «Полоцк», — сказал Гастев, опускаясь на гнутую ручку кресла, и взял наушники. Они были теплые — нагрелись на голове радиста. Капитан посмотрел на свои руки. Указательный палец левой руки чуть заметно вздрагивал. Это не понравилось Гастеву. Он положил руки на стол, растопырив короткие в веснушках пальцы.

— Так, — сказал Гастев в микрофон, услышав голос Росомахи. — Слышу вас хорошо, Зосима Семенович. Очень хорошо слышу тебя, боцман.

Радист подсунул капитану чистый бланк для радиограммы. Он думал, что капитану надо будет что-нибудь записать, но Гастев отодвинул бумагу. Он любил бумагу и писание еще меньше, чем разговоры.

— Да, я немного изменил курс и прибавил ход. Работаю сейчас полным ходом, Зосима, и ваше дело, пожалуй. . . табак, — медленно говорил Гастев, сползая с ручки кресла на сиденье. Усевшись наконец плотно, он снял фуражку. — Ты все слышишь, Зосима Семенович? . . . Так вот, лесовоз «Одесса». Тридцать восемь человек. Скоро будут на кошках у Канина. Ни одного судна, кроме нас, сейчас в Баренцевом море нет. Ты все понял? Какие у тебя соображения? Прием.

Рация молчала. Гастев смотрел на никелированный ободок микрофона и видел в нем свое лицо — длинное изуродованное. Время тянулось, как тянется по палубе мокрый трос, цепляясь за каждую трещинку в досках. Такая пауза удивила Гастева. Он даже пожал плечами. Он верил в то, что Росомаха не станет в этой ситуации терять зря время.

— Как поняли меня? Как поняли меня? — наконец опять спросил Гастев, обеими руками раздергивая ворот ватника и бледнея. — Ты слышишь, боцман?

— Слышу.

— Это не боцмана голос, товарищ капитан, — сказал радист.

— Кто на связи? — крикнул Гастев.

— Я на связи. Я, Росомаха.

— Какого черта молчишь тогда? — хрипло сказал Гастев, разматывая с шеи шарф.

— А чего говорить? Если буксирный трос лопнет. . . Если вы перестанете держать нас носом на волну. . . эта ржавая банка долго не продержится. . .

Росомаха говорил то, что и сам Гастев знал достаточно хорошо. Зачем говорить о том, что и так понятно? Конечно, переплет тяжелый. И шансов на спасение у четверки с «Полоцка» маловато, но на то они и моряки-спасатели, чтобы не распускать нюни и драться до конца. И уж Росомаха-то должен понимать это лучше других.

— Если «Полоцк» начнет брать воду бортом, мы вместе с ним пойдем на грунт, — необычайно тихим голосом продолжал боцман. — Если же «Полоцк» продержится пару часов, нас швырнет на рифы под берегом и мы тоже отправимся на грунт. А там холодно, капитан. . . — И стало слышно, как неуверенно засмеялся Росомаха.

Раньше Гастев только удивлялся и не понимал. Теперь его рассердил смех боцмана.

Но то, что Гастев рассердился, и помогло ему. Он отдал тяжелый приказ. Делать это было нелегко. А сейчас, когда родилось раздражение, Гастев мог с меньшим трудом для себя быть беспощадным. Он как бы стано-

вился беспощадным к растерянности и бравате людей, а не к ним самим.

— Росомаха, вы — спасатель! — сжимая кулаки, процедил Гастев. — И вы добровольно согласились идти сквозь шторм и сами отказались от захода в порт-убежище, а теперь... У меня нет ни времени, ни возможности снять вас. На это нужны часы. «Одесса» вылетит на кошки у Канина, если вы не отдадите буксир и не освободите «Колу». А ты знаешь, что такое Канин в такую погоду? Я спрашиваю, ты понимаешь все это?

— Да не хуже вас понимаю, — грубо, но тихо ответил Росомаха. — А мы здесь рыжие, что ли?

— Так, — сказал Гастев жестко. — Во-первых, немедленно информируйте обо всем ваших людей. Во-вторых, запомните, какие-то шансы у вас есть. Судно пустое, легкое... Если удачно заклинит в скалах, продержитесь до нашего возвращения. Или погода стихнет...

— Я закрываю связь, — монотонно пробормотал Росомаха.

— Ему ребят жалко, — сказал радист, принимая у капитана наушники. — Самому Зосиме сам черт не брат...

— Нет. Здесь не то... — сказал Гастев и вытер с лица пот. — Но ни черта другого не придумаешь... Он поднялся в ходовую рубку.

«Кола» рвалась с волны на волну. Тягостные рывки сотрясали ее тяжелый корпус. Во всех отсеках судна стояла тишина. Тишина оттого, что люди молчали. Они слушали эти рывки и ждали, когда они прекратятся. И боялись этого. И знали, что рано или поздно буксир лопнет. Рано или поздно рывки прекратятся.

В рубке тишина стояла особенно гнетущая.

— Я Чепина канадку надел! — громко сказал рулевой. — Чепину девушка канадку подарила! На Диксоне! А как он теперь. . .

— Замените рулевого! — приказал Гастев.

— Он только заступил. . . Люди устали. . . — заикнулся старпом.

— Замените рулевого! — заорал Гастев.

Рулевого сменили.

Капитан «Колы» знал Росомаху давно. Он взял его к себе на судно, потому что не сомневался в этом старом морском волке, — такой не подведет, если вдруг придется туго. Он всегда посылал боцмана в самое пекло и ни разу не ошибся в нем. Сейчас он уверенно рассчитывал: Зосима все поймет сразу, Зосима не будет много разговаривать и возьмет часть тяжести решения на себя. Ведь других-то путей нет? Нет! Поэтому он и увеличил ход. . . Гастев помнил, как упорно боцман не хотел, чтобы «Кола» задерживалась для буксировки «Полоцка», как просил разрешения покинуть судно и уйти с оказией в Мурманск. Конечно, умереть, не повидав сына, дело невеселое. Но море есть море. И нельзя нарушать морские законы.

В рубку просунулся радист:

— Товарищ капитан! С «Одессы» уже видят отблески Канинского маяка! Они просят вас еще увеличить ход. . . От бортовой качки у них вышел из строя первый котел. . . Вода куда-то там не подается. Не разобрать никак — куда. . .

— Они просят! — негромко сказал Гастев. — Передайте, что я связан буксировкой. И не могу снять людей с «Полоцка». И не могу больше прибавить ход. Пусть травят якорь-цепи до жвака-галса и ждут. Идите!

... Да, Росомаха не хуже Гастева знал, что такое Каин Нос в такую погоду, в девятибалльный норд-вестовый ветер: приземистые шиферные утесы, сиротливые строения маячного домика и красная башня самого маяка; плоские каменные кошки в трех милях от мыса и буруны на них — разможенные камнями волны, взлетающие косо и стремительно. Плохо придется этим тридцати восьми.

А может, есть у них еще надежда — якоря? Но сколько выдержат якоря на скальном грунте, когда судно бьют волны, взявшие разбег еще где-то на другой стороне океана?

Эх, Мария, Мария... И кто она ему по закону? И кто он ей? Никто. Черта с два получит она за него пенсию! Сын... Хоть бы разок повидать его, ощупать плечи, пожать руку...

Но прав и капитан: нехорошо он, боцман, смеялся... «Если вы не отдадите буксир...» Веселенькое дельце!

— Что «Кола» говорила? — кричал Бадукوف, захлебываясь ветром. — Пускай скорее ход сбавляют! Боцман! Боцман! Что они там говорят?

— Ну, прибавили ход и прибавили! Чего вопишь? — отмахнулся Росомаха от рулевого. Почему-то боцману не хотелось сразу информировать матросов. Он прекрасно понял и помнил приказ капитана, но решил, что просто не следует раньше времени тревожить молодежь. Зачем это? Нет. Не надо... И очень хорошо, что море так расшумелось: себя плохо слышишь — не то что рацию. Но Бадукوف смотрел тяжелым, недоверчивым взглядом. И Росомаха поторопился уйти из надстройки в обход по судну. Однако, прежде чем уйти, он вынул из рации предохранитель и сунул за щеку. Так было спокойнее.

Короткий день уже кончался. Влажная муть, которая поднималась над штормовым морем, быстро сгустилась. Берег скрылся за нею, и ничего не стало видно вокруг. Только два корабля, связанные между собой тросом, качались на волнах и пробивали их, откидывая от бортов живую тяжесть валов.

Росомаха спустился вниз и замерил уровень воды в трюмах. Он делал это неторопливо и тщательно. Ванваныч спросил, почему, ангидрид их перекись марганца, усилились так рывки. Боцман и ему ничего не стал объяснять.

— И поужинать пора бы, — сказал Ванваныч. Сказал это только для того, чтобы показать, какой он лихой моряк и как не действует на него качка.

— Успеем поужинать, — ответил Росомаха и полез в машинное отделение проверять распорки у того места где когда-то разорвалась бомба. Потом поднялся на палубу и долго лежал под срезом полубака, наблюдая за буксирным тросом.

Полубак так же взлетал к небесам и рушился вниз, покрываясь бурлящей пеной, как и сорок лет назад, когда Росомаха впервые попал в море и прокусил шведскому капитану ляжку. Все повторяется в жизни, все течет. . . Но совсем другой человек, другой капитан сегодня ждал от него, простого боцмана, помощи и совета. А он? Он поступил не так, как требовалось всегда поступать в море. Ну и что? С каждым бывает. . . И вот он лежит под срезом полубака, смотрит на буксирный трос и не хочет, чтобы этот трос лопнул.

Боцман решил, что трос даже на таком ходу выдержит не меньше часа. Недаром он из месяца в месяц заставлял матросов прочищать и смазывать трос мазью, собственноручно приготовленной из тавота и графита.

Ни одной ржавой проволоочки нельзя найти в сотнях метров буксирного троса. . .

Росомаха вернулся в кормовую надстройку совсем мокрый и оглохший от грохота, с которым волны разбивались о высокий нос «Полоцка».

Все еще не так плохо. Если трос продержится до того момента, пока лесовоз вылетит на камни; если поздно станет спешить к тем тридцати восьми, — «Кола» сбавит ход, и через несколько деньков отец сядет за один стол с сыном. А сама отдать трос с гака «Кола» не сможет, без троса с «Одессой» на такой волне ничего не сделаешь. . . Да, пожалуй, он устал уже от всего этого моря. Ей-богу, устал. Привычка, конечно, сильная: к морю тянет. Но надо знать и предел. . . Если бы прошлой ночью он сказал Гастеву одно только словечко, то сейчас они стояли бы в Бугрино и все было бы тихо и мирно. Но он торопился. Торопился первый раз в своей жизни к земле, к бетону причала, к маленькому домику возле створного знака, и вот из-за этого попал в такую передрагу, из которой. . .

— А все-таки что случилось, боцман? — опять крикнул Бадуков, как только Росомаха залез на свою бочку в надстройке. Лицо Бадукова осунулось, глаза запали. Он низко сгибался над штурвалом, а временами совсем повисал на нем — удерживать «Полоцк» против волны становилось все тяжелее.

Боцман молчал. Скажи им правду, и эти щенки, как только услышат про «Одессу», всей сворой побегут на полубак рвать буксир. Вот почему ему и не хотелось тревожить их раньше времени, вот почему он снял предохранитель с приемника. Их не уговоришь, не остановишь. . . Им бы только дорваться до возможности сломать себе шею. Он-то это знает — недаром пригляды-

вался к ним этот последний раз... Молодые герои — спасатели! А хватило бы у них духу в одиночку удрать с корабля, ночью прыгнуть за борт и плыть в сплошных чернилах — без звезд и без луны — десяток миль до чужого, незнакомого берега, как сделал это однажды он? Подожди, подожди, Зосима Семеныч... Подожди-ка...

Росомаха вцепился в раму окна, прижал лицо к мокрому стеклу. Где-то там, во тьме и снежном тумане, скоро погибнут свои ребята. Что тогда скажет Андрей?

Тридцати восьми моряков на «Одессе» не было видно и слышно Росوماхе. Даже писка их морзянки, который давал людям «Колы» уверенность в реальности этих тридцати восьми, приближал и делал понятной их беду, боцман не мог слышать, сидя на своей бочке изпод капусты в кормовой надстройке «Полоцка».

Но раньше Росوماха как раз и не желал его слышать, не желал представлять этих тридцать восемь живыми и теплыми людьми, не хотел знать их кока, капитана или боцмана. А тут вдруг подумал, что боцман с «Одессы» вернее всего такой же рыжий, как он сам. Боцманá чаще всего почему-то рыжие. Их боцман, наверное, сейчас так же лазает по своему лесовозу и щупает борта, и готовит помпы и пластырь, и проверяет крепления для буксирного троса...

Быть может, они не раз встречались с ним где-нибудь на пирсах Новороссийска или Корсакова, а может, когда-нибудь и хватили друг друга по уху. Все может быть в жизни. Все может быть в море. «Боцман у них — хороший мужик!» — неожиданно решил Росوماха, и от этой мысли вдруг что-то прояснилось в нем.

— Паря! — крикнул Росوماха Бадукову, вынимая предохранитель изо рта. — У Каина ребята гибнут!

Одесситы!.. Тридцать восемь штук!.. К ним Гастев и торопится. Понял? Вот так... Боцман у них рыжий, как я... Я его, тресочью душу, давно знаю!

— Что?

— Рыжий, говорю, у них боцман, понял?

— Рыжий? А если буксирный трос лопнет, а? — Мечты и воспоминания сразу вылетели из головы Бадукова.

— Все может быть... — ответил Росомаха.

— Ребят надо предупредить, боцман!

Росомаха помрачнел.

— Сам знаю, что надо... А ты устал? Вниз хочется сползать? Ну, иди вниз, покури.

Боцман легонько подтолкнул рулевого к дверям и сам стал к штурвалу. Эх, молодо-зелено: даже не соображает, что «Кола», пока она тянет на хвосте две тысячи тонн стали, никому помочь не сможет...

«Полоцк» не хотел слушаться руля и рыскал с волны на волну, как очумелый.

— Подожди, шкура, не на того напал! — с угрозой процедил боцман. Он отпустил рукоятки и с полминуты стоял сторонним наблюдателем, не касаясь штурвала. «Полоцк» все дальше и дальше уходил с кильватера, пока страшный рывок буксирного троса не заставил его остановиться. Только тогда, дав судну отыгаться, Росомаха завертел штурвал и ни на йоту не разрешил «Полоцку» перейти кильватер в другую сторону. Это был опасный прием — буксирный трос и так работал с предельной нагрузкой. Но ощущение, которое возникает, когда своими руками дерешься с морем, через рукоятки штурвала чувствуя каждый вздох волны, властно пробудилось в Росомахе, как только руки легли на эти рукоятки, а все другое забылось.

— Ванваныча укачало! — доложил Бадуков, вернувшись и принимая от боцмана штурвал. — Вонница в трюме бензиновая. Вот он и того.

Росомаха не ответил: нос «Полоцка» так высоко взлетел на очередной волне, что закрыл и «Колу» и все море впереди. Боцман сжал челюсти до скрежета в зубах: если рванет сейчас трос, то лопнет наверняка!

Но «Полоцк» перевалил волну.

На миг Росомаха увидел «Колу», бурун за ее широкой кормой, сбитый набекрень клуб дыма у трубы. Потом «Кола» провалилась за гребень следующей волны и опять скрылась из глаз...

По сравнительной мягкости, с которой «Полоцк» перевалил громадную гору воды, по размеру буруна от винтов за кормой «Колы» Росомахе почудилось, что «Кола» сбавила ход. Рывки тоже стали легче, а буксирный трос почти не выказывался из воды... Сбавили. Что у них там? Может, уже все закончилось? Есть ли на лесовозе палубный груз? На лесовозах часто берут лес в караван на палубу — в штабеля. От удара о камни, от сотрясения сперва полетят, смахивая все на своем пути, лесовины каравана...

Если с одесситами все кончилось, сторож с Канинского маяка на много лет не будет знать забот о дровах и строевом лесе. Горы разлохмаченных в прибое досок и бревен наворотит море в скалах под берегом...

Росомаха полез в ящик радики. «Кола» не вызвала на связь, но он хотел знать, почему она сбавила ход и что случилось с теми тридцатью восьмью и их рыжим боцманом. Он поставил обратно предохранитель и запустил радию.

С трудом отпихнув размокшую дверь, в кормовую

надстройку пролез Ванваныч. Лицо его от качки осунулось, слипшиеся от соляра волосы свисали на глаза.

— Магнето у меня, Зосима Семенович, у второй помпы... Заменить надо, а я его забыл... Виноват я: стала помпа... Вот не знаю теперь, что и делать...

— Что? Что? — переспросил боцман сердито. Сейчас ему было мало дела до всех помп Ванваныча, вместе взятых.

Моторист махнул рукой, потом обтер лицо ветошью и опять выбрался из рубки. Ему казалось, что боцман разозлился на него, что от этой помпы зависит судьба их всех — и Лешки Будакова и Мишки Чепина...

Ванваныч спустился к помпам и опять начал копать в моторе. Время от времени его тошнило. Гаечные ключи, инструмент на резких кренах отползали от него. Свет электрического фонарика слабел и краснел — батарея была на исходе. Тьма все ближе подступала к Ванванычу, черная жижа неуклонно поднималась из глубины трюма. Но моторист старался не обращать внимания на все это. Он должен был починить помпу. Должен. Ведь он спасатель и сам вызвался сопровождать «Полоцк» в последний путь через штормовое море.

Росомахе не показалось, что «Кола» сбавила ход. Гастев действительно сделал это. Если Росомаха подвел и «Кола» все равно не успеет отвести «Полоцк» куда-нибудь в безопасное место, а потом вернуться к «Одессе», то ни к чему искушать судьбу, форсируя ход и рискуя оборвать буксирный трос.

Капитан-спасатель без согласия своих людей не может рисковать ими. А решить самому за них у Гастева

не хватало духа, потому что капитан «Одессы» от имени своей команды на общей волне — «Всем, всем, всем!» — объявил, что отказывается от помощи спасательного судна «Кола». Он отказывается из-за того, что «Кола» связана буксировкой и не может оказать ему помощь, не рискуя своими людьми. Они были мужественными ребятами — эти тридцать восемь человек с лесовоза «Одесса» и их капитан. Давая такую радиограмму на общей волне, капитан «Одессы» снимал с Гастева всякую ответственность. Все приняли радиограмму. Ее записали в десятки журналов радиосвязи разных портов, в десятки вахтенных журналов далеких кораблей.

Юридически Гастев был чист. Он сбавил ход, проклиная тот день и час, когда взял к себе на судно Росомаху, когда согласился буксировать «Полоцк».

Теперь на лесовозе готовились к последнему и дрейфовали, стравив якорь-цепи до жвака-галсов; ждали, когда якоря коснутся грунта...

Гастев больше не спускался в радиорубку, чтобы разговаривать с Росомахой самому. На вызов боцмана ответил радист.

— Они дали отказ на общей волне! — кричал радист. — А как у вас? Доложите уровень воды во втором трюме! Давай, давай сводку, товарищ Росомаха! Сводку...

Росомаха выключил рацию и пихнул ее сапогом.

Бадуков много раз в своей жизни слышал, как ругаются иногда люди, тем более боцмана, но то, как ругался сейчас Росомаха, напугало его. Он понял: надвигается что-то страшное.

Росомаха выбрался из надстройки. Ему душно стало там.

Он поднялся на самое высокое место «Полоцка» —

разрушенное крыло ходовой рубки — и навалился всей тяжестью своего промерзшего тела на ржавый металл поручней.

Впереди — над волнами — то появлялись, то пропадали мачты «Колы», крестили все вокруг торопливыми взмахами рей. Буксирный трос кромсал волны. Брызги фонтанами вздымались над форштевнем.

Оскальзываясь и зажимая глаза рукой, медленно забрался к боцману Ванваныч.

— Работает! Работает! Наладил! — крикнул он в ухо боцману. — Помпа второго трюма вошла в строй, товарищ боцман!

— Черт с ней! Иди разбуди Чепина и вместе с ним приходи в надстройку. На лесовозе отказались от помощи. . . — Боцман говорил тихо, ветер и грохот моря заглушал его слова. Ванваныч опять не понял, о чем говорит боцман.

Моторист все не уходил с мостика. Ему хотелось, чтобы Росомаха похвалил его: ведь он все же наладил эту упрямую помпу во втором трюме.

— Вася! — крикнул Росомаха и обнял Ванваныча за плечи. — Сыпь вниз, подними Чепина. . . И посоветуйтесь между собой. . . «Одесса» от помощи отказалась! Из-за нас! Буксир надо рубить. Понял? Буксир! Как решите, так и делать будем. . . И скажи Будакову: пусть отличительные огни зажжет.

Моторист молча кивнул и стал торопливо спускаться.

Боцман наконец остался один. Он хотел закурить, но спичечный коробок намок. Тогда Росомаха вытащил из-под подкладки неприкосновенный запас огня — щепотку спичек, засунутую в соску. Прикурил и затянулся так глубоко, что почувствовал ломоту в груди.

Он не сомневался, что решат сейчас эти ребята. Раз-

ве Андрей мог решить как-нибудь иначе? Но не близость развязки мучила теперь. Он ясно представлял себе маленькую фигурку капитана Гастева в углу рубки на «Коле». . . Как он презирает сейчас его, боцмана Зосиму. И за дело. А ребята с «Одессы»? Что они думают о нем? Плохо он завязывает свой последний узел. . .

Внизу — метрах в десяти — то разбивались о «Полоцк», то, горбатясь, ныряли под борта шипучие волны. Росомаха не привык стоять так высоко над ними. Это капитаны и штурмана привыкают стоять высоко над морем, на ходовом мостике, а боцман всегда остается совсем рядом с ним — рукой достанешь. Боцман — палубный служака, ему ни к чему наверх лазить.

. . . Море может топить корабли, рушить причалы, убивать людей. Это оно делало всегда. Делает и сейчас, но это все — чепуха, мелочь. Страшно и обидно, когда море, океан смущают людям душу. Вот он сам вызвался идти на этой дырявой лоханке сквозь шторм, а потом. . . Будет ли ему прощение? Если успеет «Кола», то, может, и простят. . . А если не успеет?

«Кола» включила прожектор. Голубой слепящий луч просверлил дыру в сумерках и ударил Росомаху по глазам, уперся в них — точно заглядывал под мокрые рыжие брови, выпытывая и угрожая. От изуродованных надстроек «Полоцка» металась по палубам синие тени. Росомаха прикрыл глаза рукавом.

Минуты шли. Каждая из них ложилась на сердце и рвала его. Так тяжело опускается на дно моря якорь и рвет лапами грунт. Нельзя было терять этих минут. Но Росомаха все еще медлил.

Он стоял у поручней, не замечая ветра и брызг, холода и боли в ободранной щеке. Папироса замочла и погасла. Он швырнул ее в голубой свет, который один

сохранял неподвижность и спокойствие в грохочущем мире воды и ветра.

«Нет! И так и так не простят... Ну что ж...»

И боцман стал спускаться вниз, одной рукой отмахивая голубому лучу: не надо! не надо!

Но луч продолжал гореть, то затуманиваясь снегом, то светлея. Он пронизывал воду на верхушках валов, а полубак «Полоцка» был виден с такой ясностью, что даже струбины, крепящие буксирный трос, возможно было пересчитать отсюда — издали.

Боцман прошел по зыбучей палубе, ни разу не качнувшись. При каждом шаге он чувствовал упругую силу, с которой ноги цеплялись за скользкие доски. В этом были все сорок лет его моряцкой жизни. Он почувствовал вдруг вновь ее, эту силу. И забытое в последние годы мятежное озорство и веселье отчаянности, с которым восемнадцать лет назад зачал сына, опять пробудились в нем.

— Кончай ночевать, братки! — заорал Росомаха, протискиваясь в надстройку. — Почему отличительные огни не зажгли? Я сказал: огни зажгите! А вы и не зажгли! Эх вы! С иллюминацией-то веселей, а?

Не понимая неожиданного оживления боцмана, невольно заражаясь им, Ванваныч весело и звонко доложил:

— В огнях керосин выгорел! А бензин заливать я не дал! Взорваться может!..

— Туда им и дорога — пускай взрываются! Ну, что решили, ребята?

Сонный Чепин стоял возле дверей, широко расставив ноги, и ухмылялся своим белозубым ртом, глядя на растерянную физиономию Бадукова, на его

длинную, нескладную фигуру. Очевидно, один только Бадуков был сейчас с чем-то не до конца согласен.

— Консилиум состоялся, — сказал Чепин Росомахе, поправляя на груди полотнище сигнального флага, который он наматал под ватник для тепла. — Формация у одесситов, судя по всему, хреновая... Буксирчик рубить надо, боцман!

— Каждый говорит за себя! — крикнул Росомаха. — Моторист!

— Надо — так надо. Чего с помпами делать? — спросил Ванваныч, подпоясывая полушубок обрывком каболки.

— Обожди с помпами! Бадуков?

Бадуков все глотал и глотал и никак не мог проглотить слюну. Росомаха почему-то вдруг вспомнил, что Бадуков копит цветные вырезки из «Огонька» и высушенные морские звезды.

— Они сами отказались от помощи! — сказал Ванваныч, заглядывая Бадукову в лицо. — А у нас есть надежды — судно пустое, легкое...

— Может удачно на берег выкинуть, если глинистая обсушка или еще что... — весело сказал Чепин и поднял сжатый кулак к своим глазам, провел им по бровям, отжимая из них воду.

— Нет больше времени думать, — тихо сказал боцман. — Я все возможное время продумал...

— А я что? Я — ничего! Как все! Эх, и зашумим мы вниз головой, ребятишки! — пробормотал Бадуков. Он вывел «Полоцк» в строгий, точный кильватер «Колы» и бросил штурвал.

— Голосование закончено, капитан Росомаха! — сказал Чепин.

— Эх! — заорал Росомаха, сорвал с головы шапку, швырнул ее под ноги Чепину. — Эх, а белая чайка замашет крылами! А кто-то другой в непогоду уйдет!

Он всегда пьянел от нетерпения испытать судьбу и себя, если уж решался на что-нибудь всерьез. И сейчас вдруг ощутил потребность кричать громче, чем это нужно было, скалить зубы в лихой усмешке и материться с тем разворотом ругани, когда она звучит как клич.

— Ты где выпил? — невозмутимо спросил Чепин. — Для меня там не осталось?

— Сейчас напьемся вволю! — сказал Росомаха и поднял руку. — Всем надеть жилеты! Надувать жилеты не самим, а друг другу. Сперва только поддуть, а будем возле берега — скажу — надуваться до конца. Чепин! В машинное отделение: проверить распорки! Васька! К помпам — пока не разрешу покинуть нижние помещения! Бадуков! Включай рацию и песни пой! Ну?!

5

Радист съехал в ходовую рубку, задом считая ступеньки трапа.

— Капитан! Они рубят буксир! Они больше не отвечают, товарищ капитан!

Гастев стоял, вжав локти в углы оконной рамы. Он не оглянулся. Все эти минуты он не терял надежды, что все будет так.

Он был рад, что не ошибся в своих людях...

— Старпом! Проследите, чтоб трос не попал нам в винт! — крикнул Гастев, по-прежнему не оборачиваясь.

— Они не отвечают... — пробормотал радист. — Я вызываю — они не отвечают.

— Передай на «Одессу» — идем к ним. Будем через час. Через один час, — приказал Гастев и включил снегоочиститель. Сквозь круг вращающегося стекла в снегоочистителе ему чудились слабые отблески взлетающих где-то у горизонта красных ракет и вспышки маяка на мысе Канин Нос.

— Есть! — ответил радист.

6

Росомаха рубил буксирный трос обыкновенным пожарным топором. Рубить было трудно. Трудно рубить сталь, когда надо еще за что-то держаться на взлетающем к черному небу полубаке.

Наконец из-под топора сыпанули искры: лопнула первая прядь. Свистящий круг понесся по тросу к острому огоньку спереди — гакобортному «Колы». Прядь раскручивалась. Больше можно было не мучиться. Росомаха швырнул топор за борт. Взметнулась над боцманом волна, ударила его в грудь.

— Выкуси! — отплеываясь, захрипел боцман волне. — На-ка, выкуси!

Трос надраивался. Росомаха знал, что трос надраивается в последний раз, — он лопнет, когда натянется струной.

Трос лопнул еще раньше. Посредине, между судами, взлетел и завился в воздухе лопнувший конец. Он был хорошо виден в голубом свете прожектора. Некоторое время «Полоцк» еще брел за «Колой», неуклюже раскачиваясь с носа на корму и с борта на борт,

а потом стал стремительно уваливаться под ветер, вышел из-под луча прожектора, и тьма сомкнулась вокруг него.

Через полчаса боцман, рулевые и моторист опять сошлись в кормовой надстройке. Вокруг них, сотрясая судно, отплясывали гривастые волны. Огни «Колы» давно пропали во мгле.

Четверо остались один на один со штормовым морем и ночью.

«Полоцк» развернуло кормой под ветер и тащило куда-то к берегу, который не был виден и слышен, но где-то недалеко поджидал их, оскалив гранитные клыки прибрежных скал.

— Плыви, наш челн, по воле волн, — бормотал Чепин, выливая из бахил воду: пока он проверял распорки и люковые крышки первого трюма, его тоже хлестануло ледяной водой.

— Теперь мы в герои попадем, да, боцман? — спросил Ванваныч.

Росомаха приказал ему бросить помпы и подняться наверх. Моторист был теперь со всеми вместе, и его прямо распирало от радости по этому поводу.

— Садись на пол, ребята! — крикнул Бадуков из угла надстройки. — Сюда брызги не долетают.

Вокруг было так темно, что Росомаха не видел лиц своих подчиненных, но голоса их, пробиваясь сквозь рев и свист ветра, звучали спокойно. Все трое тесно сгрудились в подветренном углу.

Оживление покинуло боцмана. Тягучие мысли о себе, своей паршивой судьбе вновь вернулись и мучили. Только сейчас Росомаха до самого конца понял совсем

простую вещь — разве простил бы сын, узнай он о малодушии своего отца, узнай он, что Зосима Росомаха дорожит своей шкурой больше, чем жизнью многих людей, больше, чем старыми русскими поморскими законами? Никогда бы не простили ему этого ни сын, ни Мария. И чего он так долго решался, когда все равно никакого другого решения для него, Зосимы Росомахи, сегодня быть не могло?

— А в газете будет написано, что мы подвиг совершаем, а, ребята? — опять упрямо спросил Ванваныч, теперь уже у Чепина и Бадукова. Спросил и обнял их за плечи. Он так соскучился по ребятам за время сидения в одиночестве со своими помпами!

— А от тебя бензином несет, — пробормотал Бадуков. — Насквозь ты бензином пропах. . .

— Подвиг у нас боцман совершил, — сказал Чепин. — Забрался давеча один на мостик и стоит, как Наполеон. . .

— Ну, ну, ты не очень! — крикнул Росомаха. — Молод еще, щенок! Иди к первому трюму, замерь воду! Нечего лясы точить!

— Может, нам всем амба сейчас? — нерешительно спросил Бадуков.

— Чепин, проверьте уровень в первом трюме! — еще раз приказал Росомаха и чуть было не слетел со своей бочки от неожиданного крена.

— Есть, — покорился Чепин. Он на четвереньках пробрался к дверям и снова нырнул в воющую, мокрую тьму.

Оставшиеся молчали, напряженно вслушиваясь в гул и грохот моря.

— Хороший парень Мишка Чепин, — наконец сказал Ванваныч.

— Боцман, ты чего рацию ногами пихал? — спросил Бадуков, опуская уши на шапке. — Узнать бы о ледовозе... Верно, уж проводник им подают...

— У радиста на «Колё» сейчас и без нас дел много, — рассудительно сказал Ванваныч. — Правда, боцман? А «Полоцк»-то не переворачивается! Крутится, вертится, а не переворачивается!

— Да! — сказал Росомаха. У него совсем вылетела из головы рация. Он как-то очень твердо решил, что все уже кончилось, и сейчас вдруг удивился тому, что можно связаться с «Колой», разговаривать с радистом, знать все про «Одессу» и сообщать о себе. Но признаваться в этом своем удивлении он не собирался.

Вернулся Чепин, отдуваясь и отфыркиваясь, прополз в угол. Чертыхаясь, опять принялся стаскивать бахилы.

— Ну, что на воле? — спросил Бадуков.

— Не пройти к первому номеру. Вода накатом прет через спардек... Вроде погружается нос. Волна по нему так и гуляет.

— Берут носовые трюма воду. Оттого и развернуло кормой под ветер, — сказал Росомаха. — Спичку дайте.

Боцман так устал от борьбы с самим собой, так не любил себя сейчас, что ждал конца с безразличием. Он испытывал еще какое-то чувство отчужденности к молодым матросам, которые мешали ему своими разговорами и сидели так близко от него.

— Миш, та девчонка, которая тебе канадку подарила на Диксоне, ты ее давно знаешь? — спросил Ванваныч.

Чепин долго не отвечал, закручивая на ступне отжатую портянку, потом сказал:

— Нет, недавно. Хорошая она — веселая и строгая,

черт бы ее побрал. . . Ничего я с ней, ребята, такого сделать не смог, если по-честному говорить. . . Наврал я вам, что все, мол, у меня с ней в порядке. Не таковая она. . .

Прошел час после того, как Росомаха обрубил буксир, а «Полоцк» все держался на воде, хотя его и швыряло вверх, и вниз, и в стороны. При каждом особенно сильном крене Ванваныч упирался спиной в бочку, на которой сидел Росомаха, и крепко сжимал Чепина и Бадукова за плечи. Все четверо остро чувствовали свое одиночество на этом совершенно пустом судне, в кочегарке которого не полыхали пламенем топки, а в машинном отделении не крутились мотыли. Всем муторнее и муторнее делалось на душе.

— Надувай жилеты до конца! — вдруг громко сказал Росомаха и осторожно слез со своей бочки. — Бег скоро.

— А почему приборя не слышно? — спросил Чепин. Ему не хотелось вставать и опять подставлять себя ветру и брызгам.

— Ветер прямо с моря, потому и не слышно. Вон — выше тучи чернеет, это, должно быть, мыс Высокий. Попрощайтесь меж собой, ребята.

Никто не стал прощаться, потому что не знали, как делать это. Бадукон торопливо пробрался к рации и попробовал запустить ее, но зеленый огонек настройки все не зажигался: подмокшие аккумуляторы уже сильно сели.

— А мы все-таки подвиг совершили, товарищи, — словно что-то очень важное для себя объявил Ванваныч.

— Иди ты. . . — буркнул Чепин на моториста. — Твердишь, как попугай. . .

Чуть слышно заворковала рация. Усталый, монотонный голос упрямо повторял: «Полоцк», «Полоцк»... Почему не отвечаете? Я «Кола»! Я «Кола»!

У Бадукова вдруг защипало глаза. Он всегда отличался чувствительностью.

— Я Росомаха! — крикнул боцман в микрофон. — Я «Полоцк»!

— Мы «Полоцк»! — заорал Бадук.

Их не слышали. Или поломалось что-то в передатчике, или просто не доходили до «Колы» слабые позывные портативной рации «Полоцка». Когда боцман переключил на прием, опять раздалось монотонное: «Почему не отвечаете? Почему не отвечаете?»

И все смолкло. Только трещали разряды.

— Похоронили нас, братцы, — сказал Чепин. — Антенну бы надо проверить, а, боцман?

Росомаха не успел ответить. Угрюмый голос капитана «Колы» пробился через разряды:

— «Полоцк», я подал буксир аварийному судну и следую на зюйд-вест. «Кола» подала буксир аварийному судну и следует на зюйд-вест. Вы меня слышите? Вы меня слышите? «Полоцк»! «Полоцк»! Через два-три часа вернемся к вам. Держаться! Держаться! Я «Кола»...

— Успели, — сказал Росомаха и улыбнулся, отирая со лба вдруг выступивший пот.

— Успели наши, ангидрид их перекись... — сказал Ванваныч.

Чепин пососал ссадину на кулаке и сплюнул.

— Груши всегда к хорошему снятся, — сказал он. Светало.

Низко посадив нос в воду, то и дело подставляя волне борт, «Полоцк» медленно приближался к первым бу-

рунам. За этой грядой из рифов, на которой спотыкались и дробились ровные ряды накатывающихся с океана волн, показались из мглы гранитные уступы самого берега. Они вздымались отвесно и тяжело над серо-зеленым месивом прибоя. За черной полосой береговых мысов рыжела тундра; выше ее, на вершинах дальних сопок, лежал сизый снег. Низкие стремительные тучи клубились над снежными вершинами сопок, временами совсем скрывая их. Грохот прибоя нарастал. Казалось, навстречу «Полоцку» несутся, лязгая и сотрясая воздух, десятки поездов. А над рифами медленно и плавно, сопротивляясь ветру и перебарывая его, высоко поднимались белые каскады брызг.

Четверо смотрели на отвесные обрывы береговых утесов. Рация все еще передавала что-то, но никто уже не слушал ее.

Ветер надрывно выл. От его ударов содрогались стенки надстройки и вибрировали стальные стойки лееров.

Росомаха с трудом оторвал взгляд от бурунов под берегом и оглянулся на море, прикрывая глаза от ветра локтем. Мутный горизонт качался вместе с «Полоцком». Струями поземки металась между волн полосы сдутой ветром пены. Вдали, где глаз не различал отдельных валов, море было пустынным, серым и равнодушным.

«Полоцк» ударило о камни кормой. Две тысячи тонн стали с размаху ударило о гранит. Скрежет рвущегося металла, грохот сорвавшихся с креплений помп и оглушающее гудение, которым отозвался на этот удар весь пустой корпус судна, заглушили невольный крик Ванваныча. Остальные молчали, судорожно цепляясь кто за что.

За первым ударом последовал второй, третий... От

резких кренов, содроганий палубы, от потоков воды, которые со всех сторон обрушивались на беспомощное судно, у людей терялась способность ориентироваться, и никто уже не мог понять, где море, где берег, где небо. И только когда корма стала быстро погружаться в воду, а нос задирается, Росомаха понял, что первая гряда рифов осталась позади, и пробрался к дверям надстройки.

Судно почти легло на левый борт, зато правый вышел из воды, хотя волны время от времени и перемахивали через него.

Боцман закричал, показывая рукой вперед:

— Переходи к носу! В нос давай! В нос!

Это было единственное, что они еще могли предпринять, чтобы оттянуть конец: корма теперь сползала с рифов, принимая через десятки пробоин воду, а задравшийся нос, судя по всему, должен был погрузиться последним.

Они ползли в желобе ватервейса, вдоль лееров правого борта один за другим: первым, показывая дорогу, — Росомаха, вторым — Чепин, потом Бадуков и Ванваныч. Ослабевшие, будто размокшие руки работали плохо, неуверенно, а слева и сзади палуба почти отвесно уходила в воду и по ней взбегали, шипя и разрываясь на куски, волны. Море заглатывало «Полоцк» метр за метром.

Недалеко от полубака Росомаха остановился. Леера здесь были срезаны, на месте кнехтов чернела дыра. Ветер хлестал тяжело и злобно, норовя скинуть в воду. Боцман почувствовал рядом с собой Чепина. Тот догнал его и лежал, осоловело глядя перед собой заплывшими глазами. Он где-то сорвался и проехал лицом по железу, теперь с его разбитых губ стекала кровь.



— Прыгать надо! — крикнул Росомаха. Чепин кивнул и опустил голову, прижался щекой к палубе, передыхая в ожидании своей очереди прыгать к трапу на полубак. Росомахе нужно было прыгать первым. Боцман собрался в комок и метнулся вверх и вперед — к срезу полубака. В последние доли секунды, отделяясь от палубы, он почувствовал, как дрогнула нога, и успел понять, что прыжок будет неудачным.

— А-а-а! . . . — крикнул Росомаха и покатился вниз, не успев зацепиться за поручни трапа на полубаке. Его ударило о грузовую лебедку возле первого трюма, и там он застрял, а волны перекатывали через него, и трое оставшихся наверху видели только огромные черные сапоги боцмана, торчавшие над комингсом первого трюма.

— Дети, не стучите ложками, — прошипел Чепин сам себе. Потом повис на одних руках, зажмурился и разжал кисти. Он заскользил все быстрее и быстрее, переворачиваясь, ругаясь, цепляясь за все на пути к тому месту, где торчали сапоги боцмана.

Росомаха был жив и в сознании, хотя ударился о лебедку головой. Чепин помог боцману перевернуться вниз ногами.

— Вот и поскользнулся. . . — прохрипел Росомаха. Очередная волна накрыла их обоих, а когда схлынула, они увидели возле самых глаз перепутанный клубок оборванных вант. Наверху, над самым срезом полубака, Бадуков и Ванваныч закрепляли другой конец вант к поручням.

— Лезь, боцман! — крикнул Чепин, отхаркиваясь от воды, которой он наглотался уже порядочно. — Лезь, подан парадный трап. . .

Росомаха полез, с каждым движением медленнее и неувереннее. В голове его звенело, серый свет дня казался фиолетовым. Он понял, что теряет сознание, но все равно тянул и тянул вверх свое грузное тело.

Бадуков и Ванваныч подхватили его и отволокли к брашпилю. Туда же пробрался Чепин.

Боль сдавила голову Росомахи. Он перестал различать лица ребят. Вместо них перед глазами его замигал ясный и четкий огонек. «Так это же на Мишуковом мысу створные огни горят, — подумал он. — Маша, видишь, поскользнулся я...» Боль уступала место миру и покою.

«Полоцк» все прочнее вклинивался между скал и погружался теперь медленно. Крен не менялся, нос упрямо торчал посреди пляшущих волн весь в пене и брызгах.

Бадуков, Чепин, и Ванваныч сидели на самом краю этого носа, закрывая Росомаху от ветра и брызг своими спинами, и коченели. Ниже их захлебывалась в волнах дымовая труба «Полоцка», и вид дымовой трубы, в которой плещется вода, был так странен, что они старались не глядеть в ту сторону. Но в двухстах метрах от «Полоцка» нависали над кипящей водой черные и бесстрастные скалы берега. И смотреть туда также не хотелось, потому что там была смерть — костедробилка, как выразился Чепин.

Матросы смотрели на море — только оттуда могло прийти спасение. Где-то там, торопясь к ним, расшвыривала штормовые волны родная «Кола». В ее рубке жевал папиросу за папиросой холодный человек Гастев, у форсунок в котельном стояли свои дружки кочегары, а у штурвала Витька Мелешин.

И Бадуков, и Чепин, и Ванваныч, коченев под вет-

ром, ждали от «Колы» спасения и верили в него, потому что верили в свою «Колу», в мастерство Гастева, в крепкие руки друзей у форсунок, у штурвала. И каждый из них думал о своем. Бадуков повторял про себя имя Галки, и от этого имени ему становилось теплее. Чепин заставлял себя думать только о том, как он будет всем теперь рассказывать историю с «Полоцком» и какая тишина наступит, когда он дойдет до своего прыжка за боцманом. Ванваныч думал о матери: если он останется жив, никогда даже не заикнется о всей этой истории, — зачем пугать старуху до смерти? И жалел свои помпы, которым вряд ли придется когда-нибудь откачивать воду из трюмов тонущих кораблей.

А Росомаха, впад в забытие, ничего не ощущал, не понимал, и только мерцающий ослепительный свет, который мерещился ему, связывал его с жизнью.

Матросы смотрели в море слезящимися, обмерзающими глазами.

«Полоцк» медленно, но неуклонно продолжал погружаться. Теперь труба больше не пугала своим необычным видом, потому что совсем скрылась под водой, и только бурун на том месте напоминал о ней. Мелькнула в волнах бочка из-под капусты, и, заметив ее, Ванваныч спросил тихо, но все услышали его:

— А не хочется помирать, кореша? . .

— Поддуй мне жилет, ты, раззява, — сказал ему Чепин. — Когда он туго надут — не так холодит.

— А ты мне, — попросил Бадуков, трудно шевеля застывшими губами.

Росомаха все не приходил в себя, но его размокшее, безвольное тело вдруг напряглось, скорченные руки с нечеловеческой силой стали хвататься за станину брашпиля. Боцман весь выгнулся и забился в судорогах.

Троих матросов едва хватило, чтобы не дать ему раз-
мозжить голову о сталь и чугун.

— Держи его лучше, Леха! — орал окровавленным
ртом Чепин.

— А я что делаю?! — огрызнулся Бадуков, подстав-
ляя колени под мечущуюся голову Росомахи и лоя его
плоские, закаменевшие руки.

— Не надо сейчас ссориться, — просил миролюби-
вый Ванваныч. — Не надо!

— Заткнись! — взорвался Чепин. И оттого, что он
так орал и ругался, Ванванычу почему-то станови-
лось легче.

Судороги у боцмана кончились так же внезапно, как
и начались. Он затих, глядя прямо перед собой широко
раскрытыми, бессмысленными глазами. На мокром ли-
це рыжела густая давняя щетина. Волосы перепутались
и налипли на лоб.

— Эх, боцман, боцман, — с сочувствием и жалостью
произнес Чепин, переводя дыхание после борьбы.

— У него где-то сын есть, — сказал Бадуков, за-
тягивая шнурки капюшона на подбородке Росомахи. —
И жена...

— Отвоевался боцман. Ему теперь к причалу
пора, — сказал Ванваныч.

— Смотря к какому, — тихо сказал Чепин и вдруг
опять выругался.

Они замолчали, глядя на штормовое море. Ветер
хлестал по их лицам.

А Росомахе все чудился перед глазами свет. Такой
яркий, будто все маяки, и створы, и буи, и бакены, какие
только он видел в жизни, светили теперь ему.

ЕСЛИ ПОЗОВЕТ ТОВАРИЦ...

1

От густой и темной воды в канавах, от вылезшей из-под снега глины, от влажного ветра пахло весной, но Шаталову было по-осеннему неприятно. Он брел согрившись, засунув руки в карманы. И кривился, когда налетал особенно сильный порыв ветра.

Его скуластое лицо заросло щетиной. Козырек флотской фуражки сидел на самых глазах, а воротник хорошо сшитой, но уже потрепанной шинели поднят.

Рассвело недавно.

Впереди смутно виднелись порталные краны Угольной гавани, а за ними — сизая полоса Финского залива. Позади остались причалы Рыбного порта, ржавые, уставшие траулеры, корявый домик Управления сельдяного флота, штабеля бочек и запах рыбы. К этому запаху Шаталов так и не смог привыкнуть.

Влево от дороги, за корабельным кладбищем и поросшими тростником пустырями, начинался Ленин-

град. Но в это как-то не верилось. Там, вдали, только особенно темные, набрякшие дымом и гарью тучи тяжело давили на горизонт.

Дойдя до автобусной остановки, Шаталов повернулся спиной к заливу и достал папиросы. Курить не хотелось, но он привык закуривать, когда чего-нибудь ждал. Все равно чего: конца очередной вахты, автобуса или приема у начальника отдела кадров.

Рядом сухо шуршали под ударами ветра рыжие тростники, и Шаталов вдруг подумал: почему они так и не намокли за осень и длинную сырую зиму. Уметь бы этак... Ему сильно нездоровилось; ревматической приторной болью ныли кости, и с сердцем творилось что-то неладное.

От Угольной гавани, разбрызгивая снеговую кашу, приближался тупорылый шкодовский грузовик с горой угля в кузове. Шаталов поднял руку:

— До Автова подбросишь?

Шофер молча кивнул.

Они сидели рядом и смотрели вперед на дорогу, оба одинаково усталые, сосредоточенные в себе. От одного пахло бензином и угольной пылью, от другого — рыбой и солью. Один еще несколько дней назад был за тысячу миль отсюда — в Северной Атлантике — и ловил там селедку; другой за месяцем месяц гонял по этой дороге «шкоду» к Угольной гавани и обратно. У обоих руки задубели от мороза, воды и металла. Но руки шофера спокойно лежали на баранке, а Шаталов все не мог успокоить свои пальцы. Они то сжимались в кулаки, то теребили борт шинели.

«Нервы, — думал Шаталов. — Черт бы их побрал.

Вот для этого парня все ясно, как зеркальце в кабине. Он его протер поутру и до вечера размышлять не над чем... Да, пришла пора решать что-то... Всерьез решать, навсегда... и платка вот еще нет... Есть ли дома чистые? Вряд ли...»

Город приближался. Замелькали пакгаузы, железнодорожные пути с холмиками тупиков, стрелки, дымящиеся кучи шлака. Потом вытянулась вдоль самой дороги бесконечная цепь пустых пассажирских вагонов, по самые окна заляпанных грязью.

— Весна, — неожиданно сказал шофер и улыбнулся. — Дай-ка закурить, корешок.

И Шаталов по его улыбке понял, что шофер все это время сквозь усталость думал о канавах, уже полных незамерзающей даже по ночам снеговой воды; о сосульках на крышах вагонов, о почерневшем снеге на пустырях.

— Длинные и толстые куришь, — весело сказал шофер, принимая от Шаталова «казбечину». — Буржуазия...

Шаталов не любил «Казбек». И сейчас у него была одна, случайная пачка. Он хотел промолчать, но вдруг обозлился и, чувствуя, как немеют скулы, процедил:

— Дурак ты, парень.

— Чего?

— Дурак, — повторил Шаталов уже без возбуждения, равнодушно.

— Вот это даешь! — удивился шофер. — С похмелья, что ли?

— А-а-а! — Шаталов махнул рукой. — Прости... Так, нервы.

Поднялись вокруг, закрыв хмурое небо, новые дома Автова. У метро Шаталов вылез.

— Это кореш, верно, все грипп, — с сочувствием сказал шофер.

— Вот именно, — сказал Шаталов. Он вспоминал: остались в сарае дрова или нет? Надо топить печку, сушить белье. . .

Никогда еще он не ощущал такой внутренней пустоты и такого равнодушия ко всему на свете. Будто лиловая печать на записи об увольнении с работы прихлопнула и душу.

Дров в сарае не оказалось. Квартира еще спала, только в кухне уже горел свет. Шаталов отомкнул замок на дверях своей комнаты и, не заглядывая в нее, прошел в кухню.

— Надолго домой? Или скоро опять в море? — встретила его соседка обычным вопросом. Будто они расстались на прошлой неделе.

— Надолго, кажется. Я у вас хочу дров попросить.

— Берите. Между дверей. А Петька вас все вспоминает. Я ему вчера говорю: помойся — рожа-то черная под носом! А он: «У меня переходный возраст, и это не грязь, а усы!» Я взяла таз с водой и вылила ему на голову. . . Ну что с ним еще делать станешь? И все на вас ссылается: «Дядя Дима то, дядя Дима это. . . Буду, как дядя Дима, моряком. . .» Такой сорванец растет. . .

— Пороть надо, — посоветовал Шаталов, набирая дрова.

— Да он хороший! А вы — пороть! — удивилась соседка.

— Ну, тогда не надо пороть. — Шаталов виновато улыбнулся, пожал плечами и пошел к себе растапливать печку. Он и сам знал, что Петьку пороть не надо.

Петька хороший мальчишка, и они приятели с ним, но слишком уж не до него сейчас... Лечь бы побыстрее, укрыться с головой, согреться, заснуть.

Шаталов растопил печку, стащил с кровати простыни, повесил их на спинку стула перед огнем, сам уселся на стул верхом и закурил. Боль в костях усиливалась, монотонная, нудная...

Все неприятности начались тогда же, когда он заработал этот треклятый ревмокардит. Удивительно глупо бывает иногда: маленький, рядовой случай становится водоразделом целой судьбы.

Шаталов — в те времена старший лейтенант, штурман гидрографического судна — запустил отчетную документацию и неделю не вылезал из каюты, занимаясь журналами боевой подготовки, актами на списание шкиперского и штурманского имущества, конспектами занятий с личным составом. От бесконечных разделов, подразделов, параграфов и примечаний уже рябило в глазах и почему-то чесалось за шиворотом. Сроки сдачи документации надвигались неумолимо, командир корабля при встрече хмурил брови, а конца работе не было видно.

И вдруг приказ выходить в море: где-то на островке испортился автоматический маяк, и надо было сменить горелку. Осенняя Балтика штормила, но штурман ликовал. Он был молод. Он козлом прыгал от компаса к карте, от радиопеленгатора к эхолоту: ведь никто теперь не мог загнать его в каюту и заставить писать акты инвентарной комиссии — он вел корабль через штормовое море!

Островок был замкнут в кольцо прибоя, но штурман вызвался идти туда на вельботе. Он уверил командира в том, что уже неоднократно высаживался здесь и знает

проходы в прибрежных камнях. Он никогда даже близко не был и не ведал никаких проходов. Зато он хорошо понимал, что срок сдачи документации будет продлен, если ему удастся починить маяк, не дожидаясь ослабления штормового ветра.

Нет, это не была совсем уже отчаянная авантюра. Шаталов был хорошим моряком и румпель вельбота чувствовал не только ладонью, но и всем своим существом.

Просто судьба изменила... Он потерял ориентировку среди волн, бурунов, завес из брызг...

Навсегда запомнился скользкий блеск на миг обнажившегося камня под самым бортом вельбота, удар, треск ломающихся весел, перекошенные рты на матросских лицах и рык ветра... Только чудом никто не погиб. Израненные, простывшие, они больше суток провели на островке — пока не затих шторм.

Хотя Шаталов маячного огня и не зажег, но от документации избавился — угодил на полгода в госпиталь. За неоправданное лихачество ему не присвоили очередное звание, а когда началось новое сокращение вооруженных сил, демобилизовали одним из первых.

Он нашел на берегу спокойное и денежное место — работал в Управлении гидрографии: клеил в лоции далеких океанов бумажки с сообщениями о каком-нибудь затонувшем в проливе Пенгленд-Ферги судне, о смене цвета буя в устье реки Жиронды или о новых навигационных знаках на Таймыре. Скоро все это наскучило до омерзения. Тогда Шаталов отправился в Торговое пароходство, но там оказалось полным-полно своих штурманов со специальными дипломами. Ему смогли только предложить ближний каботаж — возить дрова из Ленинграда в Таллин. Он, конечно, отказался.

Потребовался целый год для того, чтобы Шаталов понял одну простую истину — не все гражданские моряки плавают к островам Фиджи и ловят там попугаев, а только малая их толика. Бесчисленные рыболовные сейнеры, траулеры, рефрижераторы, разные буксиры, шаланды, шхуны, катера, боты — весь этот «ближний каботаж» необходим людям не меньше, чем океанские корабли, а может, и больше.

Второй после юношеских времен период романтики кончился. Но осталась тоска по своей работе. Неважно — где и как, только пускай опять стекает с капюшона на карту холодная вода, пускай снег залепляет стекло компаса и трудно разобрать деления, пускай рвет размокшую карту игла измерителя, а тяжелый стальной транспортир мечется по кренящемуся штурманскому столу. Пускай все это будет. Его специальность — водить суда. Их учили водить в атаку эсминцы на скорости в тридцать пять узлов. Он хороший штурман, черт возьми! Он не может не плавать.

Раньше, когда он плавал много, его злили все эти штуки — стекающая на карту вода, мазутные пятна на страницах навигационного журнала, туман, скрывший береговые ориентиры, и миллион других мешающих работе мелочей. Теперь же он понял, что утомительное, обыденное преодоление всего этого и есть то, без чего жизнь пуста и неинтересна.

Шаталов устроился на рыболовный траулер третьим помощником капитана. Вернулся он с моря прямо на больничную койку и опять провалялся несколько месяцев с обострением ревмокардита. Врачи сказали: «Хотите жить — выкиньте из головы море».

Два года на берегу. Потом как-то шел через Неву, а под мостом пролезал портовый буксир. Тухлый уголь-

ный дым так явственно напомнил о прошлом, что от судорожной тоски помутнело в глазах. Обманув медкомиссию, опять ушел за селедкой в Атлантику. Вернулся теперь, сидит перед огнем и сушит простыни. И то, что в трудовой книжке отсутствует: «Не справился со своими обязанностями» — это только от людской доброты. Он действительно не справился. Просто физически не смог. Эта чертова селедка! Центнеры и центнеры плана, тряска сетей в зимнем штормовом океане, сорванные ногти, распухшие, помороженные, изъеденные морской и поваренной солью руки. Не смог. Не справился.

2

Когда простыни нагрелись, он проглотил две таблетки пирамидона и улегся. И сразу, будто только и ждала этого момента, постучала соседка:

— Ах, вы уже легли!

— Да.

— Сама вижу, сама вижу, голубчик, что легли. А трубу не закрыли. Мужчины всегда не закрывают. Вот и муж... Да, у мужа для вас телеграмма лежит! От женщины. Недели две назад получил. Просит срочно приехать.

— Чепуха какая-то, — сказал Шаталов. На земле не существовало сейчас женщины, которая вдруг захотела бы его видеть. Да еще срочно.

— Знаем такую чепуху! — игриво заулыбалась соседка. Шаталов едва слышно, сквозь зубы, выругался и попросил принести телеграмму. Она была короткой: «Дима зпт прилетай немедленно зпт если можешь»

тчка я в дрейфе тчка Маня». Пункт отправления — Курамой.

Что с Маней? Болезнь? Неприятность по службе? Любовная неурядица?

Шаталов поймал себя на том, что он, видно, стал уже забывать Маньку и сейчас, кажется, не взволнован телеграммой. И от этого стало совестно: ведь Маня его друг, настоящий друг.

— Это не от женщины, — сказал Шаталов соседке и опустил телеграмму на пол возле кровати. — И, простите, мне, вероятно, придется сейчас встать, а я не одет. . .

Она наконец обиделась и ушла.

— Ну, черта лысого я сейчас встану, — сказал Шаталов и накрылся одеялом с головой. «Прилетай немедленно!» И обратного адреса не написал. . . Что у него, пяти рублей нет? На две запятые и две точки не хватило. «В дрейфе. . .» Уж если кто лежит теперь в дрейфе, так это он, Шаталов: хуже, чем ему, быть не может.

Под одеялом стало душно, да и какое-то смутное беспокойство все мешало заснуть. Где это Курамой? Пожалуй, встать все-таки придется.

И Шаталов нерешительно поднялся. Взял атлас, принялся листать холодные страницы. Вот — Курамой, маленькая точка на берегу Тихого океана. До нее четыре с половиной тысячи миль.

Шаталов выругался, хотя все это было скорее смешно:

— Манька, ты вислоухий нахалюга, вот ты кто. А ведь был когда-то скромным юношей!

Он закрыл трубу, еще раз перечитал телеграмму. Эти педантичные точки и запятые! В них весь Манька.

Они не виделись уже четыре года и даже не переписывались все это время, и вдруг. . .

Шаталов забрался обратно в постель. С групповой фотокарточки, приколотой иголками к карте мира, смотрел куда-то в пыльное окно Маня. Его рука гордо лежала на эфесе курсантского палаша. Эти палаша на их жаргоне назывались «селедками». . . Когда хочешь прыгнуть на ходу в трамвай, «селедка» обязательно попадет между ног. . . Думал ли курсант Военно-морского училища Шаталов о том, что ему придется ловить настоящую сельдь? Нет. Он не думал. Какие они все на этой фотокарточке молодые и глупые. . . Маня самый высокий, и у него единственного блестят на фланелевке медали. Он успел повоевать. . .

Сколько лет назад они впервые увиделись?

Огромного роста солдат нерешительно вошел в класс, где сидел за вечерней самоподготовкой их взвод, и положил тощий вещевой мешок на пол в уголке.

— Доброе утро, — пробормотал парень. — Меня назначили к вам.

Завятый разгильдяй Пашка Павлов посмотрел на потолок, потом на парня и сказал:

— Мне сдается, сейчас вечер. Или это мне только сдается, а, ребята?

Все хором подтвердили, что до вечернего чая десять минут.

— Я ошибся, товарищи. Я, по правде говоря, немного смущаюсь, когда прихожу к незнакомым. Вы меня простите, пожалуйста. — Он снял пилотку и здоровенными ручищами стал крутить жестяную звездочку на ней.

— А вы не смущайтесь, Манечка, мы вас щекотать не будем, — жеманно сказал Володька Кузнецов.



Так Маня стал Маней. Володька здорово умел прилеплять прозвища. Сам он прозывался Интегралом — за напоминающую этот знак изогнутую тощую фигуру.

Парень все стоял посреди класса и крутил звездочку. Они рассматривали его солдатскую форму, погоны, съехавшие на ключицы, вислоухую круглую голову и ухмылялись.

— Ну ладно, ребята... — шептал парень, обдергивая гимнастерку и переминаясь с ноги на ногу. — Ну чего, в самом деле...

Они три месяца носили бляхи с якорем и синие воротники, считали себя уже старыми моряками и равнодушно отнестись к появлению пехоты не могли.

— Сколько кабельтовых обмоток на твоих икрах, дружище? — спросил Пашка Павлов. И многие другие тоже задали парню глупые вопросы.

— Я не знаю, сколько это — «кабельтов», товарищи, — отвечал он. — Я, по правде говоря, всего сухопутный солдат, да и простой санитар к тому...

Новые шутки посыпались на него. Маня оглянулся на дверь.

И тут сердце Шаталова не выдержало. Он встал и протянул парню руку.

— Это мы без зла, — сказал Шаталов. — И не вздумай обижаться!

— Ну что ты! Зачем, по правде говоря, я буду на вас обижаться? Ведь нам жить вместе!..

В кубрике соседняя с шаталовской койка была свободна. Ее и занял Маня.

После отбоя новичок все ворочался и ворочался. Он то вытягивался во весь рост, просовывая ступни между железными прутьями койки, то собирался в большой, тяжелый ком.

— Кончай извиваться! — наконец цыкнул Шаталов. — Спать не даешь!

— Я, кажется, должен тебе сказать одну маленькую вещь, — шепотом ответил Маня, послушно пряча ноги под одеяло и успокаиваясь. — Я должен сказать, что ты — хороший парень. А? Как ты думаешь?

Шаталов даже сел:

— Это почему же я — хороший?

— Ты пришел мне на помощь, когда ребята стали уж очень смеяться надо мной. И ты еще улыбаешься хорошо, вот.

— Н-н-да, — сказал Шаталов. Он смутился. Он не привык к таким откровениям.

— Я обязательно отвечу тебе добром на добро, — пообещал Маня, огромными кулаками постукивая по углам подушки. — А пока, если тебе не очень затруднительно, почеси мне, пожалуйста, спину.

— Что?

— Понимаешь, она у меня очень чешется по ночам, спина. Там, где шрам, а?

И Шаталов почесал ему широкую плотную и горя-

чую спину в том месте, где поперек ребер тянулся неровный и длинный — сантиметров в пятнадцать — шрам.

— Это откуда у тебя? — спросил он.

— С детства, — безмятежно объяснил Маня. — Упал с забора. А почему-то чешется до сих пор. Спасибо. Спокойной ночи.

Шаталов уже стал задремывать, когда вновь услышал низкий, густой и какой-то вразумительный голос:

— Утром вам черный или белый хлеб дают?

— Белый. По двести грамм.

— Это хорошо, — помедлив, сказал Маня. — Очень даже хорошо. Солдатам такого не дают.

Кончался сорок пятый год. И все они, молодые парни, хотели есть и утром, и днем, и вечером. . .

Шаталов любил Маню, и много хорошего в юности было связано с этим добродушным дылдой, но, вспоминая сейчас прошлое, он не ощутил ни волнения, ни радости. Настоящее было слишком плохо.

Шаталов просто решил послать Маньке «молнию», узнать, что с ним случилось. Но не было адреса. Кто может знать точный почтовый адрес? Манькин брат. А где он, Федька? Черт его знает. . .

Шаталов попинал ногами сбившееся одеяло, послушал, как скрипит кровать, как гулко хлопает за окном, — с крыши дома напротив сбрасывали снег.

А может, все это шутка, розыгрыш? Вдруг Маня первый раз в жизни решил пошутить? Во всем мире нет такого странного человека, как Манька. Он не мог понять ни одной шутки. Он все всегда принимал всерьез. И сам никогда не шутил. . .

Заснуть бы. Но очень уж неприятно стучает машинка в груди. Испортилась. Так тарыхтит гребной вал,

когда на штормовой волне судно задирает корму и винт начинает крутиться в воздухе... Кончились штормы. Предстоит устраивать все заново, ходить в узких брюках и вешать бирку на доску табельщицы в какой-нибудь конторе... А пока хочется лежать и смотреть в окно. Нет, и смотреть не хочется. Когда же пройдет период мальчишества? Где серьезность и последовательность? Вот Манька всегда знал, чего хочет и зачем. Он никогда бы не полез на вельботе сквозь штормовой накат в незнакомом месте, рискуя собой и людьми только потому, что ему не нравится писать акты инвентарной комиссии... Как его добродушие смешило и ребят и начальство! А он грыз себе да грыз гранит военной науки.

Шаталов кое в чем помогал ему. Как-то они сидели совсем одни в классном помещении. Была середина ночи. В кубрике вместо них спали под одеялом туго свернутые шинели.

Шаталов вбивал в голову другу премудрости торпедной стрельбы. И вдруг обнаружил, что Маня путает курсовой угол цели с аппаратным углом своих собственных торпедных аппаратов. Это было уже верхом невежества.

Маня сидел, опустив голову.

— Хочешь морковки? У меня еще осталось, — заискивающе сказал он и поерзал на стуле. Вечером, прежде чем запереться в классе, они стащили на камбузе полную бескозырку моркови. Свою долю Шаталов давно схрумкал, а Маня сэкономил. Он берег ее для репетитора.

— Ты болван, милый мой, — сказал Шаталов. — Не увиливай за морковку. Не выйдет. Что такое аппаратный угол?

Маня оторвал уголок измаранной чернилами промокашки и принялся жевать его.

— Я не увливаю. Я понимаю, что понимаю мало и плохо, Дима. Это все оттого, что на фронте я мало тренировал мозги. Но морковку ты все-таки возьми. Я больше ее не хочу. Честное слово, не хочу.

И Шаталов взял, но спросил:

— Манька, почему тебя понесло в училище? Ведь ты любишь военную службу и математику, как дневальство в гальюне верхнего этажа.

— Сказать по правде, мне легче там дневалить, нежели разбираться с углами и гипотенузами, — ответил Маня серьезно и грустно.

— Выплюнь промокашку, — приказал Шаталов.

Маня послушно выплюнул. Потом встал и сказал:

— Ты понимаешь, Дима... Ты понимаешь... Мне совсем не весело, что я всю жизнь буду военным, но однажды я... убил... и... вот...

— Если ты убил когда-нибудь муху...

— Не перебивай, Дима. Ты же знаешь, я не умею трепаться так здорово, как ты, например. — Маня уселся на пол у батареи и сумрачно умолк.

— Извини, пожалуйста.

— Ладно, это все пустое... Знаешь, о чем я мечтал когда-то? Я мечтал, — торжественно, постукивая кулаком по батарее, сказал Маня, — искать красоту! Не все, понимаешь, замечают, по правде говоря, сколько может быть красоты в жизни. Вот я и хотел стать режиссером в кино, что ли, но...

Шаталову смертельно хотелось спать. Всю ночь он вбивал в Маньку теорию торпедной стрельбы, и ему было не до разговоров о красоте в кино и в жизни.

— Жук поставит тебе двойку за теорию ТС, — ска-

зал Шаталов. — И никакой красоты здесь не будет: в субботу ты увидишь Ольгу так же отчетливо, как свои толстые уши.

Маня обиделся и отвернулся.

— Иди к доске, — жестко сказал Шаталов. — Возьми мел и начерти схему атаки тихоходного транспорта с кормовых курсовых углов.

Маня встал — высокий, грустный, обиженный, пошел к доске и стал чертить схему. А Шаталов жевал морковь и смотрел ему в спину.

— Дима, сейчас ты не захотел понять меня, — задумчиво сказал Маня, начертив схему. Потом поплевал на пальцы и вытер с них мел о штаны. — Я хотел сказать откровенно, а ты...

— Спать жутко охота, — жалобно проскулил Шаталов. — Валяй, рассказывай откровенно.

Маня долго молчал и скручивал из махорки здоровенную «козью ногу», потом долго устраивался на полу возле батареи.

— По правде говоря, человека я никогда не убивал, — наконец вымолвил он.

— А! — спокойно сказал Шаталов.

— Я знаю, Дима, ты хорошо ко мне относишься, но иногда ты меня обижаешь, — сказал Маня. — Это на самом деле был человек, но он и не был человек... Он запрягался в кустах на ничейной земле, стонал там, по-нашему ругался и звал помочь... Первым Коля полез — Степанюк. Мы же думали, свой погибает... Знаешь, как он стонал? Кровь в жилах застывала... Потом кто-то из второго взвода пошел и тоже не вернулся... А я со стороны немецких окопов заполз... У меня автомат был и пистолет трофейный... Вижу — здоровенный эсэсовец! И сигарету курит... За-

тянется, потом стонет. И опять затянется, спокойно так. . . И — ждет. . . Я в упор очередь мог. . . Но, по правде говоря, я его руками задавил. . . Я его сам должен был. . . Понимаешь? Сам. А он — здоровый. . . Он мне штыком спину распорол, плоский штык, австрийский. . . А я его задавил, все одно. . . А уже в госпитале решил, что если выживу, по правде говоря, то. . . то. . . Понимаешь, Дима, пока на земле есть фашисты, надо кому-то их убивать. Вот так я и попал к вам сюда. . . — У него дрожали руки и расклеилась закрутка. — Только не говори ничего ребятам. Они решат, что я сочиняю про себя геройские истории. . . А математику я раздолбаю, если без нее нельзя обойтись.

Он одолел математику. На третьем курсе у него были сплошные пятерки по всем стрельбам. Этот Манька! Он всегда знал, что надо делать в первую голову. «Прилетай немедленно — я в дрейфе». Что с ним стряслось? На такой перелет нужна уйма денег. А денег нет, не говоря обо всем другом. Хотя как ни странно, слетать на Дальний Восток, пожалуй, легче, чем сходить для приятеля в ломбард и выстоять там длинную очередь, сдавая часы. . . Конечно, не для всех так. Только для того, кто с шестнадцати лет привык болтаться взад-вперед по свету и месяцами находиться в пути. . . Но о поездке пока нет и речи. Надо позвонить общим знакомым, узнать адрес Маньки и запросить его телеграммой. Может, он все еще переписывается с Ольгой? Его найти проще других. . .

От всех этих мыслей Шаталову совсем расхотелось спать, хотя чувствовал он себя паршиво. И в бок начинало покалывать, и насморк набирал силу. Кажется, шофер правильно поставил добавочный диагноз.

Шаталов встал, оделся, накинул на плечи меховую куртку и сказал вслух:

— Да, все на свете корытом крыто, но моряки об этом не грустят.

Потом он сел к столу, выдвинул ящик и принялся разыскивать старую записную книжку, в которой был телефон Ольги. В руки лезли какие-то забытые, очевидно, собственного сочинения стихи, вырезки из газет, пачки счетов за приемник и квартиру, потускневшие офицерские погоны.

Книжку он все-таки нашел. И сразу стал звонить. Сонный голос, растягивая слова, спросил: «Кто, простите, в такую рань звонит мне?» Это была, конечно, Ольга, — ее стиль.

— Проснись, — сказал Шаталов. — Уже девять часов. — И замолчал, ожидая, узнает она его или нет. Она узнала, хотя последний раз они виделись очень давно.

— Дмитрий?

— Да. Здравствуй. Мне срочно нужен адрес Мани. С ним что-то случилось. Ты можешь помочь?

— Тебе не стыдно спрашивать адрес друга у меня?

— Стыдно.

— Адреса я не знаю. Но ты успокойся. Он не на смертном одре. Если б умирал, прислал бы мне предсмертную записку с пожеланиями счастья на вечные времена.

Она была права. Манька бы это сделал.

— Ты не меняешься, — сказал Шаталов.

— Да. Приезжай вечером. Поговорим. Кое-что я все-таки знаю про него. Обязательно только приезжай, слышишь? — Ее голос потеплел, стал задушевым. — Мы что-нибудь придумаем для этого оболтуса. Приедешь?

— Да.

Он позвонил еще в аэроагентство. Просто так, на всякий случай. Оказалось, что прямые билеты на Хабаровск и дальше будут только дня через четыре.

3

К вечеру соседка принесла ему стакан кофе, градусник и капли от насморка. Ради интереса он измерил температуру. Ртуть быстро поднялась к тридцати восьми. Страхивать термометр Шаталов не стал. Соседка просила не делать этого самому. Она была убеждена, что мужчины бьют все стеклянные предметы. А градусники сейчас на вес золота.

Выпив кофе и путив в нос сдкие капли, Шаталов стал приводить себя в порядок. Бреясь, он думал о том, что спутники летают, а градусники — дефицит. Черт бы побрал этих аптекарей. Да и сам тоже хорош: и простуда, и кости болят, и сердце бьется, и хвост трясется. . . Будто старик уже. . . Только и делать с такой температурой, что ездить на Дальний Восток и обратно. . . Манька вот не болел ни разу в жизни. Ему ветер, холод, мокрые портянки в сапогах — как смоленной шпале снежок.

Выбривая упрямую щетину на кадыке и все больше злясь, Шаталов заметил, что у него слегка дрожат руки. Неужели впереди больница? Этот запах салицилки! . . Бр! Руки дрожат. . . У Маньки они дрожали один-единственный раз, его большие и грубые солдатские руки с невероятной твердостью ногтями. Нет, два раза: когда он рассказывал про эсэсовца и когда первый раз увидел Ольгу.

Вспомнилось, как белой весенней ночью они с Манькой дневалили возле училищных шлюпок на Фонтанке — охраняли их.

Было свежо и ясно все вокруг. И только от воды временами, когда замирал ветер, попахивало гнилью. Река чуть слышно взбулькивала, обтекая шлюпки. Набережные были еще пустынные, и лишь кое-где начинали появляться белые фартуки дворничих.

Чугунные сфинксы на устоях разрушенного моста поднимали над водой бесстрастные, холодные лица. В телах сфинксов чернели дыры — следы снарядных осколков.

Шлюпки стояли вдоль гранитной набережной цугом — одна за другой — и поскрипывали пеньковыми швартовами. В крайней из них сидели Шаталов и Манька со штыками на поясе и сине-белыми повязками на рукавах бушлатов. Еще дремали дома. Коты бродили по карнизам и кричали страшными голосами. Солнце должно было высунуться из-за крыш с минуты на минуту.

Штурмтрап, привязанный к решетке набережной, давно купал последние ступеньки в грязной воде Фонтанки, и все лень было протянуть руку и втащить его в шлюпку.

Они сидели молча и мечтали каждый о своем. И вдруг Маня сказал:

— Дима, я вот думаю сейчас, зачем живет человек. Он живет, чтобы радоваться, понимаешь? Но вся суть жизни в том, сколько человек получает человечности в единицу времени. И сколько отдает ее. . . — Маня в ту пору уже победил математику и прочно усвоил разные математические выражения.

Шаталов было собрался сказать ему об этом, но тут

по набережной зазвучали шаги невидимых людей и неожиданно оборвались, стихли где-то рядом. Женский голос, чуть растягивая слова, произнес:

— Вот я и дома... Как быстро кончилась ночь сегодня...

Мужской ответил:

— Да, пожалуй...

И опять женский, будто бы шутливый, а на деле тревожный и тоскливый:

— Ты не хочешь меня поцеловать на прощание?

— Конечно, поцелую.

— Вот это да, — сказал Маня шепотом и подмигнул.

— Вся суть в том, сколько человек получает поцелуев в единицу времени, — наставительно прошептал в ответ Шаталов.

— Ну и дурак, — обиделся Маня.

Мужчина наверху горько вздохнул:

— Курить как хочется!.. Тут возле шлюпок всегда военные дежурят... Что, если у них папироску спросить?

— Конечно, Игорь!.. Подожди минутку...

Зачастили по граниту набережной каблучки, и наверху, возле решетки, появилась девушка... Вот тогда-то задрожали Манины руки. Так задрожали, что от шлюпки, наверное, побежали круги по воде до самого Балтийского моря.

Пальто у нее было наброшено на плечи. Из-под берета выбивались распущенные волосы, кудрявые и золотистые. Она поставила ногу на перекладину перил, и они увидели над собой узкую маленькую подошву.

Девушка неторопливо оглядела их обоих и сразу поняла, к кому следует обращаться.

— У вас нет папиросы? — спросила она у Мани и улыбнулась. И сразу выкинулось из-за крыш солнце.

— Есть!! — сипло рявкнул Маня, и штормтрап за скрипел и закачался под тяжестью его массивного тела. Наверху он схватился одной лапой за стойку перил, а другой стал обшаривать карманы своей робы.

Шаталов намеренно помедлил и наконец сказал невозмутимым тоном:

— Они в шлюпке, а не у тебя в карманах. Они лежат в корме позади заспинной доски, под флагом, твои папиросы.

Девушка заглянула Мане в глаза и сказала:

— Вы очень хорошо лазаете по этим веревкам, прямо как обезьяна!

— Он еще не то умеет, — буркнул Шаталов, наблюдая, как Манька, обжигая ладони, рушится обратно в шлюпку.

Спустя неделю Маня невзначай сказал:

— Знаешь, Димка, я все не могу забыть. . . ну, ту — на Фонтанке. Мне, по правде говоря, хотелось бы ее еще разок увидеть. . .

— Сегодня же ты должен что-нибудь набедрокорить. Ну, пихни под ребро соседа в строю после команды «смирно», — посоветовал ему тогда Шаталов. — И вообще получай как можно больше нарядов вне очереди. И старайся заступать дневалить возле шлюпок. Она живет там где-то рядом. И, поверь моему опыту, все будет в порядке.

— Ты думаешь? — спросил Маня задумчиво. Он все всегда понимал буквально и на вечерней проверке, когда комроты зачитывал приказ, взял и ни с того ни с се-

го пихнул под ребро стоящего впереди курсанта. И не отходя от кассы, заработал пять нарядов вне очереди.

Интеграл сказал ему по этому поводу:

— Маня, ты уважать себя заставил и лучше выдумать не мог.

А флегматичный Пашка добавил:

— Но твой пример — другим наука. . .

После каждого дневальства Маня честно рассказывал новости. Как однажды увидел ее в окне четвертого этажа, как пронюхал номер квартиры. . . И наконец Ольга сама подошла к Фонтанке, поставила стройную ногу на перекладину перил и, покачивая туфелькой над похолодевшим Маней, сказала:

— Вы не мальчик, а я не девочка. Правда?

— Так точно, — сказал Маня.

— Вы очень добрый, неловкий и вообще хороший человек, да?

— Да, — смиренно согласился Маня.

— Ну, вот. . . Я так и знала. Вылезайте сюда наверх и поговорим.

Он, конечно, вылез, хотя дневальным у шлюпок вылезать наверх запрещалось.

— Я люблю, — сказала она спокойно. — И я счастлива. . . И не смотрите больше на мои окна так подолгу, иначе кто-нибудь украдет все ваши лодки, а вас засадят в кутузку.

— Хорошо, я не буду больше смотреть, — ответил Маня. — Я ни на что и не рассчитывал. Я, по правде говоря, только хотел бы иногда быть вам полезным. . . Вот только и всего. . .

— Спасибо. Я это запомню, — сказала Ольга.



Так они познакомились. И скоро отношения их стали сложными и для Мани болезненными, но в то время он, Шаталов, был слишком молод и глуп и любил острить по всякому поводу и без повода, чтобы понять это. Теперь он острит меньше. Он стал серьезнее и грустнее. Он, между прочим, понял, что отношения с женщиной требуют большого душевного напряжения. Женщины любят усложнять и запутывать жизнь, умеют будить в людях жалость к себе, а потом пользуются этим...

Закончив бритье, Шаталов попудрил ободранный кадык, оделся и поехал к Ольге, хотя от промозглой сырости на улице его прохватывала дрожь.

Знакомый облупившийся дом на Фонташке. Четвертый этаж. Шаталов дал три длинных звонка. Это по азбуке Морзе — буква «О». Когда-то Ольга знала морзянку и мечтала о кораблях.

Открыла она:

— Разве можно так трезвонить в коммунальных квартирах. Ты все остаешься прежним. . .

— Я сперва хотел выбить «СОС», но шесть точек и три тире действительно многовато. — Он несколько потерялся. Когда люди долго не видятся, они отвыкают друг от друга. И как-то странно говорить «ты» тридцатилетней женщине, которая разглядывает тебя насмешливыми глазами.

— Дима, это глупо, но я волновалась, ожидая тебя. . . А где погоны? Демобилизовался. . . Сейчас многие демобилизуются. Ну, проходи в комнату.

Он вошел. В комнате с высоким потолком, со старинной неуклюжей мебелью ничего не изменилось. И на книжном шкафу все так же сидел бронзовый Будда.

Осмотревшись, Шаталов сунул кулаки в карманы и сказал, сразу переходя к делу:

— Манька лежит в дрейфе. Надо запросить, что с ним случилось.

— Плохо, что мы находим друг друга только тогда, когда дела наши швах, — сказала Ольга. — Садись, человек дальних плаваний, рассказывай подробнее. . .

Он вытащил телеграмму, положил на стол:

— Это все, что я знаю. Я четыре года его не видел.

Она не сразу взяла бланк.

— Отчего так хрипишь? Простыл? Железный вы народ, моряки. . . Да, пахнет от тебя. . . как это говорят романисты? «Йодистым запахом водорослей». . . — она насмешничала привычно, без напряжения. Но Ша-



талову показалось, что ей совсем не хочется сейчас шутить и насмешничать.

— От долгих разлук люди вообще чужеют, но в чем-то начинают относиться друг к другу проще и лучше, — ты не согласен? — спросила она, закури-
вая сигарету.

Он не согласился, и она наконец взяла телеграмму.

Потом забралась на стул с ногами, обтянула на коленях юбку и рассмеялась, как только развернула бланк.

— Эти «течека» и «зепете»! Весь Маня здесь!

— Да, — сказал Шаталов. Он начинал почему-то злиться.

Он давно не видел женщин, и Ольга сейчас волновала его. И ее губы, и обтянутые юбкой ноги, и красные бусы, которые скользнули за воротничок белой кофточки. . . Ему вдруг стало совестно от такой своей тонкой наблюдательности перед Манькой и вообще. Зачем он сюда поехал? Что она может объяснить и чем помочь?

— Маня влюбился, — все улыбаясь, сказала Ольга и щелчком перекинула Шаталову телеграмму. — Уверю тебя. Я рада. Ему давно пора выкинуть из головы такую дрянную женщину, как я.

— Успокойся, он тебя давным-давно выкинул, — сказал Шаталов и добавил, подумав: — Я не подозревал, что с возрастом ты станешь самокритичнее. . .

Ольга прошлась по комнате, заговорила без улыбки:

— Ты еще многого не знаешь. Боже, как медленно вы взрослеете! Плаваете по морям, тонете, воюете, командуете пароходами — и все мальчишки. А спроси вас, что такое жизнь? Понятия не имеете. И у вас насморк, и вам надо поставить горчичники. . . И руки у тебя грязные. Иди в кухню, помой их. Тогда дам выпить.

Шаталов невольно протянул руки ближе к свету и, повертев кистями, сказал:

— Чистые совсем. Все ты врешь.

— А ногти?

— Ногти! Тебе бы вот повытаскивать сети с селедкой из океана! «Мальчишки»! Это и не грязь вовсе!

— Ты. . . рыбак? Ловишь рыбу?

Ему вдруг захотелось что-нибудь соврать про себя,

выдумать что-нибудь красивое и удачливое, но на это не было времени.

— Рыбак? Нет, что ты! Я плаваю в тропиках. Как у Грина и Паустовского. . . Пальмы, солнце и женщины, смуглые, как ананасы, бегают вокруг по волнам, — он невесело хихикнул и все-таки пошел в кухню.

Слова Ольги про мальчишек и их незнание жизни звучали как-то судорожно. Ей надо было дать время успокоиться. И он намеренно долго мыл руки и думал о том, почему в комнате не видно следов мужчины: ведь Ольга замужем. Она любила этого своего будущего мужа еще со студенческих времен. А он, кажется, не любил ее всерьез. Хотя, может, и любил. Здесь сразу не разберешься. Но что-то он натворил, уехал, они расстались. И Ольга совсем сходила с ума, на нее смотреть было страшно, и она чуть было не наделала глупостей, но он передумал, и они поженились.

Когда Шаталов вернулся, на столе стоял графинчик и лежала всякая еда.

— А я не догадался чего-нибудь купить, — сказал Шаталов.

— Не будь ханжой! Если во мне есть что-то хорошее, так это отсутствие ханжества. — Она пилила батон хлебной пилой, волосы лезли ей на глаза, и вид был сердитый. — А тебе невесело живется, судя по анасам. . .

— Дай наконец полотенце, — миролюбиво попросил Шаталов. — И потом мы всё уходим от главной темы. Может, Манька сейчас концы отдаст.

Ольга не ответила. Она сама налила рюмки, потом чокнулась с Шаталовым; помедлила и звонко чокнулась с графинчиком, сказала:

— Пускай это будет он. Он сегодня с нами.

— Пускай, — сказал Шаталов.

— Я каждый год получаю две телеграммы — на день рождения и на Новый год. И всегда с «течека» и «зепете». Но сейчас я, по правде говоря. . . — здесь она не выдержала и засмеялась. — Помнишь эти его бесконечные «по правде говоря»?

— Да, — сказал Шаталов.

Наступила пауза. Шаталов подумал, что Ольга ровным счетом ничегошеньки не знает про Маню. Ей хочется повспоминать прошлое, молодость. Поэтому она, наверное, и позвала его.

— Где твой муж?

— Где? Не знаю. Давно уже не знаю. Ты удовлетворен?

— Я? Да. Я рад. Мне всегда было обидно за Маню. И, если хочешь, за тебя тоже.

— Оставим это. . . А что ребята? Володя Кузнецов, Паша, Слава?

— Раскидало всех по разным флотам, — сказал Шаталов. — У тебя нет горчицы? Когда насморк, колбаса кажется овсяной кашей.

— И это все, что ты можешь мне сказать про друзей?

— Ну, Интеграл удачно атаковал Пашкину подлодку на учениях. . . Ну, это тебе интересно? А больше я ничего не знаю.

Он на самом деле больше ничего не знал. После демобилизации все дальше и дальше отходил от ребят. Сняв погоны, он утратил право знать то, что знали они. Это было обидно. И потом все время казалось, что ребята считают его закоренелым неудачником, жалеют. От этого делалось как-то стыдно и неприятно. Нашлась еще одна причина: когда морской офицер попадает в Ле-

нинград в отпуск, у него всегда есть деньги. А у Шаталова с деньгами случались перебои. Веселиться за чужой счет он не любил. Может, все это было мелко и глупо, но так. . . Друзья двигались вперед по жизни, и он считал, что не следует путаться у них под ногами. Даже по отношению к Мане он вел себя безобразно: перестал отвечать на письма.

— Ну, ну! — сказала Ольга. — От твоих рассказов першит в ушах. Ты стал таким же занудным, как и Маня.

— Манька не зануда.

— Маня — человек примитивно простых целей, — задумчиво сказала Ольга. — Он ограничен. Он добр, но духовно ограничен. «Надо уметь хорошо стрелять», «нельзя жениться на женщине, если она тебя не любит до сумасшествия», — все это правильно, но сегодняшний мир сложен и запутан. . .

— Хорошая горчица, — пробормотал Шаталов, затягивая ответ. В ее словах была какая-то правда. Манька не был способен на порывы и отвлечения в сторону от основной своей линии. Но это как раз и помогало ему. Однако последовательности у Маньки было чересчур. И это было скучно.

— Не тебе судить его, — сказал Шаталов, наполняя рюмки. В голове уже приятно шумело, ломота и боль в костях ослабели. И, в конце концов, сидеть за столом с красивой женщиной — это очень приятно после разных дрифтеров, кухтылей, ваеров и селедки.

— Я не сужу, — Ольга махнула рукой, отгоняя от лица дым сигареты. — Я убеждена только, что и эта его телеграмма — какая-нибудь чепуха.

— Ты, сложная натура, очень увяла за то время, что мы не виделись, — сказал Шаталов осторожно.

— Может быть, — равнодушно ответила она, накручивая на палец бусы. — А в то, что он выбросил меня из головы, я не верю. Маня может решить, что гражданский долг мужчины — завести семью и троих детей. И он женится и перевыполнит план — вырастит пятерых. Но меня он не забудет никогда. Давай-ка еще.

— Я налью. Ты сиди, — тихонько сказал Шаталов.

Он взял графин и почему-то вспомнил зимнюю штормовую Атлантику, совершенно ровные по величине, огромные валы с дымящимися вершинами, тяжелые, неотвратимо накатывающиеся на траулер; стремительный кивок мачт навстречу каждому из них и лицо мастера по рыбодобыче Ершинина с выбитыми зубами, с напряженной ухмылкой на плоских растрескавшихся губах: «Держись, паря! Все на свете корытом крыто!» И от этого воспоминания, от того, что он никогда больше не увидит ни этих валов, ни кивка мачт, ни полос сдутой ветром пены, ни ухмылки Ершинина, Шаталову стало горько и обидно.

Он аккуратно поставил графин на стол, сказал:

— Держись, Оля, все на свете... — он вовремя удержался.

Она с притворной небрежностью махнула рукой, попросила:

— Знаешь, ты выйди, а я форточку открою... Душно очень, закурили мы с тобой... А ты простужен...

«Пожалуй, — думал он, расхаживая по коридору, — мы с ней чересчур быстро понимаем друг друга. В чем-то мы похожи. Но усталости у меня нет. Все неприятности в моей жизни происходят только от самого меня и касаются — лупят — только по мне одному... А Ольга странная женщина. Она, очевидно, из тех, для кого

любовь — счастливая или несчастная — это самое главное в жизни. . . Как плохо, что в момент встречи с Маней она любила другого. Если бы не это. . . Вот что я сделаю: измерю этот коридор шагами. И если число шагов четное, то завтра я еду в Управление и выкупаю две тысячи рублей в счет окончательной оплаты. Потом я вылетаю в Москву, а оттуда проще выбираться дальше. Послезавтра я в Хабаровске. Противная вещь — эти посадки. Уши болят и даже тошнит. И ноги крутишь, вертишь. . . Да, самолет — противная вещь. . .»

Чтобы не обманывать самого себя, он зажмурился и пошел по коридору, вытянув вперед руки. На семнадцатом шаге руки уперлись в стенку. Он сделал восемнадцатый, коснулся стенки носом и решил, что судьба сказала свое слово. Но и без этого слова он чувствовал, как что-то уплотнилось, утрамбовалось внутри. И теперь появилось нетерпение: «Надо ехать к Мане. Надо. Зря он не позовет. Надо!»

Вероятно, когда кружится голова, легче совершать нелепые поступки.

Шаталов вернулся в комнату, ощутил прохладную свежесть воздуха, глубоко вздохнул, и вдруг понял, что в самом деле пришла весна.

— Весна! — сказал он. — Утром меня вез один шофер. . . И вот он так радовался весне, а я его обозвал дураком. . . Стыдно даже вспоминать. . . Неважно мне, Оля, последнее время. Очень. Не повезло мне.

— Я вижу, — кивнула она. — А к Мане ты полетишь?

— Да. Мне это нетрудно. . . Маяков я в своей жизни не зажег, но с якорей научился сниматься легко и быстро.

Она помолчала и вдруг засмеялась, подошла к нему, положила руки на плечи:

— Это глупо — то, что ты решил лететь, но в чем-то хорошо для тебя самого. А еще... еще мне тебя жаль, Димка. Не потому, что летишь, нет. Просто так... — Она нагнулась и поцеловала его в щеку.

— Как только раздобуду валюту, махну в столицу, — хриловато сказал он и встал со стула. — Прямых билетов нет на Хабаровск. И не будет до четверга. А про жалость не смей больше говорить — за волосы отта-скаю...

— Мальчишка! — сказала она. — Обыкновенный мальчишка. Сиди и жди меня. Мне надо сейчас уехать, а ты меня жди до любого часа. Будешь ждать?

— Буду, — послушно сказал он.

Она быстро собралась и ушла, а Шаталов подсел к окошку и стал глядеть вниз на отблески фонарей в черных полыньях Фонтанки, на отвалы грязного снега вдоль набережных. Знакомые сфинксы лежали теперь по углам нового, широкого моста. Через мост шли трамваи и показывали Шаталову длинные, гибкие спины, и роняли в ночь синие вспышки. От шума трамваев и грузовиков стекла в окнах подрагивали.

Раньше, когда моста здесь не было, возле дома Ольги стояла тишина. Пахло старым Петербургом и морем. И об этом всегда думалось на ночной вахте у шлюпок.

Шаталов вспомнил первый приход к Ольге. Манька один идти боялся и пригласил с собой его и Интеграла. Они отправились — чистенькие, надраенные до ослепительного блеска курсантики.

Пришли, постояли возле закрытых дверей и ушли — Ольги не оказалось дома, хотя время назначила сама.

На улице Интеграл сказал, как всегда, чужими сти-
хами и очень многозначительно:

— Умолкнул бес. Мария в тишине коварному вни-
мала сатане!

Вероятно, он и сам не знал, почему вдруг ляпнул
такое двустипшие, но Маня весь передернулся и закосил
глазами. Шаталов первый раз увидел своего друга
в бешенстве. Интеграл оказался на волосок от той ско-
вородки, которая ожидает его в аду. Шаталов прыгнул
тогда на Маню, обхватил за шею и повис, поджав но-
ги. Только поэтому Манин кулак не дошел до цели.

Минут через пять Маня пришел в себя и смог нако-
нец говорить.

— Прости, Вова, пожалуйста... — сказал Маня. —
Я понимаю, что ты не хотел ничего плохого про нее...
Но не надо больше шутить.

... Как Манька мечтал ходить в отпуске целый
месяц подряд вот по этой мокрой набережной Фонтан-
ки, под этими окнами! И каждый отпуск уезжал то
в Среднюю Азию, то в Сибирь. Он искал братишку.

Отец Мани умер еще до войны в тюрьме, куда уго-
дил за кражу. Мать погибла при бомбежке, когда они
бежали из горящего Смоленска. Она завещала Мане
разыскать младшего брата Федьку. Федька пропал в су-
мятице эвакуации. И Маня много-много лет искал его.
Маня неколебимо верил в то, что Федька жив. И нуж-
но было во что бы то ни стало выполнить последнюю
волю матери. И он нашел. Где-то в Караганде, в детдоме.
И привез Федьку в Ленинград, в Суворовское училище.

— Вот видите, — с гордостью сказал Маня, пред-
ставляя Ольге и Шаталову веснушчатого робкого па-

ренька, и ласково постукал по его стриженной голове кулаком. — Вот видите, я и сколотил себе семью. Теперь мне не надо никуда ездить.

— Очень рада за тебя, — рассеянно сказала Ольга.

Они заканчивали тогда третий курс, а она — университет по географическому факультету. Ее дела были совсем плохи. Человек, которого она любила, уехал и ее бросил. Она похудела, повзрослела и начала курить. И теперь стреляла папиросы уже для себя, потому что у студентов всегда нет денег и нет табаку. А она еще осталась без стипендии, но все равно ни черта не делала. Не могла она тогда заниматься, часто плакала. А когда к ней приходил Маня, смеялась над ним. Смеялась бездумно, но зло. Ей надо было на ком-то вымещать свое горе, что ли. А Маня так терпеливо все сносил и все прощал! И это еще больше раздражало Ольгу. Каждое увольнение Маня сопровождал ее в Филармонию. Это Манька, который непробудно засыпал от любой музыки, кроме джаза! Да и джаз должен был греметь на всю железку. Но Мане было необходимо видеть Ольгу хотя бы раз в неделю. Для этого он был готов на все.

Но вот как-то перед самым отъездом на практику, когда каждый час увольнения особенно дорог, Маня вдруг возвратился из города раньше срока.

Шаталов изучал денежный фетишизм, греясь на весеннем солнышке во дворе училища, — готовился к сдаче политэкономии. Рядом — вдоль забора — расхаживал часовой, тоскливо глядя на воскресную улицу, и напевал песенку:

Сегодня воскресенье,
Будет увольнение,
Мама будет целый день с тобой. . .

Изредка он останавливался и бросал кирпичи в крысу. Она все хотела пролезть под дверь овощного склада.

И вдруг в эту скучную жизнь вернулся из города Маня. Он медленно подошел к Шаталову, сел рядом и отцепил от пояса палаш.

— Почему ты разоружаешься, дружище? — спросил Шаталов, разглядывая его грустную физиономию.

Маня засопел и вытащил палаш из ножен.

— Сегодня произошло событие чрезвычайной важности, — сказал он и проткнул палашом консервную банку. — Оля предложила мне выйти за нее замуж. То есть, по правде говоря, жениться. Она все назвала своими именами, — ровным, но безжизненным голосом продолжал Маня. — Ей все одно — я или колонна Фондовой биржи. Ей надо так отомстить. И точка. Я этого не понимаю, но...

— Н-н-да, — сказал Шаталов, закрывая конспект с денежным фетишизмом.

Маня ухватил Шаталова за ногу повыше ботинка и подтянул вплотную к себе.

— Зачем ты это делаешь? — машинально спросил Шаталов.

— Мне плохо сейчас. И Оле плохо. И я хочу чувствовать тебя поближе, потому что ты — мой друг.

Шаталов молчал. Он не знал, что тут надо советовать и говорить.

Часовой все ходил и пел свою идиотскую песенку.

Припелся Интеграл, сдернул с Маниного палаша консервную банку, шмякнул ее об забор, пробормотал:

— Буря жиреет на якоре, ребятишки.

Он совсем рехнулся от экзаменационной долбежки.

Он еще постоял немножко и, укоризненно покачивая длинной головой, спросил:

— Чем пахнет ваш горизонт, старики? — Сам себе ответил: — Дурно пахнет.

Маня дождался, пока Интеграл ушел. Потом сказал:

— Дима, я знаю: тебе трудно советовать мне. Есть положения, когда мужчина должен все решать сам. И я решил. Она, я думаю, поступает неправильно, слабо и некрасиво. Я решил отказаться. И прошу тебя только об одном: сходи сейчас к ней и скажи об этом. Она ждет. Я не могу сам. Я боюсь согласиться.

— Меня не уволят: списки давно поданы, а комроты уехал домой.

— Все это не имеет значения, — сказал Маня холодно. — Нужно, чтобы ты шел. И сразу. Она ждет. И ей плохо ждать.

Маня никогда не думал о себе, если что-нибудь для кого-нибудь делал. И просить для себя он умел так же честно и прямо.

— Добро, — сказал Шаталов. За самовольную отлучку ему полагалось двадцать суток ареста с пребыванием на гарнизонной гауптвахте. Но Маня был его друг. И Маня все понимал не хуже его, но считал это в данном случае пустяком, значит, так и было.

Шаталов дождался, когда часовой опять начал швырять кирпичи в крысу, и махнул через забор, — под арест, так под арест.

Ольга все поняла, как только увидела его вместо Мани.

— Боже, как все это глупо! Боже, как все это глупо! — твердила она. . .

Самоволка тогда прошла удачно: патрули в городе его не задержали, а начальство не успело хватиться. . .

Через несколько дней они уезжали на практику, но Ольга проводить не пришла.

Роты стояли в строю на набережной Невы. У бочек посреди реки их ожидали корабли. Маня отправлялся на минный заградитель «Алтай», а Шаталов на учебный корабль «Комсомолец».

Впервые они расставались надолго — на три месяца. И встретиться теперь должны были только после окончания практики, в Ленинграде, в отпуску...

Время приближалось к полночи.

Шаталову наскучило смотреть на Фонтанку. Он полистал книги и журналы по географии, потом подошел к статуэтке Будды, пожал все шесть рук азиатского бога, спросил:

— А где у конца начало, ты знаешь, старина?

Будда не отвечал. Только чуть заметно улыбался умным, недобрим, загадочным лицом.

Шаталову стало немножко жутко, и он обозвал Будду селедкой. Потом прилег на диван и сам не заметил, как задремал.

— Ты болен. И уже очень поздно — я задержалась, — сказала Ольга, растормошив его. — Я тебя уложу здесь же на диване. Но сперва поставлю тебе горчишки. И ты будешь их у меня держать как миленький, хотя мужчины терпеть не могут горчицу, когда она падает к ним на спину, а не на язык...

— Давай, — сонно пробурчал Шаталов. Ему совсем не хотелось отнекиваться и по холоду ехать домой. — Давай, мажь меня горчицей, хотя ты и глупая совсем женщина, потому что упустила Маньку. Правда, ты теперь стала как-то лучше — добрее и симпатичнее.

— Я тебе покажу свою доброту! — сказала Ольга. Горчичники оказались свирепыми, а Ольга ходила вокруг и следила за Шаталовым, чтобы он не отрывал спину от дивана. Она включила приемник и музыкой заглушала его стоны и жалобы.

— Лежи, голубчик. Лежи, герой. Лежи, морской лев, — говорила она монотонно и давала Шаталову курить только из своих рук. Потом смазала его спину вазелином, и он уснул, а проснулся, когда позднее утро светило в окно.

Комната была пуста. Рядом с диваном на стуле стоял будильник и звонил. Под будильником лежала записка, а рядом — деньги.

Ольга написала: «Ты ужасно хранишь. Билет на самолет до Хабаровска будет оставлен для тебя прямо в кассе аэропорта. (Вот что значит улыбка красивой женщины!) Отправление в 13.40. Ты успеешь съездить за зубной щеткой и др. манатками домой. Деньги вернешь, если сам вернешься от этого зверя живым. А ему скажи, что одно из лучших воспоминаний Ольги за всю ее паршивую жизнь — это то, как темнели у Мани глаза от нежности к ней. И Ольга будет помнить об этом всегда.

Я ушла учить детишек географии. Запри комнату и ключ положи у дверей в черную ботину».

Шаталов не стал ездить домой. Зубную щетку можно было купить в любом киоске. А больше ему ничего не было нужно.

Он еще повалялся на диване, прислушиваясь к боли в костях; тщательно взгляделся в мелкий, уверенный почерк Ольги и подумал, что, вероятно, не очень легко школьной учительнице в один вечер собрать две тысячи рублей. У нее есть друзья, если она смогла это. . . Да,

наверное, есть. Но позови сейчас Манька, и Ольга, пожалуйста, откликнется на зов... А может, и нет. Черт их, женщин, разберет. А записку следует доставить Мане в целостности и сохранности... Оказывается, у этого типа от нежности умеют темнеть глаза.

Настроение было какое-то непонятное, неустойчивое, но в душе оттаяло. Той пустоты внутри, с которой Шаталов шагал от Рыбного порта к автобусу, той бесприсветности теперь не было.

4

И вот перекосясь и пошел кругами горизонт — самолет заложил прощальный вираж над городскими окраинами.

Шаталов поерзал в кресле, устраивая ноги поудобнее.

Опять его куда-то понесла нелегкая. Он спешит к Мане. «Приезжай немедленно. Я в дрейфе». Подожди еще сутки, старик. Скоро Димка пожмет твою огромную жесткую лапу и на ночь почешет между лопатками. Ведь ты это так любишь, сукин ты сын, подводная ты душа, грозный корсар морских глубин...

В Москве при смене самолета выяснилось, что дальше Шаталов должен лететь на ТУ. Это был еще один сюрприз Ольги.

Солнце блестело на крыльях машины. Улыбались бортпроводницы. Пассажиры листали журналы. Самолет мчался вперед, но в мыслях Шаталов все возвращался назад. Он летел выручать из какой-то беды друга своей юности. И будто сама юность за это вернулась к нему, и вот она — рядом.

Подремывая на высоте восьми километров, Шаталов вдруг улыбался, вспомнив привычку Мани стучать кулаком по всему на свете. И видел его лицо — тяжелые, твердые щеки, широченный лоб и добрые маленькие глаза под едва заметными бровями. . .

Маня еще на первом курсе решил стать подводником и писал об этом рапорт за рапортом.

Они понимали уже тогда, что в будущей войне, если она все-таки начнется, подводная лодка, вооруженная ракетой, станет решающей боевой силой на море. И Манька сразу решил держать в своих руках главное оружие. А Шаталову хотелось, кроме службы, еще морского простора, и волн, и свежего ветра, и горизонта — чистого и ясного, а не иссеченного делениями на перископном стекле. Он любил море, а не духоту в отсеках. . .

О Маньке все время думалось только самое хорошее. И поэтому вспомнилась последняя, проведенная в разлуке с ним, летняя практика, когда Ольга не пришла их проводить. И то, как уже перед самыми зачетными стрельбами он получил сообщение о смерти отца. Отец умер совсем неожиданно, далеко на севере, в командировке. И его смерть потрясла Шаталова. И очень еще мучило то, что хоронили отца чужие, равнодушные люди. И сразу, как с нами бывает, он вдруг понял, что часто обижал отца, не отвечал на его письма, редко находил время для встреч и не до конца ценил в старике великолепные человеческие качества — доброту и душевную честность, например.

Он не мог удержаться и плакал ночами, уткнув лицо в жесткий пробковый матрац подвесной койки.

Но служба есть служба. Звенели на корабле сигналы тревог и авралов, наступали сроки очередных вахт и

дежурств, зачетов и зачетных артиллерийских стрельб. Ребята волновались, ожидая эти стрельбы. Завалить их означало на две недели задержаться на практике вместо отпуска. Шаталов не волновался. Он отупел от горя. Он с треском завалил стрельбы. Никогда в жизни ему не было так плохо, как тогда. Если б рядом был Маня!

И вот «Комсомолец» вернулся в Кронштадт и стоит на рейде.

В кубриках — гвалт и хохот. Ребята пришивают на рукава черные курсовые знаки, собирают вещи, чистятся. Сейчас подойдет десантная баржа и повезет их в Ленинград. Может, уже сегодня они получают отпускные билеты и уйдут за КПП училища.

А двоечников — человек пять. Они лежат на койках, тусклые, как не чищенная год бляха. Шаталову кажется, что весь мир вокруг — серая вата.

В кубрике становится все тише и тише. Ребята поднимаются на палубу. Слышно, как трутся снаружи по борту кранцы — это швартуется баржа. Помощник дежурного по кораблю заглядывает в люк:

— Курсант Шаталов!

Шаталов вздрагивает: вдруг что-нибудь изменилось?

— Есть!

— Заступаете сегодня дежурным по камбузу!

— Есть...

Тоска достигает предела. Шаталов сует в рот завязку от наволочки и начинает ее жевать. За иллюминатором плещется равнодушная вода, крутится размокший окурок, все не может потонуть. Потом тонет... И вдруг:

— Димка, ты тут? Черт, темно как... по правде говоря...

— Маня?! — орет Шаталов. — Маня, это ты?!

— Ага. Я.

Он уже возле самой койки. Его хочется обнять, стукнуть по спине, но все это совершенно ни к чему.

— Заступаю вот сегодня по камбузу, — говорит Шаталов так, будто они расстались вчера. — Схватил пару по стрельбе.

— Ага. Я знаю, — говорит Маня. Он скидывает с плеча вещмешок. — Эта койка свободна?

— Да, а ты какими судьбами сюда?

— На барже, — говорит Маня и кидает бушлат поверх мешка.

— Почему?

— Тоже прихватил гуся.

— За что?

— Тоже за стрельбу. Никак, по правде говоря, не мог пристреляться. И погода была плохая... Вот и...

Он не умеет врать, этот Манька. Совершенно не умеет. Весь последний курс он стрелял в кабинете лучше всех, а теперь не смог пристреляться!

— Лешка! — говорит Шаталов, от полноты чувств называя Маню его настоящим именем. — Ты всегда был большой дубиной... Неужели ты узнал, что я остаюсь, и специально отстрелялся плохо?!

Ночь. Штиль. «Комсомолец» не шелохнется. Палубы пустыньны. Только с мостика доносится кашель вахтенного офицера. На востоке — там, где Ленинград, — небо подсвечено городскими фонарями и будто дрожит.

Они с Маней сидят на полубаке, курят.

— Чем дальше от войны, тем слабее махорку делают, — говорит один.

— А помнишь, раньше была в красных пачках и черных, — говорит другой. — В красных — крепкая; в черных — дрянь.

— Только не сами пачки были красные, а надписи на них: «Тютюнтрест».

— Ага. . .

Так они беседуют. Но больше молчат. Просто сидят и смотрят на темное море, тлеющее на востоке небо, близкие огоньки Кронштадта.

— Ольга, наверное, не спит. . . — говорит Шаталов. — Зря ты такое выкинул. И так она уже три месяца одна в Питере. Теперь еще четырнадцать суток. . .

— Нет. Она спит, — грустно говорит Маня и еще что-то бормочет про себя.

— Чего ты там бурчишь?

— Понимаешь, — говорит Маня своим неторопливым, убежденным голосом, — мужская дружба — не меньше, чем любовь к женщине. Тебе плохо, и Оле тоже, конечно, плохо. Но человек должен сам решать свою судьбу. Нельзя помогать людям, когда они должны решать что-то сами. А тебе я могу помочь: хотя бы вместе потренируемся в стрельбе.

Звенит четвертая склянка.

Они спускаются в кубрик. Тусклым синим огнем светит дежурная лампочка. Шаталов чешет Мане спину, изуродованную штыком. Маня доволен. Еще немного — и замурлыкает, как большущий добродушный кот.

— Хватит, — говорит Шаталов. Ему вставать очень рано — из-за камбузного дежурства. — Хорошенького понемножку.

Уже сквозь дрему он слышит:

— Димка?

— А?

— Ты здесь?
— Здесь...
— Это хорошо, Дима... Я соскучился по тебе на этом «Алтае»...

Где-то в машине стучит движок, подрагивает в такт ему койка. Всплескивает за бортом близкая волна...

Они на чистые пятерки перестреляли стрельбу. Они разнесли прямыми попаданиями три мачты на щите. Командир корабля пожал им руки и сказал:

— Это все вранье, что артиллерия бог войны. Ведь люди управляют огнем. Люди управляют огнем! — повторил он, подняв палец. — Вы свободны, товарищи курсанты, веселого вам отпуска!

Но отпуск оказался грустным. Ольга уехала. Она не оставила Мане даже адреса...

С началом учебного года пришел приказ о переводе Мани в специальное училище подводного плавания. Он добился своего. Но теперь должен был уезжать в другой, далекий город.

Они прощались на плацу, во время строевых занятий, — роты готовились к параду.

Взгрустнулось всем ребятам.

— Вчера еще маяк горел, сегодня слеп и он, — пробормотал Володька-Интеграл, неловко чмокая Маню в шею.

— Да, да... Обязательно, — почему-то сказал на это Маня. Потом он понял, что говорит не то, и поправился: — Спасибо, Вова, мне всегда нравились ранние стихи Николая Тихонова. Спасибо, ребята, за все. Вы сами не знаете, какие вы все... Сами не знаете...

— Когда станешь подводником, жри меньше, а то

не удифферентуешь лодку, — сказал Пашка. Он всегда шутил грубо, когда боялся показать свои настоящие чувства.

— Хорошо, обязательно, — пообещал Маня. Он так и не научился понимать шутки.

Заиграл на плацу горнист, раздалась команда строиться. Ребята побежали к козлам за винтовками.

— Дмитрий, — сказал Маня. — Если тебе будет плохо, если тебя кто обидит несправедливо, пошли мне телеграммку? Пообещай мне это!

Шаталов пообещал.

— Наша дружба — лучшее в нас, — твердо сказал Маня. — Это помнить надо всегда... Вернется Оля, скажи ей, что я любил ее, как святыню... Я употребил сейчас религиозный термин, но это неважно... Я желаю тебе успехов в боевой и политической подготовке...

— Спасибо, Маня, — сказал Шаталов. — Желаю тебе того же...

Было очень трудно говорить, открывать рот. Он махнул рукой и побежал догонять уходящую роту. Звякали подковы тяжелых рабочих ботинок по мокрым булыжникам, и все хотелось еще сильнее гроыхать и бить ими...

5

ТУ летел на Восток. Бесконечные просторы России сжимались в короткие трамвайные остановки.

На аэродроме в Омске лежал еще не тронутый теплом снег.

В Иркутске морозный туман с Ангары развешивал по деревьям и проводам сибирский иней — куржак.

А в Хабаровске падал из низких туч такой же, как в Ленинграде, то ли дождь, то ли снег. Здесь Шаталов расставался с ТУ и делал еще одну пересадку.

Нетерпеливо ожидая самолета, Шаталов расхаживал по залам аэропорта и смотрел картины с дальневосточными пейзажами.

Задержка злила. Тревожно перестукивало сердце.

Уже перед самым отлетом он встретил знакомого майора-интенданта. Разговорились. Шаталов спросил про Маню. Оказалось, что майор не так давно видел его в штабе флота. Маньке в торжественной обстановке вручали погоны капитана третьего ранга. Он досрочно заработал их, командуя испытательной лодкой с новым типом двигателя. Но выглядел Маня каким-то невеселым, а на предложение сходить в ресторан и отметить случившееся ответил отказом.

— В ресторане надо пить водку, — сказал Маня. — А у меня, по правде говоря, соглашение с экипажем. Мы все решили откликнуться на призыв и ничего никогда не пить спиртного на берегу. Весь личный состав держится стойко. Они, конечно, не узнают, если я сейчас выпью рюмку, но мне не хочется их обманывать...

Рассказывая о Маньке, майор хохотал так громко и неудержимо, что на них стали оборачиваться люди.

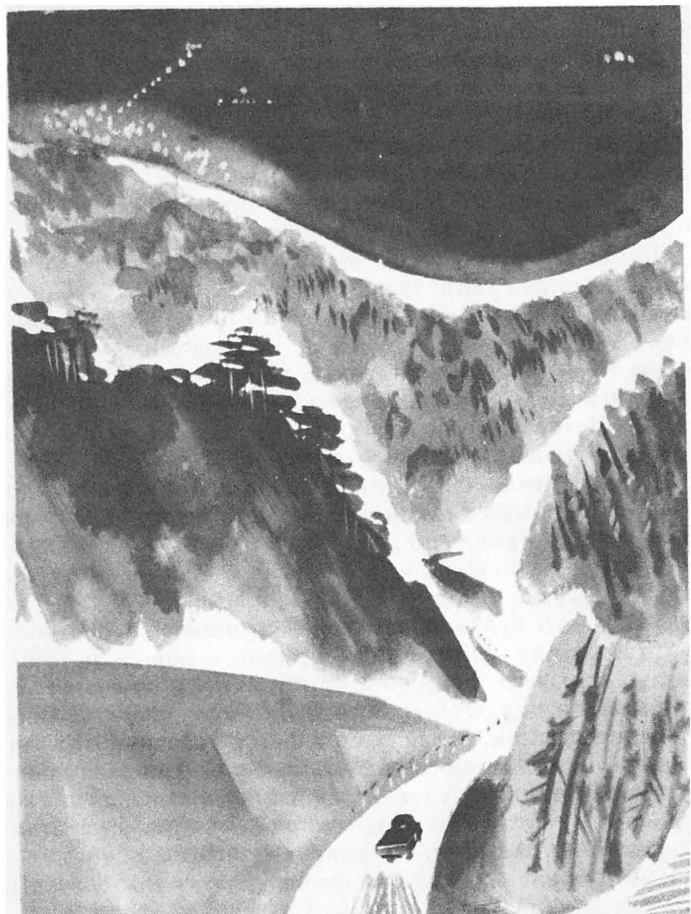
— Ты не слышал, может, он влюблен? — спросил Шаталов.

— Чего не знаю, того не знаю. Он мне не докладывал.

— А волосы у него как: растрепанные и висят на глаза или прилизаны?

— Кажется, тогда они висели.

— Значит, не влюблен, — сказал Шаталов. — Когда



он влюблен, то прилизывается каждый день... И, говоришь, грустный?

— Да, — сказал майор и опять расхохотался. — Станешь грустным, если решил до самой смерти в рот капли не брать!

— Ну ладно. Кончай трепаться, — сказал Шаталов. Ему было не до смеха.

В Н* он прилетел вечером, а последние сто километров добирался на попутной машине.

Сопки горбатились по бокам дороги. Шофер молчал и гнал машину. Шаталов обещал ему по два рубля за километр. Ветер свистал за стеклом окна. Кабина качалась. В сиденье ныли пружины. Изуродованные ветром сосны то подскакивали к самой дороге, то галопом поднимались на сопки. Шаталов курил папиросу за папиросой. Нетерпение переполняло его. В нетерпении и скорости пропали все свои тревоги.

Глухой ночью он вылез из машины на развилке дорог. Вокруг было пустынно и темно. Где-то, невидимое за сопками, шумело море.

— Иди на прибой, а потом огни увидишь, — сказал шофер и уехал.

Эхо долго бродило над дорогой, провожая машину.

Шаталов сунул кулаки в карманы и пошел, пережевывая мундштук погасшей папиросы. Он измотался и устал за поездку. От сырой шинели пахло медью. Но все это были пустяки. Он шагал широко и уверенно. И представлял физиономию Мани и то, как они сейчас обнимутся. И Манька будет грустный, чем-то обиженный в жизни, а поэтому еще более дорогой. Они выкрутятся! Вдвоем они обязательно выкрутятся из любой передряги. Держись, Маня! Остались последние минуты. Нет безвыходных положений. Вот так.

Прибой шумел все сильнее и ближе.

Едва заметные во мраке, молчали сопки. Потом они сразу кончились, будто свернулись и откатились назад, черные, колючие. И Шаталов ощутил на лице первую пощечину влажного морского ветра.

Внизу виднелась пригоршня огней, светлая полоска причала, темные силуэты кораблей. И от нарастающего радостного чувства Шаталов вдруг рассмеялся — громко, весело. Там, внизу, его ждал Маня.

У прохода на причалы матрос-часовой долго рассматривал, крутил и вертел его документы.

— Или вызывайте ко мне самого капитана третьего ранга, или проведите к дежурному по КПП, — попросил Шаталов.

— Сейчас уже три часа ночи, — вразумительно сказал часовой и нажал кнопку звонка. Через минуту пришел заспанный мичман — дежурный по КПП — и повел Шаталова к дежурному по дивизиону, на плавбазу.

Закачались под ногами доски сходней. Мокрые от ночной сырости поручни привычно заскользили под ладонью. Внизу, между бортом плавбазы и причалом, плескала стиснутая вода. Шипя вырывался где-то пар. Пресно пахло этим паром, горьковато — маслянистой сталью и еще чем-то неуловимо особенным — запахом военного корабля. Шаталов мог с закрытыми глазами, по запаху различить военный корабль и гражданское судно. И сейчас он подумал об этом.

Лейтенант — дежурный по дивизиону — мельком взглянул на документы, сказал:

— Знаю, знаю! Командир «стовосемнадцатой» уже

много дней ожидает вас. Но сейчас он отдыхает. Может, подождете до утра?

— Нет, — сказал Шаталов. — Я не буду ждать до утра.

— Тогда пройдемте. Его каюта по правому борту, номер пять.

— Я найду сам, спасибо, — сказал Шаталов. Лейтенант принимал его за совсем уж штатскую крысу. — Спокойного дежурства.

Шаталов вошел в каюту номер пять без стука и тихонько притворил за собой дверь. В каюте было темно. Только свет палубного фонаря слабо пробивался в иллюминатор. Шаталов прошел к столу, шаря перед собой руками, и осторожно опустился в кресло.

— Манька! И не стыдно тебе дрыхнуть? — спросил Шаталов растерянным шепотом. Ему почему-то не хотелось сразу будить Маню. Хотелось вот так посидеть еще, ощущая позади себя огромную дорогу, которая началась в Ленинграде — нет, еще раньше — в Северной Атлантике — и только что закончилась здесь. И теперь стоит протянуть руку, чтобы коснуться Маниного плеча.

Шаталов опять закурил и бросил спичку в умывальник. Она погасла не сразу. Слабое пламя отразилось в зеркале и медленно затухло. Над головой, по палубе мерно вышагивал вахтенный. Чуть слышно позвякивал ключ в двери — в такт дизель-динамо.

Шаталов сидел в темноте, не сняв шинели, даже не расстегнув ее, курил. Потом решительно поднялся, зажег настольную лампу, отдернул полог койки и сказал:

— Проснись, корсар, я прибыл!

Тяжелое тело стремительно развернулось на койке.

Упало в сторону, на пол одеяло. Манька вскочил, и они обнялись и неумело поцеловались. Очевидно, они достаточно помудрели и постарели, потому что ни тот ни другой не разыгрывали невозмутимость.

— Я знал, что ты прилетишь! Я знал! — бормотал Маня, стискивая шаталовские ребра так, что тот кричал. — Я убежден был: если ты жив, то прилетишь!

Они стояли посреди каюты плавбазы подводных лодок. Один в трусах, другой — в шинели. За бортом плескала близкая волна. За иллюминатором вспыхивал на далеком мысу маяк.

— Я знал! — твердил Маня.

— Перестань! — сказал Шаталов, оттянул резинку на трусах командира «стовосемнадцатой», а потом отпустил ее. Резинка щелкнула по животу Мани.

— Черт возьми! Это ты?! Ты! — говорил Маня и стучал кулаком по плечу друга.

— Говори, кому надо бить морду, кто тебя здесь обидел? — спросил Шаталов. — Вдвоем мы со всеми справимся!

— Меня? Обидел? Никто меня не обижал, — сказал Маня.

— Оденься, балда, — сказал Шаталов. — А потом расскажешь все по порядку.

— Это правильно, это я сейчас сделаю... Я тут Пашку встретил недели две назад... Передай-ка китель, он на кресле... Пашка к нам подлодку перегонял Северным путем, а потом я его встретил. И он рассказал, по правде говоря, про тебя, про то, как у тебя дела сложились...

— Я тебе все про себя объясню, а сперва скажи, что за дрейф, в котором ты лежишь? Что с тобой случилось?

— Ах, вот ты о чем?! Тебе причины нужны! А просто так, без причины ты бы ко мне прилетел? Если бы я тебя на праздник позвал?

— Праздник — тоже причина, — немножко растерянно сказал Шаталов, вглядываясь в лицо Мани. Высокий капитан третьего ранга, который тщательно застегивал китель, был сейчас совсем не похож на прежнего Маньку. Он погрузнел, лицо потвердело. Флотские погоны рядом с этим лицом не казались нелепыми и странными, как было когда-то.

— А совсем без причин? — спросил Маня.

— Я вижу, ты научился шутить, Алексей, — сказал Шаталов и нахмурился.

— Я мог двадцать раз слетать к тебе, перевести деньги, — наконец сказал Маня. — Но я решил, что тебе важнее побеспокоиться о ком-то другом и немножко забыть себя, свои беды. Я знал, что ты рассердишься, если не будет никакой причины вызова.

Маня несколько раз прошелся по каюте, ступая тяжело и в то же время осторожно. Каким-то холодком и отчуждением повеяло от него.

— Есть причина, — наконец сказал он. — Я знал, что ты можешь рассердиться, если причины не будет. И мне невесело сознавать это. И я не тревожил тебя, пока она не появилась... Человек, который трое суток пролежал на грунте после аварии подводной лодки на глубине восьмидесяти метров, имеет право вызвать к себе друга? Да, нас вытащили, и я жив и здоров... Но годы идут, Дмитрий, и море есть море. Ты знаешь, про что я говорю. И мы с тобой как-то все дальше и дальше друг от друга. И это плохо, старик. И тогда, на грунте, у меня было время подумать обо всем этом.

— Трое суток — большой срок, — тихо сказал Шаталов. Он знал, что такое восемьдесят метров зимнего, стылого океана над тобой, что такое трое суток могильной тишины в отсеках и распластанные на койках тела матросов, и нечеловеческое напряжение командира корабля.

— Да, большой, — спокойно сказал Маня. — Мы испытывали новую лодку. Новое никогда просто не дается. Сперва мы сами не хотели ее покинуть, думали, что удастся отремонтироваться и всплыть, а потом... Потом поздно стало... Ослабли здорово. И когда все концы уже были отданы, я написал тебе записочку.

Командир «стовосемнадцатой» умолк, все так же шагая по каюте тяжелыми, осторожными шагами.

— Порвал? — спросил Шаталов.

— Что порвал?

— Записку мне.

— Нет. Не порвал. Пускай лежит. Иногда, по правде говоря, полезно вспомнить о смерти... А у тебя синяки под глазами, и селедкой от тебя пахнет. Это от шинели, что ли?

— Дай прочесть, — хрипло сказал Шаталов.

— Ну что ж... Можешь прочесть.

Он открыл каютный сейф, вытащил старую полевую сумку. Шаталов узнал ее. Это была солдатская сумка, с которой Маня пришел когда-то в их училище.

— Почитай, хотя в этом есть что-то нехорошее: ведь я жив. А я к вестовым схожу, прикажу чай согреть.

Маня достал записку, передал ее Шаталову и ушел.

Старательным круглым почерком на плотной бумаге морской карты было написано несколько строк простым

карандашом. Карандаш дольше всего спорит с водой— это Шаталов тоже понимал.

«Передать Шаталову Д. М. Ленинград. Адмиралтейский канал, 9, кв. 19.

Дмитрий, тебе перешлют это, если нас не вытащат. Я знаю, тебе будет тяжело. Мне уже трудно писать. Ты последние годы стал прятаться и уходить. А я не настаивал. Все служба, служба... И я очень виноват. Сейчас над морем где-то день. И я все тебя вспоминаю... Ты на карниз вылезал, чтобы в баню не ходить... Помнишь, нас в баню почему-то только ночью водили, а ты на карниз вылезал, ждал, когда старшина из кубрика уйдет... А я волновался, что ты простудишься... Сейчас над морем день...»

Шаталов ударил кулаком по выключателю лампы на столе. Ему стало резать глаза, он больше не мог читать. У него остро заныло сердце и перехватило глотку. Будто это он сидел в центральном посту затонувшей лодки, сидел на полу, и холодный пот удушья заливал ему глаза, и до дневного света было восемьдесят метров стывшей воды, и он писал все эти слова...

Все позвякивал ключ — в такт дизель-динамо. В открытый иллюминатор дышало море. Все вспыхивал на далеком мысу маяк, плескала за бортом близкая волна. И через минуту сердце отпустило, спокойно, в полную грудь вздохнулось.

— Лешка, вислухая ты морда, — пробормотал Шаталов.

Он долго еще сидел один в темноте, ждал, когда вернется Маня, смотрел в иллюминатор и думал о том, что кто-то там — в ночном океане — ловит вспышки маяка в узкую щель штурманского пеленгатора. И еще думал о том, что прекрасны бывают не только победы, но и

поражения; не только корабли, но и причалы. И вообще все прекрасно на этом свете — камни и вода, звезды и черный ночной океан, дожди, туманы, мы сами и горизонт, который всегда пахнет ветром. . .

Шаталов не знал, почему сейчас он так верил в это, но когда Маня вернулся, Шаталов встал и хрипавато сказал:

— Алексей, позавчера я видел Ольгу. Пошли ей такую же телеграмму. Такую, как мне.

— Ты думаешь, мне следует это сделать? — после долгой робкой паузы спросил Маня.

— Да, — сказал Шаталов. — И не ставь в тексте запятых и точек.

ПОД ВОДОЙ

Вывоз к оперативному дежурному в начале четвертого часа ночи скорее всего означал какое-нибудь неожиданное и важное задание.

Временно исполняющий обязанности командира морского водолазного бота лейтенант Антоненко торопливо оделся и, скользя подметками новых ботинок по стальным ступенькам трапа, поднялся в рубку. За стеклами рубочных окон кружился снег. Штаговый фонарь на носу бота то притухал, когда снежные языки, сорванные ветром с прибрежных скал, закрывали его, то вспыхивал ярким желтым светом.

«Пурга. Заряды, — подумал Антоненко и пристукнул ботинками. — Пока доберешься до штаба, ноги по колено мокрыми будут». Но он не стал переобувать сапоги. Даже при ночном срочном вызове не хотелось нарушать форму.

Антоненко опустил ремешок фуражки и вышел на палубу. Снег ударил по глазам, скользнул за воротник шинели. После сна стало особенно зябко, хотелось засунуть руки в карманы, но сходни немного перекоси-

лись, идти по ним было трудно. Пришлось держаться рукой за леер. Тонкая кожа перчатки сразу промокла.

Внизу на причале топтался вахтенный. Он не сразу заметил лейтенанта и на несколько секунд запоздал крикнуть положенное «Смирно!»

— Поправьте сходни, — не отвечая на команду и этим показывая свое недовольство, приказал Антоненко и почувствовал, как занули прохваченные холодным ветром зубы.

Тропинку от причала к штабу замело. Шагая напрямик по снежной целине, Антоненко думал о причине вызова к оперативному. Неужели действительно что-нибудь случилось в море и его пошлют на задание? Он хотел этого. Он всегда хотел чего-нибудь необычного и опасного. А сейчас, когда остался за командира корабля, — особенно.

В скрипучей деревянной будке — проходной штаба — топилась печка и было жарко. Антоненко отряхнул шинель. На бровях и ресницах сразу начал таять снег. Антоненко не стал вытирать лицо и поднимать ремешок у фуражки. Ему всегда казалось, что опущенный ремешок делает его лицо более мужественным и сильным, а капельки воды на щеках и мокрые брови покажут, как мало заботится он о себе и своем лице.

В комнате оперативного дежурного за столом с рельефной картой сидел сам начальник штаба аварийно-спасательной службы капитан второго ранга Пашев. Антоненко четко доложил о своем прибытии и отметил про себя, что Пашев посмотрел на часы. Это означало, что он засек время вызова и, очевидно, не сможет не заметить быстроты, с которой он, Антоненко, прибыл по этому вызову.

— Садись, лейтенант, — сказал Пашев и потер щеку. — Ремешок-то подними. Забыл, что ли, про него?

— Так точно, забыл, — сказал Антоненко и заложил ремешок за козырек фуражки.

— В Могильной бухте бывал когда-нибудь, а, лейтенант?

Антоненко вспомнил узкое и извилистое каменное горло бухты, грохот прибоя у входа в это горло и тихую стылую воду внутри бухты. Туда не мог пробраться прибой, а высокие берега не давали разгуляться ветру.

— Бывал, товарищ капитан второго ранга.

— Вход хорошо помнишь?

— Хорошо, товарищ капитан второго ранга.

Пашев кивнул головой и забарабанил пальцами по краю стола.

— Баржа в Могильной стоит. Завел ее туда буксир. От шторма прятался. Да. А пока проводил через горло, рыскнула у него эта баржа, вышла с фарватера и распорола днище о камень. Средний отсек затоплен. Груз— бочки с соляром. Ждут этот соляр в порту назначения.

«Только бы обеспечивающего со мной не посылали, — думал лейтенант. — Только бы не посылали. Будет торчать рядом дурак какой-нибудь, каркать под руку. . .»

— Так вот. Машина на причал уже пошла. Мичман Сапухин с группой мотористов будет у тебя на борту минут через десять. Принимай с машины помпы, грузы аварийное имущество и докладывай о готовности к выходу.

«У тебя на борту», «Антоненко готов к выходу в море», «Антоненко на подходе к Могильной» — как здорово, когда так говорят и думают о целом корабле.

Антоненко оставалось наслаждаться этим еще две недели, пока настоящий командир бота старший лейтенант Ванин не вернется из отпуска.

— Пока из залива выбираться будешь, заряды пройдут. Ветер тоже затихает, и сводка на завтра хорошая. Часов за шесть должен добраться к Могильной. Надо торопиться — переборки у баржи слабые и могут дать течь. Но Оленьи острова обходи с моря. Пускай потеряешь на этом лишний часок. . . Без Ванина тебе между Оленьими и берегом ходить еще не следует: больно сложный там проход.

— Есть оставить Оленьи острова к осту, товарищ капитан второго ранга, — сказал Антоненко. «Если так говорит — значит, никого со мной не посылает», — подумал он.

— Вопросы есть? — спросил Пашев.

— Буксир, который привел баржу, еще в Могильной?

— Нет. Он вел две баржи и сейчас продолжает рейс с одной из них.

— Какая пробоина: размеры, характер?

— Не знаю. Выясните на месте. Учтите, что берега в Могильной приглубые и на обсушку баржу поставить невозможно. Нужно завести пластырь, откачать воду и зацементировать пробоину, какой бы у нее ни был характер.

— У меня больше нет вопросов, товарищ капитан второго ранга.

— Подумай еще.

— Нет больше вопросов, — решительно сказал Антоненко и встал.

— Попутного ветра, лейтенант, и не меньше фута тебе под киль, как говорится. Послал бы я с тобой кого-

нибудь, да... Должен сам справиться, а? — Пашев протянул Антоненко руку.

— У меня мокрые, — сказал Антоненко.

— Ничего. Это не страшно.

На причале уже стояла трехтонка, и мотористы Сапухина сгружали с нее помпы. Снег по-прежнему крутился в черном ночном воздухе и сек лицо. Фары трехтонки горели, и в их свете были видны залепленные снегом надстройки бота.

Антоненко бегом поднялся по сходням и приказал дежурному играть аварийную тревогу.

Он любил эти срочные выходы в море. Любил ночную кутерьму, слепящий блеск прожекторов, звонки и гудки тревоги, треск прогреваемых моторов, короткие, хлесткие команды. И люди в такие моменты подчинялись его слову особенно легко и как-то весело.

Ему доставляла удовольствие и погрузка, когда кажется, что невозможно быстро поднять на борт шестисоткилограммовую помпу. Главное — первому ухватиться за эту помпу и крикнуть: «А ну — взяли! Взяли, ребятки! Взяли!» И действительно, ребятки берут, и помпа каким-то чудом оказывается на борту. Ему доставляло удовольствие и стоять на мостике, навалившись грудью на леера, засунув руки в широкие рукава реглана, смотреть вперед и, слившись в одно целое с кораблем, чувствовать всем телом каждый удар волны и каждый оборот двигателей...

К Оленьим островам вышли в седьмом часу утра. Снежные заряды прекратились. Сильно морозило. На

прояснившемся небе бродили слабые сполохи северного сияния. Крутая после недавнего шторма зыбь накатывалась с моря, и бот сильно качало. Волны пробивали клюза, брызги секли стекла рубочных окон и замерзали, не успевая стекать. Чтобы лучше видеть, Антоненко опустил окно, и каждый раз, когда очередная волна, разбившись о форштевень бота, рушилась на палубу, его обдавало водяной пылью. Антоненко слизывал с губ соленую влагу и щурил глаза, но не закрывался от брызг и ветра. Он глубоко вдыхал холодный и густой воздух моря и радовался тому, что так хорошо распогодилось, что видимость миль двенадцать — не меньше, что ход, несмотря на зыбь, приличный и через полчаса они выйдут на траверз первого из Оленьих островов.

В рубке бота, кроме Антоненко и рулевого, были еще мичман Сапухин, старший мотористов, и командир отделения водолазов главный старшина Гуров. Антоненко раньше никогда не встречался с мичманом и теперь искоса поглядывал на него, прикидывая, разворотистый ли это товарищ и как у них пойдет совместная работа. С Гуровым же пришлось плавать все те месяцы, которые Антоненко отслужил после окончания училища. Гуров провел под водой около восьми тысяч часов и считался одним из самых опытных водолазов аварийно-спасательной службы флота. Он начал свою водолазную карьеру еще в те времена, когда эта служба называлась Эпроном. Это был очень большого роста медлительный человек, который улыбался так же редко, как и сердился.

В рубке все молчали, только рулевой время от времени вздыхал, а потом пробормотал, что зыбина какая-то очень уж крутая и все кишки наружу просятся.

— Да, натошак самое плохое так вот качаться, — сразу отозвался Сапухин, с сочувствием глянув на рулевого. — Без привычки и вообще плохо на море-то.

— Что, орел, укачался, что ли? — насмешливо спросил Антоненко, отворачиваясь от окна.

— Ничего, выдюжу. — Рулевой, молодой парень второго года службы, только недавно пришедший из учебного отряда, услышав голос командира, выпрямился и принужденно улыбнулся. Его лицо, слабо освещенное светом от компаса, было серым.

— Через полчаса за острова зайдем. А там волны не будет. Потерпи немножко, — подбодрил его Гуров и легонько хлопнул по плечу. — Терпи, казак. . .

«За острова зайдем», — значит, он убежден, что я судно проливом поведу, — подумал Антоненко. — Вот черт! А может, и действительно? Погодка разгулялась, сияние подсвечивает немного. . . Часика полтора выгадать можно. Ванин, конечно, проливом бы шел. А если с моря обходить острова, то что эти ребята обо мне подумают? — Он покосился на Гурова и Сапухина. Старшина водолазов стоял неподвижно, прижавшись лбом к стеклу окна, смотрел на море. — Да и время экономится. Пожалуй, следует рискнуть. Маяк на Оленьих видно прекрасно. . . Пройдя маяк, надо поворачивать к весту и идти прямо на скалы Трех сестер. Эти скалы, наверное, тоже будут хорошо заметны. Их ребра такие отвесные, что никакой снег удержаться на них не может, и Три сестры на фоне белеющего, заснеженного берега будут выделяться тремя темными пятнами. После Сестер — еще один поворот, и начинается самое узкое и опасное место пролива. Там каменные кошки и сильное течение. Сейчас начинается прилив, и течение будет особенно сильным. В том месте надо идти по

створным огням и ни на кабельтов не отклоняться в сторону от фарватера».

Антоненко много раз плывал этим проливом с Ваинным и никогда не испытывал никакого волнения. Но сейчас появилось какое-то стеснение в груди, от которого стало трудно дышать. И сразу после того, как появилось в груди это стеснение, он понял, что обязательно поведет судно в пролив.

За волнение, за самые слабые признаки страха Антоненко всегда наказывал себя: шел навстречу той опасности и тому риску, которые вызывали в нем волнение и страх. И всегда страх оказывался побежденным. Так было еще со времен училища. С тех времен, когда курсантский палаш набивал ему синяки на левой икре.

Началось с первой же его морской практики. Обалдевшие от непривычной корабельной обстановки и качки курсанты толпились на палубе учебной парусной шхуны. Командир шхуны вызвал добровольцев убирать топсель на фок-мачте. Просто так, чтобы проверить людей. И Антоненко первым шагнул вперед. Что его подтолкнуло тогда? Было жутко даже просто смотреть на верхушки мачт, которые мотались где-то среди облаков, было тошно от качки, но он шагнул. И когда ударила по ушам команда: «Формарсовые к вантам! Паруса долой!» — он рванулся к этим вантам и почувствовал, как с каждым шагом в нем прибавляется сил и мужества.

Люди смотрели на него снизу. Разинув рты, смотрели одноклассники, со сдержанной улыбкой поощрения смотрели офицеры. Это вызывало в нем пьянящее чувство бесшабашной удали. Ловко, почти не задерживаясь на краспицах, он проскользнул на марсовую площадку и схватился за жесткую парусину топселя.

Далеко внизу белые усы пены отходили от носа шхуны. Марсовая площадка то повисала над водой, то стремительно проносилась над палубой... Да, он победил тогда в себе страх и принимал потом похвалы как честно заслуженные.

— Десять градусов вправо по компасу. Держите на вход в пролив, — спокойно приказал Антоненко и взял бинокль. Никто из окружающих его людей не мог догадаться о том, что командир волнуется сейчас и не до конца уверен в себе. Любому начальнику надо быть немного актером — уметь скрывать то, что чувствуешь на самом деле, и показывать только то, что считаешь нужным показывать, — так думал Антоненко. Но любой актер перестает быть актером, если нет зрителей. Также и для него было всегда важно видеть и чувствовать вокруг себя людей — зрителей, когда наступает напряженный момент. Играя роль, Антоненко и действовать на самом деле начинал так, как должен был бы действовать разыгрываемый им герой, поэтому вся эта игра помогала ему, и в мыслях он не отделял себя от того, кого он играл. Внешне в момент опасности Антоненко обычно становился намеренно медлителен и старался говорить не повышая голоса.

Ничего особенно трудного не было в том, чтобы провести судно этим проливом, если бы видимость все время оставалась хорошей, но на Севере погода изменчива, капризна, и Антоненко, конечно, знал это. Температура падала. Ртуть в термометре подбиралась к пятнадцати градусам. В любой момент прохваченный морозом водяной пар может превратиться в туман, густой душной пеленой закрыть все вокруг. Тогда трудно будет про-



браться сквозь узкость — створных огней не разглядит даже самый зоркий глаз.

Антоненко приказал прибавить оборотов. Узкая щель пролива впереди по курсу была заполнена мраком.

«Нужно экономить время. Нужно, — еще раз подбодрил себя лейтенант. — Переборки у лихтера слабые. Нужно торопиться». И в то же время все сильнее и сильнее начинал чувствовать своим моряцким чутьем, что туман будет. Будет, черт возьми. Хотя сейчас видимость превосходная.

Они вошли в пролив, и теперь никакие силы не могли бы заставить Антоненко повернуть назад.

Отблески сияния, будто легкий голубоватый дымок, скользили по береговым сопкам. На левом — высоком и

обрывистом — берегу мигал маяк. Каждые полминуты он медленно, как подмокшая спичка, начинал разгораться, потом вспыхивал лучистым белым огнем и быстро гас. Кругом бота теперь сгустилась тишина, потому что волны перестали разбиваться о борта, и только ветер посвистывал в оконной раме и сигнальных фалах да перестукивал двигатель. Но эти звуки были привычными и не замечались. Зато тишина промерзших скал и пустынных сопок на близких берегах была так явственна, что, казалось, ее можно ощутить как прикосновение чего-то холодного и упругого.

— Хорошо-то как, товарищ командир, — прошептал оживший рулевой. — Красота какая!

— На руле стойте! Помалкивайте, — буркнул Антоненко. Ему было не до красот вокруг.

Туман появился, когда прошли маяк. Будто кто-то начал вытаскивать из воды слой за слоем мокрую папиросную бумагу. Ветер трепал и рвал ее, комкал.

Антоненко чертыхнулся и вышел на крыло мостика. Он все еще не убавлял ход. Сквозь завесу тумана в бинокль можно было разглядеть три темных пятна — Три сестры. Этого пока хватало для ориентировки. Лицо сильно мерзло, в горле першило от морозной сырости.

И Гуров и Сапухин тоже вышли на мостик. Ни тот ни другой не были судоводителями и ничем не могли помочь командиру. Но самое их присутствие и уважение, с которым понимающие люди следят, как кто-то другой делает трудную работу, было приятно ему.

— На якорिशку становиться не будем, лейтенант? — спросил Сапухин. И в его голосе звучало это вот уважение.

— Не будем, мичман. Ждет баржа-то.

— Ждет. Это точно.

— А ход немножко убавим, — сказал Антоненко, будто советуясь с мичманом. Он ни за что не стал бы говорить с такой интонацией, если бы не был уверен в том, что Сапухин ничего не может ему советовать.

— Сбавить ход завсегда лучше, — согласился Сапухин. Антоненко не слушал его. «Сбавлю ход — понесет течением с фарватера, — думал он. — Не сбавлю — еще хуже может быть, если на камни вылезешь. . .»

Туман все густел. Неприятное это чувство, когда впереди ни черта не видно, когда в таком узком проливе уже не может помочь компас, когда поздно поворачивать назад и когда самый верный выход — стать на якорь. Но стать на якорь означает задержку, которой никто не простит командиру судна, идущего на спасение.

«Зря полез, дурак, — подумал о себе Антоненко и приказал сбавить ход до малого. — Опоздаешь — пришлют неисполнение приказания. Зачем, скажут, проливом пошел».

Ни темных пятен у мыса Трех сестер, ни левого островного берега не было видно. Сзади раздался тоскливый и нудный рев: маяк начал подавать туманные сигналы. Чуть слышно булькала под бортом вода.

— Влипли плотно. На якорь нужно. Я в прошлом году работал здесь. Шхуну поднимали. Так же вот шла в тумане, вылезла на кошки и затонула. — Гуров плюнул за борт и, не дождавшись от Антоненко ответа, добавил: — Если ветер не изменится, туман до рассвета простоит.

— Да, с морской стороны эти острова завсегда спокойнее обходить. В море и сейчас тумана нет. Он за-

всегда под берегом больше держится, — сказал Сапухин и стал хлопать себя по ляжкам. Он был в одном ватнике и сильно простыл.

— Я бы на вашем месте пошел отдохнуть в каюту, мичман, — не разжимая зубов, процедил Антоненко. «Всегда вот так люди: втравят в неприятность, а потом, как пескари от щуки, — в разные стороны. А я пройду! Пройду, дьявол побери!»

Лейтенант приказал послать на нос лотового, включил прожекторы. Он то свешивался через леера и слушал слабые всплески воды у камней близкого, но невидимого берега, то вчитывался в дрожание компасной стрелки. И продолжал вести судно вперед. Временами казалось, что винт уже задевает грунт и камни сейчас начнут пересчитывать шпангоуты и со скрежетом обдирать обшивку на днище. Антоненко стискивал поручни, морщился, курил почти не переставая. От табака саднило грудь. Никакого холода он давно уже не чувствовал.

Шли медленно, очень медленно, но все-таки двигались вперед и прошли пролив у Оленьих островов, ни разу не став на якорь. Антоненко потом и сам не мог понять, как он умудрился сделать это.

Вместо экономии во времени этот проход проливом заставил потерять около двух часов, но, несмотря на это, хорошее настроение не покидало лейтенанта до самой Могильной. Ведь очень немногие решились бы вести судно в сплошном тумане через узкий пролив у Оленьих островов, да еще на таком сильном течении. А он не только решился на это, но и провел.

Баржа стояла в самой глубине бухты, под берегом. На носу баржи красным дымным пламенем горела боч-

ка с соляром. Баржевик, в рваном, грязном полушубке, с заросшим клочкастой бородой лицом, суетливо бегаю вдоль борта, принял швартовы и сразу перескочил на бот.

— Я было собрался уже на берег тикать. Цедит водичка-то. Давно за ватерлинию села баржа-то. Того и гляди потонет. Жутко одному-то, — скороговоркой, брызгая слюной в лицо Антоненко, говорил баржевик. — Сижу, значит, и жду: когда потонет. И в носовых отсеках воды уже до половины. Ты вот послушай. . . Во, во! Слышишь? Это бочки в трюмах всплывают на воде, воруаются. Торопиться надо. . .

— Давайте, Гуров, посылайте человека в воду. Поопытней кого-нибудь. Выяснить размеры и характер пробоины. Сапухин, готовьте помпы. — Антоненко спрыгнул на баржу и подошел к люку центрального отсека. Бочки, всплыв, выглядывали в широкий проем люка. Надо было торопиться. Переборки действительно оказались слабыми, даже очень слабыми. Сколько времени баржа продержится еще на плаву — час, два? Дьявольский туман — сколько потеряно из-за него времени!

Было около одиннадцати часов, светало. Верхушки сопок, окружающих бухту, начинали синеть. Прилив сменился отливом. Из устья речки, которая впадала в бухту, медленно выплывали льдины. Они ударялись в натянутые якорные цепи баржи, скребли по ее борту. Ни дымка, ни звука вокруг.

Края пробоины в днище баржи оказались неровными. Разорванные, смятые скользящим ударом о камни, листы обшивки загнулись наружу. Аварийщики такие края у пробоин называют рвотинами, заусеницами. Пробоину, когда она с заусенцами, заделать трудно. Мяг-

кий парусиновый пластырь рвется. Нужно или срезать заусеницы автогенном, но это долго, или делать жесткий пластырь — ящик, который закроет и пробоину и ее неровные края. Такой пластырь делают из двух слоев досок с прокладкой из парусины между ними. И вешают под пластырь груз.

Антоненко сам командовал матросами, которые работали на сколачивании пластыря. Он шутил над их посиневшими от холода носами и показывал, как надо придерживать гвозди голыми, без рукавиц, руками. Ведь в рукавицах быстро не поработаешь. И опять никто не мог заметить, что на душе у лейтенанта сейчас скребут кошки.

— Ну, Гуров, как думаете, успеем или нет?

— Может, и успеем. Я своих водолазов для скорости послал подкильные заводить. Главное — это чтобы пластырь в рвотины не уперся. Тогда надо под воду спускаться, помогать ему, а... — Гуров не договорил и сомнительно качнул головой. — Опасно это.

— Ну, ну! Рано киснешь, главный. Иди-ка посмотри, до какого уровня вода поднялась в трюмах, и доложишь мне. А я пойду чайку хлебну.

Пластырь изготовили за рекордно короткое время — час двадцать минут. Минут тридцать провозились со спуском его на воду. Люди работали с подкильными концами, стоя на барже, и Антоненко видел, что они нервничают. Тонущая баржа время от времени вздрагивала, бочки в ее трюмах железно шуршали друг о друга. Через подметки сапог чувствовалась судорожная вибрация стальных листов палубы. Матросы поглядывали на бот и явно ждали команды вернуться на него.

Поэтому, когда Сапухин крикнул, что пластырь, видимо, заело — он перестал двигаться по днищу баржи, Антоненко не поверил ему и сам обошел четыре группы людей, которые стояли на подкильных концах. Но пластырь действительно застрял.

Антоненко приказал людям покинуть баржу. Было ясно — без водолаза теперь не обойтись.

— Гуров, зайдите в рубку. Мне надо поговорить с вами.

Лейтенант сидит на приступочке у штурвала. Гуров — на корточках, втиснувшись между станиной штурвала и нактоузом компаса. Колени лейтенанта и старшины соприкасаются. Лейтенант ждет, что скажет Гуров. Но Гуров молчит. Он скручивает папиросу из махорки. Руки старшины обожжены морозом и обветрены. Пальцы с коротко остриженными ногтями двигаются медленно. Медлительность старшины водолазов и его долгое молчание раздражают лейтенанта.

— Нет времени так долго думать, старшина. Баржа с минуты на минуту потонет.

— Да... — Старшина чиркает спичкой. Из дверной щели сильно дует, и пламя спички клонится и трепещет. Гуров неловко, как все рослые люди, горбится, прячет огонек между ладоней, прикуривает.

— Кого из водолазов вы пошлете в воду? — Антоненко засовывает руки в грудные карманы меховой куртки. Левая рука сжимает в кармане свисток. Правый карман пуст, сжимать в нем нечего, и лейтенант изо всей силы давит кулаком на подкладку.

— Людей посылать в воду сейчас нельзя. — Гуров, чтобы не смотреть в глаза лейтенанту, встает и присло-

няется лбом к холодному рубочному окну. Старшина водолазов уверен в своей правоте, но ему почему-то неудобно перед лейтенантом. Он же понимает, что значит для лейтенанта успех или неуспех с этой баржей.

— Если баржа затонет, раньше весны ее не поднимешь. Вы же понимаете это, Гуров. Лучше меня понимаете, черт возьми.

— Товарищ лейтенант, больно быстро баржа садится. Сейчас ей осталось до грунта всего метра три. Опять же, как она дальше тонуть будет, — никто не знает. Может, медленно, а может — трах! — и на мертвые якоря. Лазить под ней, когда она в таком беременном состоянии находится, никак нельзя — раздавит. Опять же. . .

— Подождите вы с этим «опять же». — Антоненко и сам знает все то, о чем говорит Гуров, но думает свое: кого из водолазов можно все-таки послать сейчас в воду? В эту вязкую от мороза воду, под осклизшее днище тонущей баржи. Кого? Во что бы то ни стало нужно освободить пластырь, завести его на пробоину и доложить о выполнении задания начштаба. Он, Антоненко, привык выполнять задания. Уже не раз для этого ему приходилось рисковать и собой и людьми, которым он имел право приказывать. И он приказывал с легким сердцем и чистой совестью, потому что всегда верил в то, что и сам всегда может выполнить свое приказание.

— Кого вы пошлете в воду, если я прикажу вам это, Гуров?

Старшина медленно обернулся. Тесный ворот ватника стянул ему горло, лицо потемнело.

— Если прикажете?

— Да. — И хотя ворот у лейтенанта не был тесен, лицо его тоже побурело, а на скулах вздулись желваки.

Гуров плюнул на пальцы, раздавил самокрутку.
— Это нельзя. Это гроб. Это слабость — то, что вы делаете. Из-за этой битой баржи. . .

— Молчать! — забыв о всякой сдержанности, крикнул Антоненко и вскочил на ноги. — Как вы смеее так разговаривать?!

Гуров вытянул руки по швам.

— Вы, главный старшина, не спасатель, а. . . трус. Вы и подчиненных воспитываете, так как. . . как. . .

Гуров повернулся, стремительно шагнул к двери, рванул ее.

— Назад! Я не отпускал вас! — остановил его Антоненко. Привычные властные фразы, срывающиеся с языка, бодрили и успокаивали лейтенанта. Он знал, что умеет говорить властно, так, что человек не смеет ослушаться. И сознание этого помогало ему сейчас.

Гуров опять захлопнул дверь, и она лязгнула, как орудийный затвор.

— Если прикажете, лейтенант, в воду пойду я. Но. . . рисковать человеком из-за старой баржи и бочек соляра?

Нет, сам Гуров не отдал бы такого приказа. Но. . . мало ли какой приказ получил лейтенант? Не мог же командир без большой причины швырнуть ему в лицо такие несправедливые оскорбления. Начальству виднее.

— Вы? — переспросил Антоненко.

— Да, сам пойду.

Антоненко сдвинул фуражку на затылок.

— Отставить, Гуров, — он старался говорить спокойно. — Отставить. В воду я пойду. Я.

— Товарищ лейтенант, разрешите сказать? — В голосе Гурова проскользнула тревога. — Уж если необ-

ходимо идти, то надо делать это тому, кто опытнее, кто быстрее сделает работу.

— Не разрешаю, — отчеканил Антоненко. — Готовьте водолазную станцию. Ну! Живо! И так уже потеряно слишком много времени.

Антоненко быстро прошел к себе в каюту. О предстоящем спуске он старался не думать. Всегда перед опасным делом лучше поменьше волновать себя — так считал лейтенант. Он зачем-то вымыл руки в умывальнике и отметил про себя, что механик опять не подает горячую воду в верхние каюты. Намыливая руки, Антоненко всматривался в свое лицо, отраженное в поясном зеркале над раковиной. Он искал на нем следов волнения и страха, но не нашел их. Разве только бледность да набрякшие веки, но это могло быть и от бессонницы.

Водолазный опыт Антоненко был небольшим. Несколько ознакомительных спусков, обязательных для всех офицеров аварийно-спасательной службы, — вот и все. Этих спусков хватило лишь для того, чтобы понять, как изнурителен и напряжен труд водолаза на грунте. Навыков свободной работы под водой в тяжелом водолазном снаряжении, которые вырабатываются только длительной специальной тренировкой, у него не было. К тому же Антоненко понимал, что никакой опыт не поможет ему, если баржа, потеряв остойчивость, скренится, стремительно пойдет на грунт. Но об этом-то он и старался не думать теперь.

В водолажном посту Антоненко встретила тишина. Ни обычных шуток, ни обычной веселой перебранки, кото-

рыми водолазы любят сопровождать обряд одевания человека для спуска в воду, не было слышно. Антоненко показалось, что сам воздух здесь загустел от той тишины, в которой работали сейчас матросы. Всегда веселый, шутливый хохол Сидорчук даже не взглянул на лейтенанта, когда тот вошел в пост. Повернувшись спиной к двери, он зачем-то перекидывал из бухты в бухту упругие кольца шланг-сигнала. Другой водолаз — Каблуков — возился у телефонного коммутатора.

— Что приуныли, орлы? — Вопрос повис в воздухе, Антоненко зло передернул плечами.

Гуров взял с полки тяжелые свинцовые ботинки и грузила, кинул их на металлический пол.

Нужно было раздеваться. Антоненко снял меховую куртку, китель, блеснувший новеньким золотым погоном, сел на низкую скамейку и взялся за сапоги. Кожа голенищ размокла. Сапог самому было не сдернуть.

— Товарищ лейтенант, — вдруг угрюмо сказал Сидорчук, — если действительно нужно рисковать, мы все, любой. . .

Антоненко не отвечал. Сапог все не хотел слезать с ноги, и Антоненко запыхался, возясь с ним. Его злило, что никто не хочет помочь. Все ждут, когда он прикажет им это.

— Разрешите пособлю? — Голос был молодой, ломкий от смущения. Антоненко оглянулся — Петров, юнга, семнадцатилетний парнишка. Юнга смотрел на лейтенанта с восхищением. Он слышал, как говорили между собой водолазы, что спускаться под баржу сейчас очень опасно, что на Каспии был вот такой же случай: висел на понтонах затопленный корабль, работали под ним водолазы. Стропы у понтонов лопнули. Корабль сел на грунт. И когда потом подняли его и вытащили водола-

зов, то хоронить пришлось не вынимая из скафандров — одно месиво осталось от людей.

— Давай, давай, помогай, Петров! — с облегчением откликнулся лейтенант. Расположение юнги было особенно приятно сейчас.

Петров живо сдернул с него сапоги, помог стащить ватные брюки.

— Ого! В трусах! А вы холода не боитесь, товарищ командир?

— Ну да, не боюсь. Видишь, как мурашки бегают? — старательно улыбнулся Антоненко, растирая колени. Гуров подал ему шерстяное водолазное белье, меховые носки, шапочку. Антоненко быстро оделся.

— Готовы?

— Да.

— Снимите часы. — Гуров говорил хмуро и не глядя в глаза лейтенанту. Антоненко торопливо расстегнул брашлет. Впервые чувство какой-то вины перед этими подчиненными ему людьми мелькнуло у лейтенанта. Ему захотелось скорее уйти от них, спрятаться хотя бы за резину и медь скафандра.

— Возьмите часы к себе, старшина, — тоном приказа сказал Антоненко. Он рассердился на себя за торопливость, с которой снял часы, за это мелькнувшее в нем чувство какой-то вины перед Гуровым.

Старшина помедлил. Часы лежали в ладони Антоненко. Он чувствовал тепло металла.

— Ну!

Гуров взял часы. Водолазы растянули резину шейного кольца скафандра. Антоненко, чувствуя ноги очень легкими без привычной тяжести сапог, поднял их и сунул в ворот резиновой рубахи. Водолазы все разом, не ожидая команды, рванули в стороны и вверх резину

скафандра. Антоненко закачался. Сейчас он был игрушкой в сильных руках этих людей.

«Как долго все это, черт побери, — подумал Антоненко. — Скоро уже и темнеть начнет. Угораздило же этот буксир завести баржу на камни. Дать бы капитану лет пять».

— Можно грузá? — спросил Гуров. Антоненко кивнул головой и, коснувшись подбородком влажной, холодной резины скафандра, поморщился. «Скорее бы», — опять подумал он.

Гуров и Сидорчук приладили хомут с грузами ему на плечи, и плечи согнулись под тяжестью свинца. Антоненко расставил ноги пошире. Теперь он был озабочен только тем, чтобы не показать, как гнетет и ломает его эта непривычная тяжесть.

— Можно шлем?

— Валяйте! — Антоненко хотел сказать это небрежно и спокойно, но во рту пересохло и он закашлялся.

Гулко отдаваясь в ушах, застучали снаружи по шлему гаечные ключи, зашипел воздух — Гуров проверял воздушную магистраль. Воздух подавался нормально. Гуров перекрыл вентиль и подошел к Антоненко.

— Можно? — в третий раз спросил он, поднося к глазам лейтенанта круглое стекло лицевого иллюминатора.

— Да.

Заскрипела винтовая нарезка, и Антоненко остался один. Еще минуту назад он хотел этого, а теперь вперые ему стало страшно.

— Как слышите меня? Как слышите? — раздалось в телефонах.

— Хорошо, прекрасно, — ответил Антоненко и, волоча по палубе пудовые башмаки, медленно двинулся

к выходу из поста. Чьи-то руки помогли ему перешагнуть высокий порог.

Серый зимний день уже начинал темнеть. Солнце, так и не выглянув из-за сопки, теперь быстро опускалось обратно в море. Баржа, осев в воду, выглядела непривычно — ее палуба была ниже бортов бота.

Антоненко подошел к кормовому водолазному трапу и оглянулся. Вся его команда была на палубе: и мотористы, и боцмана, и водолазы. Антоненко хотел улыбнуться, чтобы показать им свое спокойствие, бодрость, но вспомнил, что никто не заметит его улыбки за стеклом иллюминатора. Он перевел глаза на трап. Три обледенелые ступеньки вели к воде. Антоненко, неловко переступая ногами и путаясь в шланг-сигнале, повернулся к воде спиной, взялся за поручни трапа и поднял руку, спрашивая, можно ли начинать спуск.

Гуров легонько ударил его по шлему. Это было разрешение. Он что-то быстро говорил при этом, — Антоненко близко видел, как шевелятся его губы и поблескивает коронка на одном из зубов. Потом Гуров махнул рукой и пошел в пост.

Антоненко стал спускаться. Через боковой иллюминатор он увидел Петрова в длинном тулупе и коротких, не достающих до ботинок рабочих штанах.

«Какой он тощий. Совсем пацан еще», — подумал лейтенант и оттолкнулся от трапа. Вода мягко расступилась, принимая его. Антоненко погрузился до шлема и вздохнул свободнее — тяжесть грузов перестала гнуть плечи. Медленно поворачиваясь вокруг себя, всем существом ощущая пустоту, которая была под ним и в которую ему надо было сейчас опускаться, Антоненко нащупал подкильный конец, ведущий к пластырю на днище баржи, и ухватился за него.

— Как чувствуете себя? — раздался в телефонах голос Гурова.

— Травить шланг-сигнал! — приказал Антоненко и, резко откинув назад и влево голову, затылком до конца выжал клапан, стравливающий из скафандра воздух. Зеленоватая, мутная вода захлестнула шлем. Чувствуя все усиливающуюся боль в ушах и холод от обжатой давлением воды резины, Антоненко стремительно проваливался вниз. Он выпустил из рук подкильный конец и не сразу сориентировался, опустившись на грунт. Течение быстро уносило облако темной мути, поднятой им со дна. Дно было неровное, в буграх и впадинах. Ноги до колена вязли в иле.

— Товарищ лейтенант, вы песни пойте, — скороговоркой выпалил в телефон взволнованный голос. Антоненко узнал Петрова.

Водолазы часто поют на грунте. Тогда не так чувствуется одиночество, в котором там работают люди. Никто не видит их, не помогает взглядом, улыбкой, жестом. Только резина воздушного шланга да провод телефона соединяют водолаза с людьми, миром, жизнью. Петь выгодно и тем, что если поет водолаз, то наверху все время знают, что с ним все в порядке, а замолчит — сразу спросят, в чем дело.

Антоненко знал все это, но зло крикнул:

— Поменьше болтайте наверху. Песни потом петь будем. — Однако резкая, свойственная ему, интонация теперь не помогла побороть растерянность. Он все не мог понять, где нос и где корма той темной машины, которая висела над грунтом впереди него. Глаза все не привыкали к живому, двигающемуся полумраку вокруг. Он крикнул, чтобы зажгли лампы, спущенные в воду где-то в районе пробоины. И пока ждал этого, стоя не-

подвижно и вглядываясь в тень под баржей, почувствовал, как начинают вздрагивать его ноги и, щекоча кожу, по спине скатывается капля пота. Ему чудилось, что расстояние между грунтом и дном баржи уменьшается прямо на глазах, хотя за те одну-две минуты, которые он провел под водой, заметить разницу в осадке баржи было невозможно.

Вспыхнула подводная люстра. Зеленовато-желтым ореолом засветилась вокруг нее вода. Борясь с течением, Антоненко пошел на свет. Он шел, низко наклонившись вперед и делая руками так, как пловцы брассом. Вода сопротивлялась, качала его из стороны в сторону. Вниз Антоненко не смотрел. Только вперед — на лампу, около которой нужно будет подлезть под бордатовое от водорослей днище баржи. Сердце билось резкими, быстрыми толчками. Уже совсем близко от лампы что-то цепко обхватило его ноги. Потеряв устойчивость, Антоненко сунулся головой вперед, и его руки тоже обхватило что-то гибкое и пружинистое. Ил с грунта дымовой завесой закрыл все вокруг. Очевидно, по хриплому, частому дыханию Антоненко наверху поняли, что с ним что-то случилось, и спросили, как он себя чувствует.

Удивительно приятно было услышать человеческий голос. Антоненко перестал рваться и метаться, дал течению унести муть, которая мешала смотреть, и тогда разглядел клубок перепутанных тросов, цепей и еще какого-то металлического хлама.

— Троса какие-то здесь валяются, — облегченно вздохнул он.

— Перестаньте стравливать воздух. Подвсплывите немного — и тогда освободитесь, — голос Гурова звучал глухо.

Антоненко сделал так, как советовал старшина водолазов: перестал стравливать воздух. Слабый звук, с которым пузырьки его вырывались из шлема, затих. Теперь ничто не нарушало безмолвия на дне Могильной бухты. Это безмолвие длилось всего несколько секунд, но когда, освободившись от тросов, Антоненко подобрался к борту баржи, он, вместо того чтобы спешить к пластырю, остановился около лампы и тронул ее рукой. Он медлил лезть под днище и все шептал про себя: «Спокойно. Главное — спокойно. Надо все продумать. Значит, так. Сперва... Главное — спокойно...» Чтобы наверху не знали, что он остановился, Антоненко крикнул продолжать травить шланг-сигнал. Он хотел вспомнить, что и в какой последовательности надо будет сейчас делать, но никак не мог сосредоточиться. Только обрывки мыслей мелькали в голове, и все время представлялось, как, крутясь в темноте трюмов, заливают баржу вода и, стучаясь друг о друга, всплывают на этой воде бочки с соляжкой.

Антоненко надо было влезть под днище, подплыть — прижаться спиной к днищу, надавить руками на край пластыря, который уперся в заусенцы, командовать выбирать подкильные концы и все время, пока пластырь будут протягивать по днищу, продолжать отводить его передний край от заусенцев. Когда пробоина окажется закрытой пластырем, надо командовать начинать откачку воды из затопленного отсека. Все это очень трудно сделать, когда движения скованы резиной скафандра, когда надо бороться с течением, следить за воздухом — не перетравливать его, остерегаться подкильных тросов, которые то вплотную при-

жимаются к днищу, то ослабевают и могут передавить резину воздушного шланга.

«Хватит, вперед!» — приказал сам себе Антоненко. Люстра осталась позади, и зыбкая тень, ломаясь на неровностях грунта, закачалась впереди него. Несколько уродливых морских бычков метнулось из-под ног. Антоненко вздрогнул, чертыхнулся, и сразу же сверху спросили, в чем дело.

— В шляпе, — огрызнулся Антоненко. В телефонах затихло. «Слушают, следят, — подумал лейтенант. — Я вам все-таки покажу, как надо. . . Риск! Риск! Страховщики, а не водолазы. . . Вот как надо, вот». Он сделал еще несколько шагов вперед и задел шлемом днище баржи. Звук от этого удара был слабый, но отдался в ушах резким гулом. Антоненко согнулся и охнул. Страх перед сотнями тонн металла, которые спускались на него сверху, сковал его.

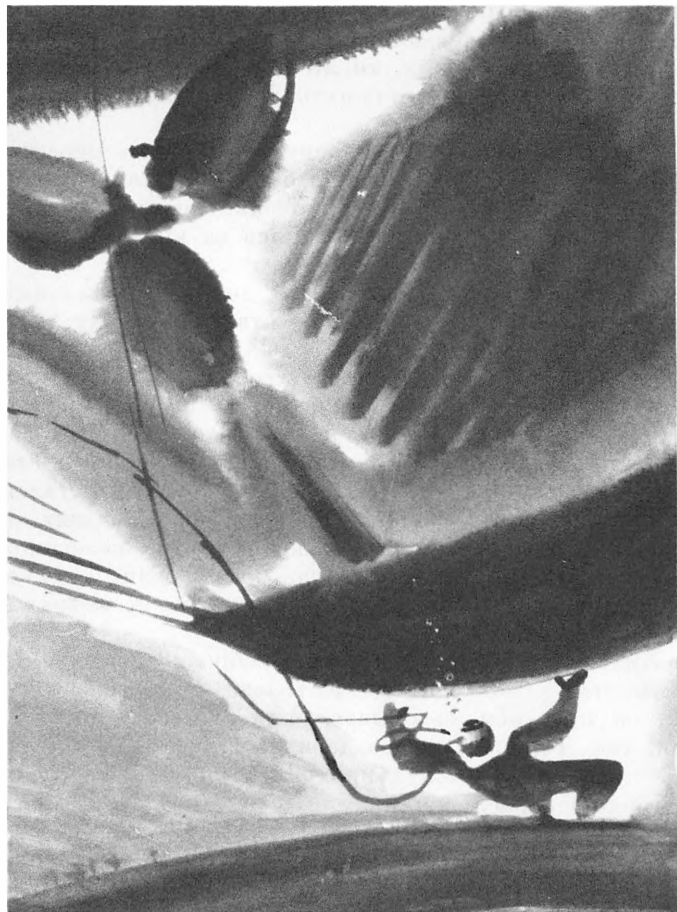
— Что у вас, лейтенант? Я сейчас приду к вам. Гуров говорит. Отвечайте!

Антоненко выпрямился.

— Не смейте, Гуров! Все нормально у меня. — Глаза защипало: пот. Антоненко по привычке потянул руку ко лбу. Стекло иллюминатора закрыла резиновая рукавица. «А голос-то у меня нормально звучит», — мелькнуло в мозгу, и сразу стало легче от этой мысли. Он опустил руки и взгляделся перед собой. Он увидел загнувшийся лист обшивки и черное ребро пластыря, которое упиралось в него. — Выбирай подкильные с правого борта!

Пластырь дрогнул — один, второй, третий раз.

— Навались! — крикнул Антоненко. Тишина в телефонах давила на виски. И хотя лейтенант знал, что эта тишина означает, что каждый его вздох слушают на-



верху, за каждым словом следят, — ему нужно было самому слышать чей-нибудь голос. Во рту было сухо, в глотке то ли спазма, то ли ком мокроты, которую нельзя откашлять и выплюнуть. Дыхание от этой спазмы тяжелое.

Пластырь отполз в сторону. Антоненко перестал стравливать воздух. Скафандр бугром вздулся на груди, ноги потеряли опору. Антоненко подвсплыл, прижался спиной к днищу, ухватился за край пробоины и подтянулся к пластырю.

— Приготовиться выбирать левые подкильные!

— Берегите шланг-сигнал, — ответили сверху. Антоненко протянул вперед руки и почувствовал, как гнет их струя воды, вливающаяся в пробоину. Гнет и тянет за собой. Он ухватился за переднее ребро пластыря и надавил на него. Пластырь не поддавался. меховая шапочка на голове лейтенанта сбилась в сторону и стала сползать на глаза. Антоненко грубо выругался.

Тишина в телефонах. Одиночество. Скользят по днищу баржи пузырьки стравленного из скафандра воздуха. Колышутся прилипшие водоросли. Свет от подводной лампы тусклый, рассеянный. А метрах в двадцати — мрак.

Антоненко уперся шлемом в ребро пластыря и зажмурился. «Только не убеги, только не убеги, — твердил он про себя, засовывая руки дальше в щель. — Так, так. Теперь еще раз дернуть...»

— Не уйду! — вслух прохрипел он.

Сверху переспросили:

— Что вы говорите?

— Не уйду-у-у! — во весь голос завопил Антоненко. Он кричал теперь не переставая и все дергал и дергал вниз обтянутые парусиной доски пластыря. Истеричная

злота на себя, на свою упрямую глупость, на всех, кто был сейчас наверху, на баржу, на воду, которая давила на него со всех сторон, охватила его. Пусть тонет баржа, пусть давит его, пусть... Он уже ничего не понимал из того, что кричали ему по телефону. Только рвал и рвал вниз пластырь. Он ударился лицом о стекло иллюминатора, и во рту стало солоно от крови. Пластырь наконец поддался, но он не замечал этого.

— Не уйду-у-у! Не уйду-у-у! — кричал Антоненко, и от этого крика ему самому делалось еще страшнее. Крик был хриплый, дикий.

Сверху люди давно уже пытались втолковать ему: «Пошла вода! Пошла вода!» Когда эти два слова добрались до сознания, Антоненко рванулся куда-то в сторону, судорожно запрокинутой головой надавил стравливающий клапан. За этими двумя словами он представил себе воду, затопляющую баржу через люковые комингсы, стремительно заполняющую отсеки. Ноги лейтенанта зарылись в грунт, шланг-сигнал петлей захлестнул руку. Стучаясь о днище баржи шлемом, он сделал несколько прыжков к борту, к лампе, потерял устойчивость и упал, закрывая руками шлем.

Он пришел в себя, когда его уже вытащили на палубу бота. Перед глазами было измазанное кровью стекло иллюминатора и чьи-то руки. Эти руки отвинчивали иллюминатор. Антоненко всхлипнул и слабо шевельнулся, точно отстраняя от себя людей. Он лежал на животе, и передний груз больно давил грудь. Стекло иллюминатора вращалось все быстрее и наконец отпало. Морозный воздух, наполненный шумом моторов и плеском падающей за борт воды, ворвался в шлем. Антоненко стал на колени. Люди вокруг молчали.

— Раздевайте быстрее, — прошептал Антоненко и сам почувствовал, какой серый, безжизненный у него голос.

Здесь же на палубе с него сняли грузá, ботинки, шлем, и тогда Антоненко увидел баржу. Баржа всплывала! Помпы работали, опустив приемные шланги в ее трюмы. Он просто не понял там, на грунте, куда пошла вода. Она пошла на откачку. И теперь он мог докладывать о выполнении задания и о том, что это он сам завел пластырь. Но все: и выполненное задание, и баржа, и пластырь — было сейчас безразлично Антоненко. Руки и ноги у него дрожали, дышал он тяжело, с всхлипом, и все не мог заставить себя посмотреть в лица людей вокруг. Он понимал, что жалок и противен сейчас — ослабший, дрожащий.

Идти сам он не мог, и, подхватив под руки, его отвели в каюту Гуров и Сидорчук.

— Ничего, ничего, сейчас вам полегчает, — бормотал Гуров. — Не поняли, значит, куда вода пошла? Ничего, под водой и хуже путаются люди. Полегчает сейчас вам. . .

— Не надо, Гуров, — попросил Антоненко. — Уйдите все. Уйдите.

Оставшись один, Антоненко, обрывая завязки, стащил с себя взмокшее от пота белье, забрался в койку, задернул полог и с головой закутался в одеяло. Он долго лежал так в душной темноте, плотно зажмурил глаза. Руки и ноги у него все еще вздрагивали. Антоненко от нестерпимого стыда корчился, тискал подушку и стонал.

Но усталость взяла свое, он заснул. Все время сквозь пелену забытья он слышал шум падающей из шлангов воды и проснулся, как только этот шум прекратился.

Тело у лейтенанта болело все — от шеи до пяток. Но голова посвежела, и чувство дурноты прошло. Он вылез из койки и, шлепая босыми ногами по линолеуму пола, подошел к иллюминатору. Задрайка примерзла и не поддавалась. Антоненко ударил по ней кулаком. Иллюминатор открылся. Морозный парок потянулся в каюту. Где-то на палубе хриплыми голосами ругались матросы. Перед самым иллюминатором, уже на метр поднявшись из воды, чернел борт баржи.

Антоненко понял, что откачка закончена. Нужно было одеваться и выходить наверх. Но вместо этого он закрыл иллюминатор и опять забрался в койку. Самым трудным казалось ему сейчас — выйти на люди, встретиться с ними. Стыд по-прежнему душил его. И не только за малодушие там, на грунте. И не потому, что он умудрился потерять от страха сознание. Нет. Не только это. Победителей не судят, в конце концов. Баржа спасена. Его совесть может быть чиста.

Только теперь, впервые в полном одиночестве встретив смертельную опасность, впервые так остро пережив страх, Антоненко понял, что настоящее мужество и смелость отчаяния — разные вещи. Неужели он трус? Ведь и сейчас он боится. Боится показаться людям, посмотреть им в глаза и сказать, плюнув на субординацию: «Да, не было достаточных причин для того, чтобы рисковать жизнью». Не истинное мужество вело его в воду, а привычное актерство да злость и обида на себя за опоздание из-за этого проклятого тумана там, в проливе у Оленьих островов.

— А, дьявол! — пробормотал Антоненко и стал одеваться.

ОГНИ НА МЕРЗЛЫХ СКАЛАХ

По радию договорились, что экспедиция зажжет на берегу костер, и с мостика судна они видели какой-то огонек, а когда спустили катер и пошли, лавируя между льдин, то уже ни черта не видели впереди, кроме шевелящейся тьмы. И огни судна скоро тоже потеряли.

Над замерзающим морем густо летел снег, магнитный компас в этих широтах врал безбожно, мотор катера перегревался, потому что мелкий лед забивал фильтр холодильника. Через час пришлось остановиться. Сразу стало тихо в рубке, и только снег шуршал по стеклам окон.

— Люди, — торжественно сказал второй штурман Ниточкин. — У меня ноги мерзнут.

— Нечего было пижонить, — пробормотал доктор Алексей Ильич.

— Да, — покорно согласился Ниточкин. — Эта дама будет стоять мне коклюша. И вы будете меня лечить и трогать холодными, скользкими руками. Бр-р-р!

— Сперва даму надо найти, — сказал старший помощник капитана ледокольного парохода «Липецк» и сунул в ракетницу ракету. Моторист вылез из моторного отсека и жадно пил воду — его мучила изжога. Моторист держал тридцатилитровый бочонок на ладони левой руки, ловил ртом струю, а правой раскручивал папиросу. Моторист весил сто двадцать килограммов и больше всего на свете боялся щекотки. Фамилия его была Пантюхин.

Старпом приоткрыл дверь рубки и выстрелил. Зеленый мерцающий свет медленно растекся над морем. Мертвый хаос льдин, воды и снега окружал катер. Льдины побольше плыли куда-то под напором ветра, за ними оставались полосы черной воды, льдины раздвигали сало и молодой лед. Было дико и красиво. Ракета загасла, тьма опять стала густой, как газовая сажа.

Все молчали и таращили глаза в разные стороны, ожидая ответной ракеты с берега или судна. Но нигде ничего не мелькнуло и не осветило.

Старпом подумал о том, как хорошо, что он сам пошел снимать экспедицию. Сидеть на судне и переживать было бы неприятнее. И куда делся огонь костра? Эти мухобои из Академии наук, наверное, жалеют соляр, если он еще есть. Продукты у них кончились, аккумуляторы почти сели, живут в палатке. . . Что могли делать четверо мужчин и одна женщина на острове Новая Сибирь целое лето и осень? Что делали они сейчас в притоке реки Гендершторма? . .

Только потому, что среди них женщина, на катере оказался второй штурман. Он мог бы спокойно спать перед вахтой. Но он надел сапоги и оказался на катере. И доктор здесь по той же причине, но никогда не со-

знается в этом. Он, мол, просто-напросто хочет проветриться, он никогда не бывал на острове Новая Сибирь в устье реки Гендершторма. . . Море замерзает, и давно пора убираться из Арктики. В проливе Вилькицкого уже черт знает что творится, и даже линейный ледокол «Москва» распрощался там с виштом. . . Пошлют домой южным путем. Прикажут взять крабов и лосося в Петропавловске-на-Камчатке, и пойдешь, как миленький, на Англию. И тогда раньше нового года Мурманска не видать, а молодая жена есть молодая жена, и на подходе придется посылать веселую радиogramму: «Выкидывай окурки, буду завтра, целую носик. . .»

— Ну как — остыл твой агрегат? — спросил старпом моториста.

Пантюхин тяжело вздохнул, потер живот и спустился в моторный отсек. На стоянке в Диксоне он напился какой-то дряни и с тех пор жаловался на желудок.

— Ниточкин, — приказал старпом. — Влезь на рубку, включи фару и понаправляй ее там, куда следует. . .

— Есть, — сказал Ниточкин и вышел из рубки.

Через минуту затарахтел мотор, потом вспыхнула фара и осветила нос катера. Нос уже превратился во что-то бесформенное и тупое от ледяных наростов. Сквозь луч фары стремительно и прямолинейно неся снег. Снежная каша ползла по стеклам. Старпом опустил свое окно и принял в лицо полную порцию снега с ветром.

— Ветер с берега, — вслух подумал старпом. — Смениться на обратный он не мог. Пойдем прямо на него. . .

Катер медленно двинулся в узкую щель света от фары.

Сквозь слезы в глазах старпом увидел серое привидение. Казалось, оно спускается с черного неба, парит над морем.

— Что это? — спросил доктор.

— Стамуха, — ответил старпом. — Большая льдина сидит на мели под берегом. Дальше идти нельзя, пожалуй. . . — и он перекинул рукоять машинного телеграфа на «стоп». И сразу в рубке появился Ниточкин. Он был весь залеплен снегом.

— Спустись в кубрик и камелек разожги, — сказал старпом.

— Дайте закурить, — прошлепал замерзшими губами Ниточкин.

Старпом прикурил папиросу и сунул ее второму штурману в рот.

— А они там в палатках сидят, и жрать им нечего, — сказал доктор.

— Им хорошо — с ними женщина, — сказал Ниточкин. — Мужчины вырабатывают добавочное тепло в таких случаях.

«Эта неизвестная женщина заставляет его вырабатывать добавочное тепло даже здесь, — подумал старпом. — Женщина болтается вместе с нами в этой рубке, потому что о ней все время помнят. Полгода дам не видели ребята, вот и бесятся. И ждут загадочного существа с длинными глазами и в свитере с оленями, а окажется фанатичная ученая старушенция. . .»

— Сейчас притулимся к стамухе, — сказал он. — Ломик надо будет в нее вбить и кончик завести. И будем ждать, пока снег не перестанет и видимость не улучшится.

Через четверть часа они спустились в малюсенький кубричек катера. Моторист плеснул бензина на уголь в камельке и поджег его. Жесткое пламя забилося в простывшие стенки камелька, они сразу стали стонать.

В кубричке было два рундука. Четыре пары ног скрестились посередине. В самом низу оказались бахилы моториста, потом валенки доктора, унты старпома, сапоги Ниточкина.

— Куча мала, — сказал Ниточкин, рассматривая оплывающий на сапогах снег. Сапоги оказались несколько выше его головы, и потому снежная мокрота грозила штанам.

За бортом шебуршили льдинки. Катер чуть покачивался. Слышно было, как в рубке скрипит отключенный штурвал.

— Аллу бы Ларионову к нам на «Липецк» поварихой, — помечтал моторист. Он сидел в распахнутом ватнике, рубаха вылезла из-за пояса, виден был голый и грязный, в соляре, живот.

— Виктор Федорович, а помните, как мы в прошлом году с Новой Сибири контейнер с поварихой снимали? — спросил Ниточкин старпома. — Комедия. Сплошная комедия. Хорошее кино сделать бы можно.

— А чего повариха в контейнере делала? — спросил доктор.

— Спала вечным сном, — охотно объяснил Ниточкин. — Под ней двести килограмм льда и поверх двести. Общий вес с тарой — шестьсот килограмм. Померла она еще в середине зимы. От жадности: семь лет с зимовки в отпуск не уезжала — деньги копила. Ослаб, верно, организм, потом воспаление легких и... А у нее забот-

ливая сестра в Ярославле. И потребовала сестра доставить труп в семейный склеп. Уложили ее зимовщики в контейнер со льдом и ждали навигации. Пробились мы к острову только в конце сентября, и тут Виктор Федорович решил, что...

— Поговорим о другом, — сказал старпом.

Ему не хотелось вспоминать историю с поварихой, но теперь помимо воли он вспомнил прошлую осень, эти самые места, ветреные погоды, кислые лица зимовщиков, веселый лай их собак, громоздкий и тяжелый ящик, который так трудно было погрузить в местную лодку — дору; раздражение зимовщиков на умершую повариху, на то, что она портила им настроение целых полгода...

Старпом откинулся к борту и отдраил иллюминатор, высунулся. Шибуршание льда и снега. Скрипучие стоны замерзающего моря во тьме. Казалось, море скрипит зубами, из последних сил сопротивляясь наступающей зиме. Снег втыкался в воду, серая пелена колыхалась на слабой волне между прошлогодних еще льдин.

Старпом думал о том, что, если температура сейчас понизится на два-три градуса, катер влипнет в лед, а судно не сможет подойти обколоть катер из-за малых глубин...

Какое-то проклятое место эти Новосибирские острова. В прошлом году — история с поварихой... Только в прошлую осень теплее было, и лед еще не становился, дули зюйдовые ветры, резвая волна гуляла... Дору тащили на буксире за катером, и лопнул буксирный трос, и дора пропала во мраке, ее искали сутки и не нашли, и решили, что она утонула. Капитан дал радиограмму о том, что контейнер с трупом погиб. А когда снялись с якоря, случайно милях в тридцати обнаружили дору

и в штормовую погоду ловили ее. Однако кто-то из Севморпути поторопился, и в Ярославле выдали родственникам пустой свинцовый гроб с запрещением вскрывать его. Гроб погребли по всем правилам. И когда они пришли в Тикси, оказалось, что нужно самим хоронить повариху. Потом это, конечно, всплыло, начался ужасный скандал, история чуть было не попала в газеты... И виноваты оказались, конечно, моряки. Они сутки болтались на катере в штормовом море, разыскивая дору, они обморозились, четыре раза катер терял ход и ложился под волну, и четыре раза они чуть было не отправились к моржам, но они же и оказались виноваты.

Старпом захлопнул иллюминатор и услышал голос Ниточкина.

— ... Или вот скипидар, — говорил второй штурман. — Тоже определенным образом действует на начальство. У меня есть довольно яркий пример. Когда я был матросом и служил по первому году на подводной лодке, то намазал адмиралу зад скипидаром. Он меня об этом сам попросил, лично. А потом, как Джим Черная Пуля, от меня в сопки уленетьвал. Хотите, расскажу?

— Валяй, — сказал старпом. — Все равно спать не придется.

— Дело в том, что я очень старательный был в молодости, — начал Ниточкин и сплюнул в консервную банку, заменявшую пепельницу.

— Я туда окурки кидаю, а ты плюешься! — возмутился моторист.

— И не имеет никакого значения, — хладнокровно сказал Ниточкин. — Слушайте про адмирала... Небольшого роста конт-адмирал, живчик этакий, вертелся по лодке, как морской бычок, когда ему в жабру папиросу сунешь. Инспектировал. Робу он, конечно, поверх



формы натянул, потому что на лодке чистых мест вовсе нету. Да, в робе на штанах дырка была. Адмирал и под настилы лазал, и в аккумуляторные ямы, и в трубу торпедного аппарата собрался, но наш отец-командир Афонькин его отговорил: боялся, как бы крышка за ним сама не захлопнулась.

— Короче говоря, — продолжал Ниточкин, — когда высокое начальство вылезло на свет божий и стащило робу, то на шевиотовых брюках на самом адмиральском заду было обнаружено пятно свинцового сурика. Наш командир его первым заметил и доложил по всей форме: «Товарищ контр-адмирал, у вас сзади на брюках свинцовый сурик!» А контр-адмирал остряком ока-

зался. И говорит: «Товарищ капитан третьего ранга, боевую тревогу по этому случаю можно не объявлять. Давайте попросту, по-солдатски все это сделаем. Прикажите скипидарчику принести». Определенное количество подхалимажа во мне было уже тогда. «Матрос Ниточкин, — представляюсь по всей форме. — Разрешите, я сбегая?!» Командир головой мотнул, и я ссыпался в центральный пост за скипидаром. Нашел боцмана. А надо сказать, наш боцман авиационный бензин без закуски с похмелья употреблял. Найди он в море солонинку, так и соляр бы вместо коктейля стал потягивать. Ну вот, выдал он мне пузырек и говорит: «Ты только, бога ради, поосторожнее, Ниточкин! Я, честно говоря, и сам не знаю, что это за жидкость». Но мое дело маленькое. Я наверх вылез. Адмирал оперся руками о ствол орудия, выставил заднее место и острит опять, беззаботно еще острит, грубовато, попросту, по-солдатски: «Штопкип, говорит, или как там тебя — Тряпкип, — ты побыстрее. Меня в штабе флота ждут, а шофер у меня боится быстро ездить. Ты, говорит, Катушкип, не очень рассусоливай». Я свой посовой платок не пожалел, легонько намочил его и осторожно трогаю адмиральские ягодицы. Надо сказать, непривычное, странное какое-то ощущение я тогда испытывал, контр-адмирал все-таки, старший товарищ по оружию. . . — здесь второй штурман сделал длинную паузу. Он раскручивал папиросу. Отсыревший табак тянулся плохо.

— Вы должны учесть, — продолжал он, — что я тогда был молод, старателен и глуп, как все первогодки. Оскорбить адмирала или там больно ему сделать не входило в мои расчеты. Я хотел возможно быстрее стереть с него сурик, потому что с красным пятном на брюках являться в штаб флота неудобно. Но действовал я, оче-

видно, слишком осторожно. И адмирал говорит, не без юмора опять же: «Штопкин, не жалей казенного инвентаря и своей молодой мускулатуры». Тут я вылил всю эту вонючую жидкость на платок и втер ее с молодой силой в его старую задницу. И докладываю: «Все, товарищ контр-адмирал! Больше ничего не видно!» И руки, как положено, по швам опустил. А он все еще юмора не теряет, хотя в лице уже несколько меняться стал. «Молодец, говорит, по-солдатски, говорит, тебе, Овечкин, спасибо». И начал интенсивно бледнеть. Потом прижал к одному месту руки и как прыгнет прямо с лодки на причал, а там метров пять, не меньше, было. И вдоль причала куда-то в сопки, как Джим Черная Пуля, выстрелился. А шофер на его «Волге» не растерялся, дал газ и — за ним! Но только фиг он его догнал, за это я ручаюсь, — почему-то мрачно закончил второй штурман.

Моторист долго чесал затылок, потом сказал:

— Почему не догнал? Догнал, наверное. Черт, сода кончилась...

Моторист не отличался сообразительностью.

— Повырастали всякие нигилисты, — пробормотал доктор. — Нет у вас ничего святого.

— Именно об этом я потом и думал, — сказал Ниточкин. Время у меня было: двадцать суток на строгой губе отсидел. А формулировку уже не помню. Кажется, за «нарушение правил пользования горюче-смазочными материалами»...

— Петя, — ласково спросил доктор. — А ты каким путем на флот попал?

— Был у меня в отрочестве друг, — охотно объяснил Ниточкин. — Майор Иванов, морской летчик. Трепач страшный. Он, например, рассказывал, что лично

сбросил на Маннергейма торпеду. Ужасно нравилось нам его треп слушать. Вот я однажды у него и спросил: где можно так научиться врать? Он объяснил, что это возможно только на флоте. А так как мужчина он был отменно хороший, чистой души, то я ему поверил и попер в моряки. Вопросы еще есть?

— Нет, — сказал доктор.

— А вот если глупыша поймать и черню вымазать, знаете что будет? — спросил моторист. Ему явно хотелось тоже что-нибудь рассказать.

— Будет черный глупыш, — сказал Ниточкин.

— Конечно, черный, — согласился моторист. — Но только не в том дело. . . Вся стая на него сразу бросится и будет клевать, пока насмерть не заклюет, во! . . . Мы когда у Канина пикшу ловили, иногда глупышей так мазали. . . Скучно потому что: кино нет.

— Молодцы, трескоеды, — похвалил Ниточкин.

Уголь в камельке тяжело и часто вздыхал, поддаваясь огню. Лед все терся по бортам. Табачный дым плотно заполнил кубрик, и лампочка светила сквозь него тускло.

Старпому стали мерещиться глупыши над морем, их крики, быстрые нырки, блеск быстрых крыльев. Он успел понять, что засыпает, вытащил свои унты из-под сапог Ниточкина и поднялся в рубку.

— Чиф боится дурной сон увидеть, — отметил Ниточкин.

«А чего хорошего в дурных снах? — сонно подумал старпом. — И ничего в них хорошего нет. Вот если бы увидеть львов в полосе прибоя, как старик в какой-то книжке. Или видеть такие сны, как рассказывает жена, — красного попугая на белой березе или черного слона среди желтой пшеницы и голубых васильков. . .

Только все они врут, потому что сны не бывают цветными. . . »

И здесь он увидел красные огни костров в крошечной тьме арктической осенней ночи. Искры летели от костров, завихряясь в красном дыму. Снег сник на секунду, устало затаих ветер, и в эту минуту старпом увидел костры и успел прикинуть до них расстояние, и успел разобрать, что огни разложены створом и створ идет много левее катера, и успел добро подумать о людях из экспедиции, которые не поленились разложить два костра, чтобы показать самый безопасный курс подхода. Тут снег опять густо обрушился на море, и огни пропали среди вертящейся тьмы.

Старпом взял бинокль, подышал на линзы, протер их вывернутым карманом полушубка и попробовал заглянуть во тьму, но ничего не увидел. Однако беспокойство теперь пропало в нем. Следовало еще немного подождать. Только и всего. Метель кончалась. Старпом спустился в кубрик.

Моторист Пантюхин в очередной раз попытался начать что-то рассказывать, но Ниточкин провел по заголившемуся животу моториста мундштуком папиросы. Пантюхин взвизгнул, как малое дитя, и зашелся в хохоте. Он так содрогался, дергался и корчился на рундуке, что катер начал заметно покачиваться.

— Кого я понять не могу, так это полярников, — сказал доктор, когда моторист в изнеможении затаих. — Год за годом сидеть на одном месте и шарики в небо запускать. . . Платят им, конечно, порядочно, но только они и без больших денег сидеть будут.

— Зимовщики на полярных станциях — это вам, док, не детишки в зоопарке, — заметил второй штурман. — Зимовщики не станут совать палку в клетку

с полярной совой и не швырнут эскимо в белого медвежонка. Нет, они так не поступят, потому что любят всяких животных. И даже мух. Вы знаете, что здесь ни одно порядочное насекомое жить не может, и вот, когда мы стояли у острова Жохова, то произошло следующее... Да, пейзаж там обычный: ледники, скалы, полумрак, как будто тебя в холодильник заперли и свет выключили. Стоим, бездельничаем, ледекола ждем, чтобы обратно выбираться. И вдруг на пустынном берегу вездеход появляется, останавливается возле самого припая, выползает полярник и открывает пальбу из винтореза в нашем направлении, то есть просит обратить на него внимание. Часа через полтора мы действительно обращаем на него внимание, спускаем тузик, и я гребу к берегу. Полярник меня на припай за руку, как пушинку, поднял — дядя чуть больше нашего Пантюхи, но грустный, и щека платком подвязана. Бородатый.

— Здорово, родимый, — говорю я. — В чем дело?

— Я муху... убил! — тончайшим голосом мяукает он и весь вздрагивает от ужасных воспоминаний. — Насмерть! Совсем убил!

Я спрашиваю:

— Ты давно спятил?

— Я убил муху, и мне теперь ребята объявили бойкот! — шепчет он.

— Все равно спирта у нас нет, — на всякий случай говорю я.

Он еще больше вздрагивать начал.

— Незабудкой мы ее звали, честное слово! — говорит и хватает меня своими цепкими лапами за хилые плечи. — В радиорубке жила. Целый год! Мы ее так любили! Настоящая муха! Летала! Радист ее пальцем по шерсти гладил, она только ему разрешала, а нам —

нет. . . — и как до этого места дошел, так заплакал настоящими слезами. — И вот бойкот объявили!

— Мухе бойкот? — спрашиваю я, потому что совсем запутался. — За что вы ее, бедное насекомое?

— Нет! Мне, мне бойкот! — орет он громовым голосом и встряхивает меня, как веник в парилке. — Пришел вчера на вахту, а Незабудка в кресле сидела, я и не заметил, поверх нее сел!

— Все равно спирта у нас нет, — опять на всякий случай говорю я, и на этот раз попадаю в самую точку, потому что он сквозь слезы бормочет:

— Нам не пить, нам Незабудку заспиртовать! Чтобы она с нами навсегда осталась! Честно слово, все правда: сел я на нее! Ребята выгнали, говорят: «Поезжай к морякам и без спирта не возвращайся!» Переживаю очень. . . Завхоз, видишь, мне по скуле ломом съездил! . .

— Послушать тебя, Ниточкин, так в Арктике люди только и делают, что о спирте мечтают, — брюзгливо сказал доктор. — Ветер еще у тебя под лысиной гуляет.

Ниточкин снял шляпу, почесал свои густые, кудрявые и симпатичные волосы и решил обидеться.

— Где лысина, клистир несчастный? — спросил он.

— Хватит, — сказал старпом. Он знал, что к концу арктической навигации у моряков сдают нервы, и тогда без ссор обойтись трудно. — Давайте сниматься — метель тухнет, и огни я уже видел. Левее створ ведет мили на полторы.

Все стали растирать затекшие ноги и кряхтеть.

Потом моторист спросил:

— А выпить ты ему дал?

— Вот пристал, — сказал второй штурман. — Не дал я ему спирта. Я ему сказал, что у нашей буфетчицы мух полным-полно и он может любую выбрать. . .

Когда до береговых скал оставалось метра три, катер коснулся грунта и остановился, а льдины, раздвинутые им, еще шевелились и шебуршили, устраиваясь поудобнее. Огни костров скрылись за береговым откосом, и только красные отблески плясали на верхушках сугробов. Узкий луч фары высветил черные треугольники палаток и неподвижные фигуры людей, стоящих возле самого уреза воды. Люди закрывали глаза руками, привыкая к свету. Их было пятеро.

«Не очень они верили в то, что мы дойдем, — подумал старпом. — И палатки стоят, и радиомачту не срубили. Одни грузы к воде подтащили».

Мотор катера чихнул в последний раз и затих. Редкие снежинки мелькали в луче фары. Затерянностью и одиночеством пахло с берега.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал старпом.

— Здравствуйте, — ответил одинокий голос.

— Придется через воду грузиться, — сказал моторист и пошел в нос катера, на ходу подтягивая к бедрам бахилы.

— Не могли удобнее места найти? — спросил доктор ворчливо.

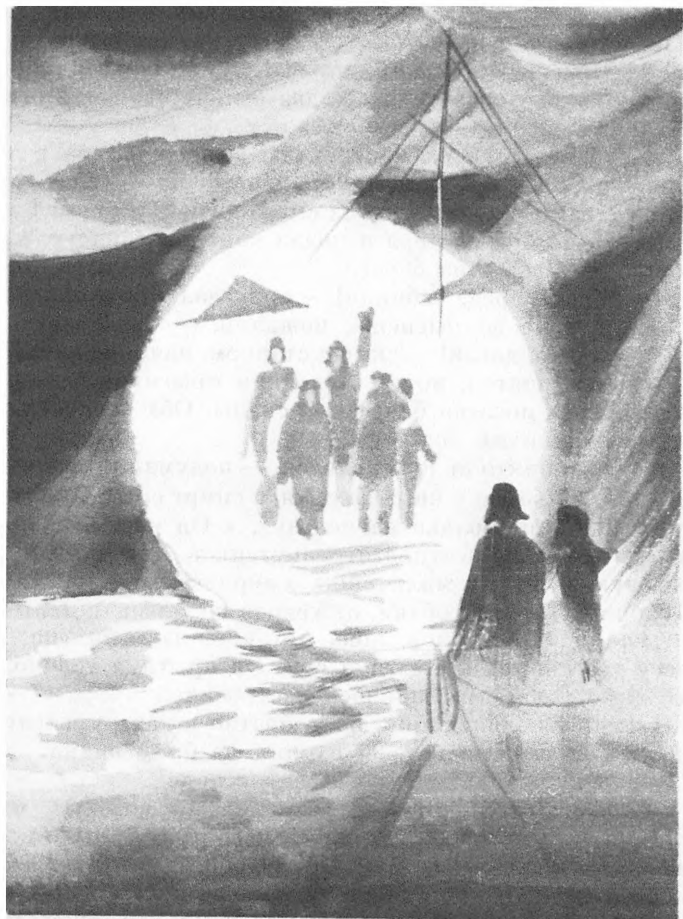
— Здесь везде мелко, — ответил женский голос, и люди на берегу зашевелились.

— Чего вы ждете, мухобои? — спросил Ниточкин. — Начинайте погрузку.

Люди на берегу послушно, разом, повернулись и пошли к груде вещей под скалами.

— И чтобы никто из них ноги не промочил, — сказал старпом. — Ясно?

— Интересно, как она все-таки выглядит? — без



особого энтузиазма спросил Ниточкин. — Самая левая, да?

— Самый маленький справа стоял, — сказал доктор. — Только сразу черта с два отличишь: все в штанах и замерзшие.

Моторист засопел и полез через борт катера в ледяное месиво. Оно сомкнулось у него на поясе. Старпом ударами каблука разбил смерзшуюся от брызг бухту троса на носу катера и подал конец мотористу. Моторист выбрался на берег.

— Все вперед, бабники! — приказал старпом.

— Тут не допрыгнешь, пожалуй, — сказал доктор.

— Давай, давай! — сказал старпом, начиная злиться.

Сперва доктор, потом Ниточкин прыгнули с обросшего льдом носа на береговые скалы. Оба поскользнулись и черпнули воды в обувь.

«Авось никто не простудится. — подумал старпом. — Доктор, разве, но у него наверняка спирт есть. А якутам такое купание только на пользу. . .» Он видел на припае двух голых шестилетних якутенков. Девочка сосала розовую куклу, а мальчишка хмурился, как взрослый мужчина. Бегали собаки, от холода поджимали лапы. . .

Старпом дождался, пока моторист закрепил на берегу трос, и тогда прыгнул сам. Он прыгнул удачно, и от этого у него улучшилось настроение.

Люди из экспедиции шли обратно к катеру, согнувшись под тюками грузов, их лиц не было видно.

— Где начальник? — спросил старпом.

— Снимает палатки.

Старпом неторопливо пошел к кострам. Было приятно ощущать через толстые подошвы унт неколебимость земли. Костры вытаяли в снегу и льду глубокие ямы. Бревна плавника лежали крестами, дымилась, под

ними булькала вода. Старпом повернулся к кострам спиной, посмотрел в черное ночное море — искал огни судна, но не нашел их.

— А должны были прожектор включить, — сказал он вслух.

— Где? На судне? — спросили его.

Старпом обернулся и увидел человека, обвешанного винтовками. В руках человек держал покореженную, прогорелую, старую печку-буржуйку.

— С-собой возьмете? — спросил старпом. Не первый раз он снимал с полярных островов экспедиции, и каждый раз удивлялся. Люди тащили с собой на Большую землю даже пустые консервные банки. Почему? Или люди привыкли ценить здесь, на краю света, каждую вещь, потому что нечем было заменить ее. Или им приходилось думать о реестрах, по которым придется сдавать инвентарь, и о вычетах из зарплаты.

Человек тяжело вздохнул и вдруг кинул печку в огонь. Искры густым столбом поднялись над костром.

— Вам мамонтовых бивней не надо? — спросил человек, и старпом понял, что это женщина. — Там и не очень потрескавшиеся есть.

— А что с ними делать? — спросил старпом. — Вы, что ли, начальник?

— Да.

— Радиомачту рубить будете?.. Давайте винтовки.

— Нет. Она самодельная. Винтовки я донесу, а вы каркас палатки возьмите.

Старпом вдруг рассмеялся — женщине было под пятьдесят лет. Он представил себе лица Ниточкина и доктора.

— И что вас сюда носит? — спросил старпом. — Столько сил, средств... И зачем все это? Чтобы здесь

когда-нибудь люди стали жить? А зачем здесь жить людям, если на земле есть еще места, где и солнце, и зелень. А тут... тут вон даже мамонты и те подошли, черт бы их побрал!

Женщина не ответила и внимательно посмотрела на старпома. Лицо у нее было измученное, закопченное. Старпому стало немножко стыдно.

— Мамонты рыжие были? — спросил он.

— Рыжие, — ответила женщина, и они пошли вниз, к катеру.

Погрузка заканчивалась. Последний огромный ящик нес моторист. Когда моторист ступил в ледяную кашу между катером и скалами, Ниточкин окликнул его. Моторист медленно повернулся к берегу. Ящик давил и сгибал его могучую спину, ватник распахнулся, рубаха задралась. Ниточкин кончиком лыжной палки провел по голому животу моториста, и тот опять заржал, сотрясаясь и скаля зубы.

— Вот так, — с удовлетворением сказал Ниточкин. — Жизнь бьет ключом, и все по голове!

Ящик на спине моториста заколебался, какой-то человек прыгнул в воду, поддержал ящик, заорал:

— Секли вас мало в детстве!

— Не бойсь, — сказал моторист. — И без тебя выдюжим, во!

— Доиграешься ты, Тряпкин, — сказал доктор.

Человек вылез обратно на камни, и старпом услышал, как он шепнул своим людям: «Следите за вещами... Случайный народ, по всему видно... Прошлый раз без песцовых чучел остались...»

— Вы слышали, что он болтает? — спросил Ниточкин.

— Нет, — соврал старпом.

— Он однорукий. . .

— Вера, где печка? — спросил однорукий.

— Возьми винтовку у меня, — сказала женщина. —

И проверь: кажется, заряжена.

Однорукий ловко подхватил левой рукой винтовку, вскинул ее над головой и выстрелил. Эхо стремительно вернулось от скал, завертелось во тьме. И все молчали, пока оно не стихло.

— Пантюхин, перенеси людей на катер, — сказал старпом. — Давайте! — приказал он женщине.

— Иди вперед! — приказала она однорукому.

— Вера, где печка? — спросил тот опять.

— Кончайте разговоры! Время не ждет! — сказал старпом. — Ну!

Однорукий спустился в воду и пошел к катеру, минуя Пантюхина. И опять все молчали, пока он, цепляясь одной своей рукой, перевалился через борт. Звякнула о палубу винтовка.

— Следующий, — сказал старпом. — И нечего зря ноги мочить.

Трое людей из экспедиции переехали на катер в руках Пантюхина. Женщина помедлила, оглядываясь вокруг, прощаясь с промерзшими скалами в притоке реки Гендершторма на острове Новая Сибирь. Старпом не торопил ее.

— Тьфу ты, — сказал Ниточкин. — Опять я прошлогдную повариху вспомнил! Портят мне настроение эти места.

— Не ври, Катуськин, — пробурчал доктор. — Настроение у тебя совсем по другому поводу испортилось. . .

В чернильной мгле ярко горели костры, их огонь не мерцал, светил теперь ровно-оранжево. Костры оста-

лись одни на промерзших скалах: тяжелые туши плавниковых коряг в кострах оседали, подточенные огнем, оседали медленно и плавно, не вздымая искр. Пар от тлеющего льда и снега мешался с дымом. Наверное, поэтому костры светили таким ровно-оранжевым светом.

Старпом вел катер, то и дело оглядываясь на костры, стараясь держать их точно по корме. И почему-то думал о них: о том, как тьма все плотнее смыкается вокруг огня, брошенного людьми на произвол судьбы, на одинокое затухание. Старпому было жалко костры. Он знал, как шипят сейчас угли, откатываясь в снег, как быстро околотеют головешки, как тоскливо будут дымить торцы бревен, торчащие из костров, как выкипит влага, пузырясь и паря. Торцы бревен так и не сгорят, потому что некому будет подтолкнуть их дальше в огонь. . .

Кубрик катера был полон людьми, они спали там вповалку.

Только женщина стояла в углу рубки, прижавшись лбом к стеклу окна.

Минут через тридцать старпом перестал оглядываться на костры, потому что один из них пропал, а другой казался тлеющей во мраке отсыревшей спичкой. Старпом теперь шарил биноклем впереди по курсу — искал отблеск судового прожектора. Мотор катера работал ровно, уверенно. Катер возвращался домой, как и положено всякой порядочной лошади, резвее и веселее. Но судно не выказывало себя, и это было неприятно. И еще неприятнее было, что люди из экспедиции, спящие в кубрике, были чужие и замкнутые.

— Сколько вы здесь бродили? — наконец спросил старпом женщину.

— Забросили вертолетом в мае, — ответила она

вдруг каким-то очень молодым и очень женским голосом. Голос совсем не вязался с ее обшарпанным и старым видом.

— Сколько вам лет? — спросил старпом.

— Сорок восемь, — не сразу ответила женщина.

— А дом-то у вас есть? — грубо спросил старпом. —

Муж, дети?

— Я здесь с мужем, а детей нет.

— Это однорукий — муж? — догадался старпом.

— Его зовут Валерий Иванович. У него еще фамилия есть и звание кандидата наук. И должность.

— Простите, — сказал старпом. Он все не видел прожектора, хотя, судя во ветру и волне, они уже вышли из-за мыса. Тучи поредели. И несколько звезд замерцали среди них. Старпом прикинул в уме созвездия, время и широту места и нашел Арктур. Он, пожалуй, мог бы найти его и без созвездий, потому что любил Арктур за лучистость и ясность.

— Альфа Боутис, — пробормотал старпом.

— Где, вон эта? — спросила женщина с оживлением.

— Да, самая яркая левее носа.

— Альфа Волопаса, — сказала женщина.

— Совершенно верно, — согласился старпом.

— Про него Паустовский писал, — сказала женщина. — И Федин.

— Пишут всякую чепуху, — пробормотал старпом. — Название красивое, вот и пишут, а поди не найдут, если спросишь...

— Наверное, вы правы, — сказала женщина.

— Постойте-ка у штурвала, — сказал старпом. — Мне надо ракету бросить.

Женщина перехватила рукояти штурвала.

— Куда держать? — спросила она.

— А вот на Альфу Волопаса и держите.

— Он сейчас скроется, тучи летят быстро очень.

— А я тоже быстро, — сказал старпом, с удовольствием распрявился, сделал несколько хуков в переборку, закурил и вытащил ракетницу. Женщина очень старалась править прямо на Арктур, но катер стал рыскать. Старпом высунул руку в окно и выстрелил в том направлении, где, как ему казалось, должно было быть судно. Красная ракета шипя ушла во тьму, раскалывая, но не разжижая ее. Старпом увидел впереди стамуху, узнал по очертаниям вершины, и обрадовался: значит, пока они шли правильно.

— Красота какая, — сказала женщина.

Ракета рассыпалась и рыжим лошадиным хвостом метнулась над морем. И сразу левее их возникло ответное, слабое и короткое зарево. .

— Вот так, — сказал старпом и перехватил штурвал. — Через часик будем суп есть. Вы к нам на довольствие станете или на сухом пайке?

— На довольствие... — протянула женщина задумчиво. — Слово-то какое... Скажите, а почему ваши люди, ну, как-то нехорошо к нам, как-то неуютно, что ли?

— Ребята слышали, как однурукий... Простите, муж ваш кому-то сказал, чтобы вещи берегли. Вот и все. Ребята науродовались, пока к вам шли. Да и весь экипаж судна может на полгода позже домой попасть... Не нравится мне ваш муж.

— Устал он очень, — тихо сказала женщина. — Изнервничался. Вы не думайте о нем плохо. И в ящиках гербарий ценный. Он про него, верно, говорил... — и вдруг женщина засмеялась.

— С чего вы? — спросил старпом.

— Я вашего Тряпкина вспомнила. Как это он сказал: «Жизнь бьет ключом, и все по голове»?

— Его Ниточкин фамилия, — сказал старпом. — Смешной парень, но, боюсь, ничего из него не выйдет. Только старинный опыт помогает побеждать море, а во втором штурмане сидит дух протеста против всего устоявшегося. Когда он несет вахту, мне дурно спится... Прожектор видите?

— Нет.

— А вон на тучах отсвечивает... Волна там. Намучаемся, пока катер поднимем.

— Вот вы не можете понять, зачем мы изучаем флору арктических островов, — сказала женщина. — Изучая Землю или космос, мы изучаем самих себя, ибо мы — плоть от плоти Земли и космоса.

— Н-да, — глубокомысленно сказал старпом. Он думал сейчас о том, что пассажиров придется обвязывать тросом и вытаскивать на судно поштучно, иначе кто-нибудь может сорваться со штурмтрапа. Волна становится все больше, у борта судна она разбивается, катер пустится там в такой пляс, что и стропы подрезать ему под днище будет тяжело и опасно... Интересно, завизжит этот философ в юбке, тьфу, в брюках, когда ее потянут на борт ногами кверху?.. Пожалуй, нет, — решил старпом.

Огни судна приближались. Из общего светлого пятна уже выделялись люстры на грузовых стрелах и одинокие якорные огоньки на носу и корме.

Волны захлестывали катер и сразу замерзали на груде экспедиционных вещей, качало сильно и неровно, но женщина совсем не замечала качки. Она плотно втиснулась между станиной штурвала и окном, обернулась к старпому и продолжала говорить.

— Мне иногда кажется, — говорила она очень серьезно и все более торопливо, — что главный тормоз для человечества сегодня — количество собранного опыта. Теперь люди пробились к каким-то иным законам, и необходимо пересмотреть весь, совершенно весь, тысячелетний опыт; он весь однокбок, понимаете?!

— Не очень.

— А это трудно понять, и страшно. Все равно, как представить бесконечность.

— Спуститесь в кубрик, — приказал старпом. — Поднимите людей. И пусть все ваши наденут спасательные нагрудники. Ясно? побыстрее только!

— Зачем нагрудники? — спросила женщина, вглядываясь в судно, щурясь на его огни, удивляясь его неожиданной близости, огромной черноте и высоте его бортов, молчаливости палуб и грохоту волн над развалом носа.

— Так положено, — сказал старпом. — Толку от них не будет, если кто сорвется между бортами, но так положено. Давайте-ка побыстрее, есть охота... Дьявол! — выругался он, потому что до сих пор не видел вахтенного на крыле мостика.

Из кубрика вылезали люди и проходили за спиной старпома на палубу. Старпом положил руль на борт, круто развернул катер и повел его почти перпендикулярно судну. Больше старпом не думал ни о чем, кроме направления ветра, волны, своей скорости, рыскливости судна, кранцев на его борту и сотни всяких других вещей, из которых складывается швартовка в открытом море.

НЕВЕЗУЧИЙ АЛЬФОНС

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посовестился опять тревожить, а тем временем автобус. . .

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». — «Ну ладно, — говорит тут шофер. — Садись, подвезу». — «Спасибо, я прогуляться хочу», — бормочет неудачник. «В такой дождь? Да ты в уме?! .»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-

то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, что прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего, — думает неудачник. — У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Промок из-за тебя, как... как... На коробок и иди...» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике — моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военноморском училище, была, естественно, лошадиная — Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстомер в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет. Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год.

Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь — с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор — председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса — генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее — учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину майора и угодил в штрафбат. И был

искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно немного. Но не тут-то было! На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают скапливаться на судьбе окружающих.

Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все — вся рота — дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время блокады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на

кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому, но только у него это не случилось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас — салажню и криветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

— Рыба, — сказал Альфонс. — Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

— Альфонс, тебе кашки не хватает, что ли?

— И не только мне, Рыба, — сказал Альфонс.

— Кушай, — сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, с «натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы. . . опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам

досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер и мы еще получили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по кортику, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых начальников, сообщили им сквозь рыдания, что никогда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда, наконец, поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы — это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий) и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как мы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огрузли, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть

за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крышки.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но в конце концов совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

— Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

— Пейте ребята, не обращайтесь внимания, — сказал Альфонс бодрым голосом. — А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

— Не говори глупостей, — сказал Пашка и подзвал официанта. — Еще пятьсот капель, папаша!

— Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! — сказал я.

— Да чебуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь внимания.

Но мы отставили рюмки.

— Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл близким перелетом своего флагмана... понизили в звании... теперь на берегу служу, — скупно, но точно доложил Альфонс.

— Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! — сказал я.

— Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, — сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

— В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в пломбированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать. . . вот и. . . Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился, — объяснил Альфонс.

— Обычное дело, — сказал Пашка. — Все флагманы удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выьем, ребята.

— Ударим в бумеранг! — сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение объясняло когда-то для нас выпивку.

— Сейчас я уйду, — сказал Альфонс. — А то у вас будут какие-нибудь неприятности сегодня.

— Перестань говорить глупости, — сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь — подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым толстым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он

красиво, пальцы у него не короче наших, а смотрит он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

— Альфонс, — тихо и несколько скорбно сказал Пашка, — сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

— Да, — согласился Бок. — Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама — прекрасное существо.

— Девочка — прелесть, — чмокнул губами Хобот.

Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято называть такое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз — пачкуля!» Мне самому сейчас уже за сорок, но каждый дворник или швейцар, запрещая мне что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает.

— Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, — сказал Альфонс. — Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько и как,

и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него получку и не выгоняла в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию медицинского генерал-майора и одинокие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

— Брось, — сказал я. — Еще рано заваривать такую кашу. . .

Я, правда, знал, что если у человека вся жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь — перешибить судьбу чем-нибудь таким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один — судьба действительно переломится, второй — судьба с огромной силой добавит неудачнику по загровку.

— Подожди немножко, старая лошадь, — сказал я. — Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться.

— Как знаете, ребята, я для вас на все готов, — сказал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывая взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригублиwała сухое

вино. С генералом ей было явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женственность?

Женственность — это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опускает, окружает ее и находится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркальце.

— Ребята, — сказал Альфонс. — Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон. И я готов попробовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом, когда стул еще висел в воздухе, генерал соскочил с него, задев бедром стол. Затылок генерала стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать.

— Папа! Папа! — воскликнула девушка.

Альфонс, пятясь задом, вернулся к нам.

— Это он! Это уже за пределами реальности! Это ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу.

— Пора сниматься с якорей, — сказал Хобот. — Возможны пять суток простого ареста.

— Чепуха, — сказал я. — Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

— Альфонс, хочешь попробовать? — спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

— Да! — мрачно согласился Альфонс.

Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

— Иди и пригласи ее танцевать! — сказал Бок. Учитывая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый — когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами. Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все

теперь пойдет у него хорошо и гладко. Но мы несколько ошиблись.

— Прошу расплатиться и всем следовать за мной, — предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты — там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку...

Последний раз мы встретились в Архангельске. Была ранняя северная осень. Я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встречала рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

— Тонут, тонут, все тонут... .Лето жаркое было,



купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и... так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевалило... А третьего дня в Соломбале...

— Бабуся, остановись, — попросил я.

До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани.

— Не нравится? Бога бояться надо! — злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую унылую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

— Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

— Так я и знала! — с торжеством сказала старуха.

— Альфонс! — позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел.

И мы куда-то пошли с ним от пристани.

— Ты где? — спросил он.

— На перегоне, — сказал я. — На Салехард самоходку веду.

— У Наянова? У перегонщиков?

— Да. А ты где?

— Здесь, в портофлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

— Слушай, — сказал я. — Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

— Батька уже маршал, — сказал Альфонс. — Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта — моя теща, жены моей мама.

— А кто жена-то? — спросил я.

— Вдова она была, — объяснил Альфонс. — Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

— Еще бы! — сказал я. — Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

— Ну, а кто же за ней смотреть будет? — удивился Альфонс. — Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай все-таки господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ШТУРМАНА



ТИХАЯ ЖИЗНЬ

В 1969 году я работал вторым помощником капитана на теплоходе «Невель». Это экспедиционное судно обеспечивало связь с космическими объектами и плавало под вымпелом Академии наук СССР. Подчинялись мы и своему родному Балтийскому морскому пароходству и Начальнику флота Академии наук СССР — знаменитому полярнику И. Д. Папанину. Все семь месяцев рейса мы провели в далеких южных морях — за экватором.

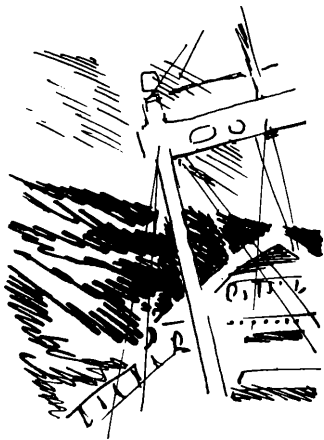
15 сентября 1969 года.

Идем из Сингапура на архипелаг Каргадос.

Жара. Средней силы пассат — в корму слева.

Матросы мажут суриком грибки вентиляторов. Карминные пятна на белом — сильный контраст под полуденным солнцем. Матросы полуголые, в немисливых шляпах, панамах, и не торопятся. Никто никуда не торопится.

Пижон бродит по крыше носовой надстройки — это под окнами рулевой рубки; Пижон ищет тени, но он



уже привык к жаре, он не так ищет теней, как развлечения в полуденной скуке. Изредка, чтобы показать, как ему тяжело, Пижон вывешивает язык.

Дебелый кок вылезает из бассейна на крышу надстройки, он в плавках; Пижон ему надоел. Пижон знает это и наблюдает за коком издалека.

На палубе матрос Зайцев стрижет желающих под ноль. Юго-восточный пассат уносит остриженные

вихры за борт в Индийский океан. Свежеостриженные головы белеют на загоревших плечах.

С полдня моя вахта. Одну высоту Солнца я уже взял и посчитал линию. Разность высот всего восемь десятых минуты, — ясно, что мы на курсе. Мне тоже все лень и нечего делать. Я смотрю сверху на Пиждона и на медленную судовую жизнь.

Хожу с крыла на крыло.

Океан и светило сплят глаза даже через темные очки. Над горизонтом — серые от жары, мутные облачка хорошей погоды. С наветренного борта волны темнее, синее, гуще; отшатываясь от борта, рождают короткие и злые радуги брызг. Облачка с противоположной солнцу стороны розоватые, мелкими клочками. Ветер прохладный, разом снимает с плеч палящую жару правого борта. Ветер рвет распашонку и залезает в кар-

маны шорт, ставит дыбом волосы. Если специально прислушаться, вдруг замечаешь, что волны ударяют в борта сильно, что это крупные океанские волны. А если специально не прислушиваться, ничего не заметишь — так привык к волновому шуму, белым гребням, кольцу горизонта.

Постояв на наветренном борту, я вдруг с удовольствием чихаю. От трепыхания одежды на теле начинает зудеть кожа плеч и рук. Я перехожу на правый борт и попадаю в пекло. Здесь волны замедленные, умиротворенные, металл раскален.

На воде появляется овальное темное, четко очерченное пятно. Пятно извивается на волнах и плывет рядом с нами. Его размеры такие, как у судна, — метров сто в длину. Это тень крошечного облачка, которое повисло между нами и солнцем на высоте около километра.

Облачко отворачивает вправо, его тень начинает обгонять нас и отходить к горизонту. Отходя, оно теряет овальную форму и делается все уже, наконец превращается в черту на воде.

Скучно. Рассматриваю локти — один ссажен и с него сходит кожа. Прихожу к выводу, что локти не самое красивое место человеческого тела, Правда, им, беднягам, достается.

Кто-то с палуб запустил бумажного голубя. Голубь высоко и стремительно взлетает, потом долго планирует и наконец распластывается на волне и исчезает.

Иду взглянуть на огород. Чахлая редиска и лук в ящиках все-таки борются за жизнь. И пожалуй, они победят.

Хочется на землю. Хочется лечь в тени деревьев на

берегу реки или между двумя рядами картофельных кустов, среди шершавой и мягкой картофельной ботвы, близко видеть фиолетовые и желтенькие картофельные цветки, такие красивые, когда смотришь на них близко. И шмели вокруг. . .

Корма описывает над океаном эллипс — вверх-вправо-вниз-влево-вверх-вправо. . .

На самой корме стоит и смотрит в кильватерный след мастер. Одна нога на релинге, локти тоже. Так он будет стоять долго. Он всегда один, даже когда общается с кем-нибудь. Так мне продолжает казаться.

Захожу в штурманскую. Кондишен ледяным, погребным холодом дышит в затылок. От нечего делать листаю лоцию пролива Ла-Манш — хочу уличить Жоржа Сименона в лице. Я прочитал его «Президента». Президент живет по точному адресу — возле маяка Антифер в селении Этрета. Меня очень интригует смелость Сименона — неужели он взял кого-нибудь из подлинных личностей за основу Президента? И как он отделялся от вопросов местных знатоков, если поселил Президента в подлинно существующем месте?

Сименон оказывается смелым человеком — я нахожу в лоции и маяк Антифер, и селение Этрета. . . Хорошо там сейчас, думаю я, в заливе Сены, в конце сентября, среди холмов, покрытых лесом.

Мыс Антифер — высокий и округлый, высоко вздымается над прибоем отвесной стеной меловых утесов среди темной зелени лесов. В долине, выходящей к морю, спокойно смотрят на мир окна дач Этреты, отдыхают на прибрежной гальке вытащенные на берег рыболовные суденышки, молчит старинная часовня Нотр Дам де ла Гард, а вечерами мерцает на берегу подсвеченный памятник погибшим морякам, рыбакам или

воинам... И мимо всего этого тихо струит воды Сена, становясь соленой морской волной...

Я отмечаю время — 14.00, записываю отсчет лага — 78,4, отмечаю пройденное за час расстояние — 11,4 мили. Через тридцать минут можно брать второе Солнце.

Светило не грозит исчезнуть в облаках, и горизонт устойчиво четок — обычное дело, когда знать свои координаты не очень важно. А когда прижмет, солнце обязательно станет таким лохматым, как подушка, из которой вылетают перья, или горизонт будет дымиться...

Вахта перевалила за половину. Я вспоминаю, что на пеленгаторном мостике сушится линеметательный аппарат. Тропические ливни сделали свое дело — ящик оказался на треть залитым водой. И вот теперь линии, ракеты, запалы сушатся наверху.

Поднимаюсь на пеленгаторный мостик и вижу, что мой линемет отодвинут в сторону, ракеты сложены в кучу, а на ящике лежит и загорает Эльвира — младшая буфетчица. Она лежит на животе, лифчик растегнут. Эльвире хочется, чтобы и следа от лифчика не осталось на ее тропическом загаре.

— Я линии вытащил сохнуть, — говорю я Эльвире. — А вы что тут наделали?

— Ах, я не знала! — врет она, прикрывая с боков свои груди.

Спускаясь с мостика, вижу электриков, которые заливают электролит в аккумуляторы.

По трансляции объявляют, что на банке Каргадос состоятся соревнования по ловле тунцов.

Пижон нашел грязную веревку и таскает ее по крыше надстройки, терзает под солнцем. Кто-то лениво отбирает у пса веревку, пес лениво отдает...

И после такой мирной вахты мне почему-то снится, что я приговорен к смертной казни через повешение. И все есть во мне — обида, потому что я ее не заслужил, смертную казнь через повешение, жуть и страх неизбежной смерти, судорожные попытки найти выход и бежать, но бежать нельзя по моральным соображениям — меня стережет человек, которого нельзя подвести. . .

16.09.69

Ночная вахта начинается и заканчивается борьбой с эхолотом НЭЛ-5. Все тот же закон: пока плывешь на глубине в пять километров, эхолот отлично работает, потому что абсолютно никому не нужен. Но вот мы подходим к островам Каргадос, должны задеть край банки Назарет и по глубинам на этой банке опознать место.

А эхолот показывает то стада тунцов, то джунгли кораллов, то ровный асфальт строевого плаца, то есть показывает он все, что я хочу представить себе под килем нашего теплохода, кроме истинной глубины.

По десять минут стоим мы с капитаном, уперев тупые взгляды в эхограмму, которая ползет через валик, потрескивая под искрой пробивного тока. Эхолот бабстует.

Радар возьмет островок Альбатрос, на который мы выходим, оставив по корме диагональ всего Индийского океана, в лучшем случае в десяти милях, а мы не можем нащупать глубины подхода.

Старый НЭЛ-3 был куда проще, а потому и надежнее, так считаю я. Черт с ними, с самописцами и прочим, я и без них обойдусь, если есть хороший импульс. . .

Так и не взяв глубины, уйду спать.

Около восьми утра просыпаюсь от грохота якорной цепи и вибрации заднего хода.

Утро солнечное и тихое. Милях в двух желтеет узкая полоска песчаного берега островка Рафаэль, поверх песка густая и не очень зеленая шапка кустарников. И почти по всему горизонту салатно-зеленая и нежно-голубая полоса мелкой на рифах воды, а за ней, с дальней стороны островков и рифов, тянется мощная полоса белых бурунов — там расшибаются волны, пригнанные юго-восточным пассатом.

Кто знает архипелаг Каргадос-Карахос? Я, например, узнал об его существовании только тогда, когда увидел английскую карту № 1881.

У многих в крови любовь к старинным картам. Я их тоже люблю. Но не тогда, когда надо вести судно по старинной карте. Невольно почешешь в затылке, когда прочтешь: «Архипелаг Каргадос-Карахос нанесен на карту сэром Эдвардом Бельчаром в 1846 году». А восточные берега рифового барьера в 1825 году обследовал лейтенант Мюдже со своими людьми на вельботе. Он проник на восточную сторону рифов с западной, так как «ни одно судно не отваживалось подойти к рифам с мористой стороны». Лейтенант был смелым человеком и отчаянным моряком. О рифы, которые он обследовал, разбиваются волны, начавшие разбег от берегов Индонезии и Австралии. Даже в бинокль жутковато смотреть на мощные фонтаны прибоя с мористой стороны барьера.

Конечно, карту корректировали. Но и последняя корректура была в июне 1941 года. За двадцать восемь

лет океан и кораллы наворотили здесь уйму неожиданного. Уже по сведениям 1944 года обнаружено много островков, не нанесенных на карту № 1881. Никаких иных карт архипелага во всем мире нет.

Архипелаг Каргадос-Карахос. Плоские и низкие островки на коралловом рифе, вытянутые с юга на север на 27 миль.

Остров Фригид изобилует крысами. Остров Пол — к нему можно подойти только на местных пирогах. Остров Рафаэль — здесь растет несколько деревьев и кокосовых пальм, есть хижины и сараи. Высадка наиболее удобна на юго-восточной оконечности, сюда между осыхающими скалами, лежащими в полукабельтове к югу от острова, идет шлюпочный фарватер.

Периодически острова посещаются частной промышленной компанией с острова Маврикий, которая заготавливает здесь соленую рыбу, черепаховую кость и добывает гуано.

Приливо-отливные течения с западной стороны острова Рафаэль местами достигают большой силы, особенно течение, идущее на норд.

Архипелаг принадлежит Британии, администрация — на Маврикий, до которого 220 миль.

Капитан приказал мне сходить на разведку, попробовать найти людей на Рафаэле и испросить разрешение на проведение Дня здоровья. Так на официальном языке называется купание, загорание и ловля рыбы.

Прежде чем идти, я долго общался с сэром Эдвардом Бельчаром и лейтенантом Мюдже. Карту не рассматривают. В карту погружаются. И глубина погружения равна глубине твоего опыта. Бог знает, какое сцепление

и мешанина мыслей, интуиций, смутных воспоминаний об аналогиях; пересчеты английских саженой на метры, напряженная попытка ощутить направление не по компасу, а мозжечком; зыбкие видения будущих реальностей за условными обозначениями, — и все это без словесных формулировок. Какое-то сомнамбулическое состояние. Оно, если обстановка не торопит, может продолжаться часами. Так, вероятно, знатоки живописи погружаются в картину. И вдруг сверкнет решение: «Пойду на ост до стоящей там на якоре шхуны, она милях в полутора от Рафаэля. Ветер зюйд-ост шесть — будет в бейдевинд, волна не так заливать станет. От шхуны пойду на зюйд-вест нащупывать шлюпочный фарватер, о котором сказано в лоции. Если шхуна стоит здесь, то имеет связь с берегом. Проливчик со шлюпочным фарватером открыт с восточной стороны, значит, туда вкатывает зыбь, оставшаяся после прибойных волн. Конечно, эти волны потеряли на рифах силу, но зыбь все равно будет та еще! И никаких отметок глубин сэр Бельчар здесь не оставил. Проливчик огражден осыхающими камнями, значит, и грунт — камень скорее всего. Здесь ушки держать на макушке...»

Никакой бейдевинд не помог. Вельбот заливало брызгами. Помпа, конечно, отказала сразу, как и все помпы на этом свете. Вероятно, только у Харона, который перевозит в ад покойников, никогда не отказывает помпа.

Шхуна называлась «Сайрен». Очевидно, в честь островка Сайрен, который южнее Рафаэля. Приписка шхуны — Порт-Луи, Маврикий. Ни одной живой души на палубе не было. Мертвое судно.

От нее мы пошли на проливчик. Заливать стало еще больше — ни одной сухой нитки, воды — половина вельбота. Глаза забивало брызгами, соль Индийского океана мутила зрение, очки не помогали, бинокль тоже не помогал. Да и глазеть в бинокль на летающем по волнам вельботе — бессмысленное дело. А глядеть надо было. Никаких «осыхающих скал», ограждающих проливчик, я не находил. Вместо них всплывала из воды низкая песчаная лепешка, поросшая кустиками. Сам проливчик заполняли подводные скалы, и на них вскипали буруны. Вперед видно было очень плохо, зато прозрачность воды была удивительной, на глубине метров в пятнадцать отлично видны были камни; изменение цвета воды над грунтом и камнями на разных глубинах было отчетливое — от нежно-зеленого, как первый весенний листочек подснежника, до темно-грубо-синего.

В проливчик, как я и ожидал, шла крупная зыбь. Поворачиваться к ней лагом было опасно, и мы продолжали переть в буруны, надеясь, что среди них вдруг откроется щель. Так часто бывает. А часто и не бывает.

На самом малом мы ползли между бурунов на зыбь и раза два крепко стукнулись о камни. После второго раза я застопорил дизель, приказал взять отпорные крюки на упор, всех свободных послал в нос, чтобы поднять корму и сберечь винт. И вельбот, глубоко колыхаясь, подрейфовал к южной оконечности Рафаэля. До этого я остров и не видел — так поглощен был управлением неуклюжей посудины.

И вот увидел близко деревья, пальмы, клонящиеся под ровным натиском пассата, услышал их густой шелест и вздохи древесных крон.

А мы здорово отвыкли от деревьев.

Потом увидел штук семь домиков-хижин. Между берегом и домиками стоял высокий крест из светлого камня с одной перекладиной. Правее креста метрах в ста лежали пироги, вытащенные на мелководье лагуны.

Из тени деревьев вышла группа негров, они подавали руками сигналы, напоминающие международный семафор для терпящих бедствие на берегу. Мы были уже метрах в двадцати от уреза воды, румпель задро-



жал в руке — руль коснулся грунта. Грунт был каменный, и я завопил: «Пошел все за борт! Бери на руки!» Матросики с восторгом попрыгали в зыбь, вельбот облегчился, камень сменился галькой, галька — коралловым песком, и мы приехали.

Негры перестали махать конечностями, но к нам не пошли, стояли тесной группкой метрах в ста. Это была голь перекатная, несчастная и забитая.

Я припас презент — пять пачек сигарет «Новость» и альбомчик открыток с зимними видами Ленинграда. Вооружившись противогазной сумкой с дарами, пры-

гнул за борт и вышел из синего моря на ослепительный под солнцем коралловый песок. Деревья шумели замечательно, но от хижин пахло дрянью.

Мужчина лет пятидесяти, обросший бородой, как Робинзон Крузо, в тропической шляпе-шлеме, в рваном, но европейском одеянии пошел навстречу. Один пошел. И не доходя шагов пять остановился, зажестичулировал, заговорил быстро. Совместными усилиями мы разобрали «олл ил». Прибавив к этим словам жесты, мы получили дедуктивный вывод: «Здесь все люди больны заразной болезнью, уходите немедленно!»

Я сложил сигареты «Новость» и снежные виды родного города на раскаленный тропическим солнцем коралловый песок. Получилась симпатичная кучка. Робинзон облизнул усы.

«Можно?» — спросил я и показал на остров Сайрен. Он сказал: «Олл айлендс!»

«Куда угодно, кроме Рафаэля», — так поняли мы.

И здесь я вдруг вспомнил журнал «Мир приключений».

— Проказа! — заорал я. — Пошел все в вельбот!

И мы сами не заметили, как миновали буруны, камни, проливчик. Правда, теперь нам помогали и зыбь, и попутный ветер.

Решили навестить Сайрен, что, между прочим, означает «Сирена». Пускай она споет нам свои песни, думал я. И пускай на Рафаэле не будет большой драки: если этот белый не очень крепко держит в руках свою толпу, то там, позади серого креста, между куч разлагающихся отбросов, в тени пальм, при дележе презента получится крепкая потасовка.

Но это уже нас не касалось. Главное было выполнено — получено разрешение на высадку.

В лоции об острове Сайрен говорилось только, что возле берегов есть несколько подводных камней. Уже хорошо, — значит, не сплошь камни.

Мы стали на якорь метрах в пятидесяти с подветренной стороны. Ближе было не подойти. Накат, как всегда возле маленьких островков в океане, почти не зависит от направления ветра. Зыбь обнимает, обходит островок.

На острове курчавился кустарник, и над ним висело плотное орущее облако — сотни тысяч птиц.

Я был достаточно глуп, чтобы стянуть с себя джинсы и рубашку. И достаточно умен, чтобы прыгнуть в воду, не снимая сандалет. За пояс плавков я засунул авоську — для морских ценностей. Но я, конечно, не ожидал, что ценностей окажется столько.

Едва вылез из прибоя, разбив колено о камень, едва отфыркался от соли и очухался от неистовых птичьих криков, едва глаза привыкли к слепящему сиянию раскаленного песка, как я увидел, что это вовсе не песок. Миллионы ракушек, кусочки кораллов, окаменевших морских ежей, звезд, панцирей, скелетов. Вода, смачивая раковины, заставляла их сверкать всеми цветами и оттенками.

И буйная, сумасшедшая жадность охватила меня. Я бросился хватать подряд все раковины и кораллы, совать их в авоську, как тот мерзавец, который пробрался в пещеру Али-Бабы и растерялся среди безмерных сокровищ.

Весь остров Сирены я с наслаждением погрузил бы в трюм. Вернее, береговую полосу, потому что за нее ступить было невозможно: птенцы, едва начавшие ползать, птенцы неподвижные еще, только таращившие ясные черные глазенки, яйца в ямках, мамы и папы,

недвижно и жертвенно сидящие на гнездах, — ступить в глубину острова невозможно было и на один шаг. Но я туда и не стремился, хватал раковины, выдергивал из земли ползучие растения, чтобы растить их в каюте. Кротом рылся в береговом откосе, выворачивал пудовый коралловый остов, бросал его... Я был в пещере Али-Бабы; но сколько утянешь сокровищ, если с ними надо проплыть сквозь океанский накат полсотни метров?

И все, кто здесь были, как я, в первый раз, вели себя аналогично. Наконец я пришел в себя и просто пошел вокруг Сирены, беспощадно обгорая на солнце. И я понимал, что сгорю на корню, но, черт возьми, говорил я птицам, а вдруг никогда больше не попадешь к вам сюда? А ведь плаваем мы, возможно, ради таких вот нескольких минут чужого, прекрасного мира; ради свидания с теплыми и сочными прибрежными растениями с их зеленоватыми зонтичными, странными цветами; ради скользящей тени большой хищной рыбы в близких волнах; ради видения индийски-океанского мира вокруг...

«Не счесть жемчужин в море полуденном...»

Теперь не только песня Варяжского гостя стала зрима мне.

С мористой стороны островка океан гремел Бетховеном. И как у Рубенса на картине «Союз Земли и Воды», возвещая о благодатном и мощном союзе стихий, трубил в раковину небес Тритон.

Недаром аллах, создавая в раю лошадь для Адама, дал ей одно крыло из жемчуга, а другое из кораллов.

И как всегда, обидно было, что близкие тебе люди не видят всей этой красоты. Жадность к океанским бо-

гатствам была так остра еще и потому, что в каждой раковине и в куске коралла хотелось привезти с собой в зимний Ленинград частицу этого блистающего мира, ибо никакими словами или фотографиями не выразить влажной тяжести раковины, ее перламутровой, жемчужной гладкости внутри и морщинистой поверхности, не передать вкуса соли и силу солнца, которые создали чудо коралла.

Пижон был взят на вельбот и был протасен сквозь прибор. Он ошалел от твердого берега, птиц, шелеста кустов. Он носился вокруг нас, боясь отбежать дальше десяти шагов, мокрый, радостный, наглотавшийся соленой воды, ничего не понимающий после недавней качки вельбота и чада дизеля. Да, вряд ли хоть один пес поверит Пижону, когда в старости он будет трепаться о своих морских приключениях.

Матросы ныряли с масками и ластами, доставали со дна живых огромных каракул, смертельной хваткой сжимающих створки, быстро сохнувших и сереющих на ветру и солнце. Ловили плоских, серебряных, холодных, незнакомых рыб с тремя черными пятнами на боку, такими четкими и аккуратными, как у индийских женщин на лбу.

Но все уже устали и отупели от впечатлений. А я еще побаивался акул. Их видели близко. И мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из ныряльщиков остался без ноги.

Выбрали якорь и с попутной волной побежали на судно.

А Пижон, опять вымокший во время доставки на вельбот, опять нахлебавшийся соленой воды, бесстраш-

но смотрел на удаляющийся прибой. Он показал себя существом пренебрежительного мужества, быстро забывающим пережитый страх, готовым повторить все сначала, хотя в воде он не выглядел героем и выпучивал глаза почище краба...

19.09.69

Якорные вахты спокойные. Ночью читал статью Томаса Манна «Анна Каренина».

Манн думал о ней, глядя в прибой, на берегу Балтийского моря.

Могучая сила наката возбуждала в его душе почтительное волнение, первозданную нежность, чувство общения к вечной стихии.

Он сидел на пляже, укутав ноги пледом, глядел на море, прибой, облака и думал об Анне Карениной. Он специально выбрал это место, потому что с детства чувствовал духовное родство с морем и эпосом. Море и эпос — две стихии, одна из них образ и подобие другой, — так он ощущал и думал.

Падали и падали на равнодушный песок накатные волны, грохотали их мокрые тела, разбиваясь в пыль, и плавно рождались вновь. Корявые от ветров сосны цеплялись жилистыми корнями за дюны.

Старый немец писал на влажных от морского дыхания страницах.

Незримой сидела близко от него прекрасная женщина Анна, придерживая шляпу. Слепой грек, родившийся на северных берегах далекого Черного моря, трогал струны в такт волнам, он тоже был здесь.

Старый немец писал: «Эпическая стихия с ее величавыми просторами, с ее привкусом свежести и жизненной силы, с вольным и размеренным дыханием ее ритма,

с ее однообразием, которое никогда не наскучит, — как она сродни морю, как море сродни ей! Я имею здесь в виду гомеровскую стихию, древнее, как мир, искусство повествования, тесно связанное с природой, во всем его наивном величии, во всей его телесности и предметности, непреходящее здоровое начало, непреходящий реализм. В этом — сила Толстого, сила, которой не обладал в такой мере ни один эпический художник нового времени, сила, которая отличает его гений — если не по масштабу, то, во всяком случае, по самой сути — от болезненного величия Достоевского с его надрывом, с его гротескно-апокалиптическими картинами. . .»

А где-то в двух милях от меня, в черной тропической ночи на острове с красивым названием Рафаэль, спят и медленно умирают десятка два несчастных людей. Под бортом в свете траповой люстры ходят пять рыб-игл. По корме горят огни «Боровичей» — это наш космический близнец и побратим. Мы с ним одной судьбы, одной крови.

Болят обжаренная кожа.

Опять о надстройки разбиваются птицы. Я наконец понял, почему они не способны взлететь с палубы. Они не могут взлететь вертикально, им нужна взлетная дорожка, разбег по воде.

Я подошел к одной, она забилась, от страха отрыгнула что-то белое, что, вероятно, несла детенышам. Я не решился взять ее в руки. Даже курицу мне неприятно брать в руки. Трепыхание живого в руках жутко мне с детства. Это касается и рыб. Но это и не страх, что живое укусит, главное в чем-то другом. . .

ОСТРОВ КОКОС

«... низкий, 2,5 мили в длину, лишен растительности, и только в средней части его есть пальмы, растущие двумя группами, между которыми стоит одиночная пальма».

Люция Индийского океана

Доктор упрекнул меня в том, что я мало и неправильно загораю.

К этому времени я уже знал, что я не змея. Змея разом вылезает из старой кожи, а у меня этот процесс после поездки на Сайрен проходил мучительно медленно.

Сам доктор сбрил волосы на голове, потому что ультрафиолетовые лучи не проходят якобы через шерсть. Тут я и прочитал ему краткую научную лекцию.

— Доктор, вы когда-нибудь видели тигра, который загорал бы, сняв шкуру? Если ультрафиолетовые лучи действительно не проходят сквозь шерсть, то вы нигде и никогда не смогли бы купить меховую шубу. Как вам известно, волосатые животные не бреются, они сплошь покрыты шерстью. И даже наша ближайшая родственница обезьяна имеет обнаженным только одно место. То самое место, которое редко кто из людей показывает солнцу. И это место, короче говоря зад, плевать хотело на солнце. Оно проводит жизнь в кромешной темноте и отлично там себя чувствует. В этом отношении оно схоже с летучими мышами. Они тоже всегда живут в темноте. Если бы пушные звери испытывали необходимость в загаре, они в процессе эволюции избавились бы от шерсти. И вы остались бы без мехового воротника. Читайте Дарвина, док!

И я прыгнул за борт вельбота в рубашке, штанах,

сандалетах и коричневой французской кепке, под которую я сунул курево и спички. И поплыл на остров Кокос.

— Вы плаваете, как летучая мышь! — заорал он мне вслед.

Ну, что ж, я оставил за ним последнее слово. Мне хотелось быть одному. Одному на Земле.

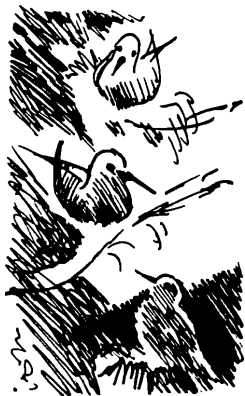
Берег острова оказался из обыкновенного, только очень мелкого песка. Идеальный пляж. Не скоро еще здесь поставят зонтики и будки для переодевания.

За пляжем был маленький обрывчик. Я влез на него. Заросли кустарников, пальмы, и под ногами плотный зеленый мат из ползучих растений и трав. И запах нагретых солнцем растений, оранжерейный. Пассат не может пробиться сквозь заросли и унести этот запах.

Я пошел в глубь острова. Тишина зноя была вокруг. И крики птиц не нарушали знойной тишины. И жужжание бесчисленных мух тоже не нарушало тишины. Как будто не существовало рядом океана с его вечным гулом. И только когда ступал на высохшую ветку, ее треск грохал выстрелом. Ветки казались, конечно, гадами. И скоро стало неуютно от непривычности окружающего островного мира. Здесь легко было представить себя потерпевшим бедствие. Вот я выбрался на этот островок, выполз из прибоя, один, товарищи погибли, тишина гробовая, хотя жужжат мухи, шелестят вершины пальм. Все отчужденное, как лес в записках моего сумасшедшего; все живет само по себе, не обращает на тебя внимания; а что тут живет, ты не знаешь, кто выйдет или выползет из кустов, почему они шевельнулись?

И в то же время какая-то мягкость, умиротворение, ласка и нежность касались души. Вечная душевная судорога от сознания своих обязанностей, сложностей в отношениях с людьми, усталости, тоски по родному слабела. Жизнь Земли была так густа на этом крохотном островке.

Я вышел на противоположную сторону, увидел лагуну, отделенную от океанского простора бурунами рифов, увидел огромный позвонок с обломками ребер какого-то морского чудовища, выбеленные солнцем, окаменевшие раковины, и ветер сразу высушил на мне одежду.



Я сел на позвонок и закурил. Мне хотелось этот огромный позвонок увезти с собой, как когда-то на острове Вайгач хотелось украсть щенка — будущего жожака.

В блокадном бомбоубежище, в замерзшем городе я читал журналы с красными обложками — «Мир приключений». И рассказы из этих журналов я помню лучше, чем блокаду. Быть может потому, что ее я вспоминать не люблю.

... Капитан старой галоши в южных морях, у него слабеет зрение, надо поворачивать у островка с тремя пальмами, он их не видит, спрашивает стюарда. . . Галоша напарывается на рифы, тонет, пар булькает в котлах, капитан не уходит с мостика, шепчет, вцепившись в релинги: «Ну, сейчас, уже скоро, тебе немного осталось мучиться, сейчас станет тихо. . .» Он шепчет это

своей старой галоше, он плачет от жалости к ней и тонет вместе с судном.

...Белый плантатор в джунглях юго-восточной Азии. Сумасшедшее одиночество. Плантатор замечает, что цветной слуга иногда исчезает. От скуки хочет выследить его, но высоко в горах, в чаще джунглей наталкивается на завал, из завала глядит ему в лоб винчестер. На прекрасном английском языке доносится: «Еще один шаг — и я стреляю!» Так плантатор узнает, что на горе живет прокаженный... Черная, душная, тропическая ночь. Предгрозовая тяжесть и одиночество в ней. И плантатор представляет, в каком совсем ужасном одиночестве тот человек на горе, берет фонарь и начинает показывать вспышки в крошечном мраке. И ему отвечает вспышка...



Они преодолели одиночество, они уже вдвоем в этом мире.

Я сидел среди экзотики и думал об авторах этих рассказов. Их имена люди давно забыли. Наверное, это были очень средние писатели. Но и средний писатель может написать рассказ, который несколько десятков лет сохраняется в памяти человека, если писатель знает то, о чем пишет. Забытые авторы «Мира приключений» знали. Сквозь призму их рассказов глядел я на чужой мир.

Вернусь, думал я, пойду в Публичку, возьму журналы, перечитаю, составлю сборник забытых рассказов,

верну к жизни имена давно умерших людей, напишу к сборнику предисловие, — у меня хорошее получится предисловие. И на том свете вся компания авторов сборника явится в ад, чтобы поблагодарить меня и смазать кокосовым маслом мою сковородку. И вдруг подумал: а если рассказы окажутся срундой собачьей? Ведь я потеряю тогда многое, и безвозвратно! Опасно возвращаться в прошлое.

И все-таки я умудряюсь вернуться в прошлое.

Я лезу на кокосовую пальму.

Метрах в двух от земли я понимаю, что уже не отрок. Правда, усвоенные в детстве приемы карабканья по карагачам и тополям вспоминаются с неожиданной свежестью и помогают двигаться вверх по шершавому, уступчатому стволу пальмы.

Пот заливает глаза, очень жалко штанов, купленных на Канарских островах, некогда белоснежных джинсов, но гроздь кокосовых орехов стоит джинсов — так утешаю я себя.

Конечно, кокосовые орехи можно купить, совсем не обязательно самому карабкаться на пальму, но ведь в том-то и главная ценность будущего трофея, что я сам к нему добрался и сам сорвал.

Пальма обдирает живот даже сквозь рубашку, а я знаю, что при спуске живот страдает куда сильнее, не говоря о том, что, спускаясь, устаешь в два раза больше, нежели при подъеме. Но я продолжаю обнимать горячий ствол кокосовой пальмы.

Я уже выше зарослей кустарников, выше птиц, густо усеявших ветки кустарников. Все шире распахивается ширь океана. Я уже вижу белые точки родного «Невеля» и «Боровичей» на горизонте, бирюзовую воду и пену прибойной волны.

Сердце отчаянно стучит в серый горячий ствол. Далековато будет отсюда падать. Мухи сопровождают меня и на высоте, мерзкие мелкие мухи, липнущие к мокрому телу.

Еще немного, и можно вцепиться в пижный лист. Интересно, крепкие это листья или полетишь с ними вместе на птенцов и на пики кустарников?

Я пропихиваю себя в гущу шершавого коричнево-зеленого переплетения, упираюсь наконец коленкой в какой-то куций, как кочерыжка, отросток и передыхаю среди мерного, отчужденного шелеста пальмовых листьев.

Вот они — орехи. Трясущейся от перенапряжения рукой дотягиваюсь до грозди. Как она тяжела — девять орехов, каждый килограмма по два.



Изворачиваюсь и так и этак, чтобы обломать гроздь. Забираюсь еще выше, чтобы пустить в дело ноги, но начинаю понимать, что затея обречена на неудачу. Внутри ветки как будто спрятан добротный манильский трос. А трос не ломаешь, его надо рубить. Рубить нечем. Зря я вишу здесь, распятый на веере пальмовых листьев. Болван. Разве могла бы пальма удержать среди океанских ветров такие тяжелые, огромные плоды на хрупкой ветке? Нет, конечно. И следовало бы подумать об этом на земле.

Будь неладен нож, купленный в керосиновой лавке на Петроградской стороне. Нож безнадежно заржавел

после первого купания в соленой воде. И я не взял его на остров Кокос.

Сползаю по горячему стройному телу пальмы, обдирая дальше живот и запястья. Когда же наконец земля, черт побери!

Птицы и мухи кружатся вокруг и издеваются. Боже, во что превратились джинсы! И как красиво, безмятежно покачиваются девять кокосовых орехов на высоте девяти метров, среди коричнево-зеленого переплетения пальмовых листьев.

Долго сижу на корточках, курю. Раскаленные кусты пахнут терпко и странно, немного дурманят. Да, давно я не занимался физкультурой. Сердце молотит, во рту сухо. Но я не собираюсь сдаваться.

Шагах в пятидесяти растет другая пальма, толстуха и коротышка. До орехов не больше трех моих ростов. А в траве я обнаруживаю кусок ржавого железа неизвестного происхождения. Сую железку в задний карман и атакую коротышку.

Добравшись до листьев, устраиваюсь удобно. Прямо перед глазами колышутся желтые фонтаны пальмовых цветов, нежные завязи, молоденькие орешки, похожие на желуди. Из центра кроны торчит чрезвычайно соблазнительная штука — свернутый будущий пальмовый лист с острым концом, размером в добрый метр.

Я начинаю терзать пальму с этого будущего листа. Кручу, верчу, гну, пилю ржавой железкой. Я готов грызть его зубами. Он так туго запеленат сам в себя, в нем так много внутренней живой силы, он весь литой, как металл в чушках, — его обязательно надо повесить на стенке в каюте.

И вдруг из гнезда, где крепится лист, вырывается

армия муравьев, крохотных и стремительных. Все прочитанное о термитах и тропических муравьях, на съедение которым кидают неудачливых путешественников, о глиняных горшках, набитых муравьями и надетых на руки туземных юношей, сдающих экзамен на звание воина, — сведения из «Мира приключений», — все это пронесется в моем уже изрядно перегретом мозгу. Муравьи облепили рубаху, сотнями тонут в поту на коже, и я остро чувствую могучее земное притяжение. Внутренним взором я вижу белый и чистый скелет, аккурат-



но объеденный муравьями, висящий среди кокосов. Еще я предчувствую, что в ближайшие секунды насекомые доберутся до всех моих наиболее уязвимых мест, и тогда скипидар покажется мне шампунем. И в то же время я не могу бежать, пока не оторву чего-нибудь от пальмы — на память. Это желание сильнее страха и усталости.

И я вырываю три больших ореха и ветку пальмовых цветов.

Я весь покрыт муравьями. Скатываюсь вниз, долго встряхиваюсь, как собака. Зализываю ссадины на запястьях.

Эти вечные плавные поклоны пальм, колыхание их вершин — как гипнотические пассы. И куда девались попутчики? Почему не слышно голосов?

Я один на этом острове. Я хотел быть один. И я один.

Стибаясь под тяжестью трофеев, бреду к месту высадки. Пот заливает глаза. Мухи электронным облаком вертятся вокруг головы.

Натыкаюсь на хижину. Незакрытая дверь покачивается на петлях. Жестяной навес и заплывшие грязью бутылки. Несколько непонятных знаков, намалеванных смолой или углем на стене хижины. Тишина покинутости. Запах гниющего жилья. Площадка перед хижинной поросла травой — давно тут никто не был. Хлипкая, нищенская хижина — неудачники и горемыки жили в ней, соленым был их хлеб. Остатки узкоколейки к берегу — что по ней возили? Гуано? Но его мало здесь. . .

Покинутое человеческое жилье жутко тем, что вдруг в нем кто-нибудь окажется. Я не заглядываю в хижину.

Слава богу — впереди слышится веселая ругань. На полянке матросы возятся с орехами, колупают их финками. Прощай, одиночество. Ты, конечно, необходимо, но все должно быть в строгой пропорции.

Прощай и остров Кокос. Чрезвычайно мало шансов еще раз ступить под сень твоих отчужденных пальм.

... Читал Стендаля.

Умный и далеко не сентиментальный, Бейль готов был, обливаясь слезами, поцеловать руку Байрону за «Лору»! А насколько Стендаль сегодня кажется современнее Байрона...

И почему-то вспомнился Пьер Лоти. Его «Исландский рыбак» и «История снаги». Отличные книги. А у нас забыт и считается бульварным. Он ближе мне, нежели Конрад. Он более трагичен под слоем экзотики и, как ни странно, кажется более достоверным.

Мы продолжаем стоять на якоре и ловить рыб.

Красота тропических рыб не может быть описана пером. Все цвета спектра, взятые в той чистоте тонов, которые видишь на срезе зеркала или на уроке физики, когда учитель в солнечном, весеннем классе говорит, что спрашивать сегодня не будет, а покажет опыт. Уже от первых слов учителя ты испытываешь наплыв жеребьячьего восторга, радости бытия и безоблачности впереди — до самых восьмидесяти лет. И тут учитель подбавляет вам радости: белый луч с традиционно пляшущими пылинками втыкается в призму и взрывается гремющими красками спектра.

Вот такое переживание вызывает красота тропических рыб.

Мы не знаем их названий. И нет атласа промысловых рыб Индийского океана. Мы считаем ядовитыми тех, которые не имеют чешуи. Остальные идут в котел. До этого они плавают в рабочей шлюпке, прячутся от солнца в тень под банками. Мне, конечно, жалко их.

«SOS» В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ

¹ «Аргус, прозванный Паноптес, т. е. всевидящий, — сын Агенора или Инаха, по преданию, многоглазый великан, поборовший чудовищного быка, опустошавшего Аркадию. Он задушил тоже змею Эгидну, дочь Земли и Тартара. Гера превратила его в павлина или разукрасила его глазами павлиний хвост. Первоначально многоглазый Аргус означал звездное небо.

Миф Аргуса часто изображался на вазах и на помпейской стенной живописи.

² Аргус — вид фазана, с чрезвычайно длинным хвостом, водящийся в Малакке и на острове Борнео.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона.

Спал после ночной вахты.

04.10.69

Из динамика проскрипел голос старпома: «Электромеханику срочно в машину! Электромеханику срочно в машину!»

Я открыл глаза и полежал, раздумывая, что могло случиться.

Ритм вибрации динамо изменился, потом динамо вообще тихонько заглохло. И умолк шум воздуха в соплах кондишена.

Стало тревожно на душе. Отчетливо вспомнилось, как лет пятнадцать назад в поселке Дровяное на Кольском заливе вот так же сбавило обороты и вырубилось динамо на аварийно-спасательном судне «Водолаз». Я дежурил по кораблю. И когда спустился в машину и прошел в котельное отделение, то увидел плачущего кочегара Амелькина. Он заснул на вахте, упустил воду и сжег котел. А мы стояли в получасовой готовности и были единственным спасательным кораблем на весь Северный флот.

Амелькина судили показательным судом, получил он десять лет.

Чем отделались остальные, и не помню. Сам отделался легким испугом.

Но с тех пор полная тишина на судне всегда будит в душе страх.

Я влез в шорты и поднялся в штурманскую рубку. На карте островов Каргадос-Карахос лежали две радиogramмы.

«Всем судам: советское спасательное судно «Аргус» село на рифы Рафаэль широта 16.50 южная долгота 59.40 восточная требуется срочная помощь тчк все суда просим сообщить возможность ее оказания. Директор-маринер острова Маврикий».

«Радиоаварийная Владивосток. Последний раз слышал сигналы SOS шлюпочной радиостанции «Аргуса» 06.44 МСК указал свои координаты широта 16.50 южная долгота 59.40 восточная наши выводы не отвечает 09.00 МСК буду указанной точке радар наблюдаю группу судов экипаже «Аргуса» пока сведений нет. Капитан т/х «Владимир Короленко».

Под радиogramмами на карте 1881 было написано о лейтенанте Мюдже и его людях: «... они проникли сюда через рифы с западной стороны, так как ни одно судно не отваживалось подойти с мористой стороны...»

— Что будете делать? — осторожно спросил я Георгия Васильевича.

Капитан расхаживал по мостику взад-вперед и имел явно недовольный вид.

— Что делать, если какой-то дурак разваливается на рифах? Приказал экстренно готовить машину.

Механики оттабанили, и динамо вырубилось. Доклада жду.

Ну вот, подумал я. Через сто сорок четыре года нашлось все-таки судно, которое отважилось подойти к этим рифам с мористой стороны. Как они не услышали гула прибоя? Как не увидели белой полосы наката впереди?

— Чиф успел запеленговать их SOS. Пеленг лег так, — показал капитан. — Возле островка Мейперт. Правда, SOS был очень слабый. Очевидно, работала аварийная рация и сядились аккумуляторы. Или работала шлюпочная рация, то есть они уже покинули судно.

Координаты, которые дал «Аргус», были далеки от пеленга.

— А сторону передатчика успели определить?

— Да. Он к востоку от нас.

— От них там должно остаться одно месиво, — сказал я.

— Посмотрим. Какая видимость была ночью на вашей вахте?

— Хорошая. Небольшая облачность.

— Зарева ракет не видели на облаках?

— Нет. И, честно говоря, я не очень разглядывал облака.

— Чего встали раньше времени?

— Динамо вырубилось — я и встал.

Он вышел на крыло, сунул руки в карманы шорт, спел:

Мать родная тебе не изменит,
А изменит простор голубой...

У него был приятный голос, и, главное, когда он напевал, у него получалось настроение. Он умел

передавать настроение, скрытое в словах и простой мелодии.

На семнадцати градусах южной широты солнце быстро поднимается над океаном. Оно поднималось над бледной полосой прибоя на рифовом барьере. Мир был вокруг. Океан блистал. В тишине раздался глухой взрыв. Здоровенная заглушка врезалась в фальшборт рядом с капитаном.

Капитан сохранил спокойствие и только кротко заметил, что если бы выхлопная труба не дала промаха, то ему, Георгию Васильевичу Семенову, была бы труба.

— Позвоните в машину, — приказал он. — Узнайте, что там еще случилось.

Вообще-то нам обоим было ясно, что впопыхах механики, запуская дизель-динамо, забыли открыть заглушку выхлопной трубы. В тропиках дыры надо обязательно закрывать — тропические ливни.

— В машине, — сказал я в телефон. — Чем это вы стреляете? Капитана чуть не убили.

— Чего-нибудь вылетело? — спросили из машины.

— Да.

— Это окунь, — сказали из машины. — Его электрики коптить повесили в выхлопные газы. Мы динамо запустили, окунь и вылетел. Под напором газов.

— Георгий Васильевич, — доложил я. — Это конченным окунем вас чуть не прихлопнуло.

— Ясно, — кротко сказал капитан. И приказал: — Сходите к радистам. Может, у них радиоперехваты есть. «Короленко» — Владивостокского пароходства — к ним идет. Раньше «Тикси» их на буксире тащил. Тоже полным возвращается.

Начрации и радист Саня сидели в напряженных по-

зах, вылавливали из эфира обрывки разговоров других судов. Обрывки ни в какую картину не складывались:

«... т/х «Тикси» неизвестным причинам на связь не выходит... слежу всех судовых частотах... предполагаемые координаты места посадки «Аргуса»... полагаю подойти... вашей просьбы будет достаточно... «Аргус» не отвечает... последнее сообщение было в адрес Москвы: оставляем судно... имеем РДО т/х «Тикси» на св...»

Начрации сунул мне бланк радиограммы.

— Передай мастеру. «Тикси» давала на Владивосток.

«Радиоаварийная ВЛДВ, Ваш 642 зпт 646 обратился запросом директору навигации острова Маврикий просьбой высылки списателя зпт вертолетов снятия экипажа «Аргуса» тчк получил ответ Маврикий нет вертолетов тчк еще раз обратился просьбой немедленной высылки спасания экипажа любых средств способных быстро оказать помощь тчк 647 связь «Короленко» поддерживаем он 09.00 московского должен быть месте аварии при получении ясности информирую незамедлительно тчк капитан «Тикси».

Я передал радиограмму капитану и спустился в каюту. По современному морскому закону, если ты не на вахте, то ты свободен. Что бы ни происходило — не твое дело. Если тебя вызовут на мостик, значит, ты нужен. Если не вызывают — занимайся чем хочешь.

Было неприятно, что ночью не сработала интуиция. В пятнадцати милях произошло несчастье, а я не почувствовал его. Телепатия отказала. Она много раз

выручала меня, эта телепатия. Особенно при неожиданном сближении со встречным судном. Как будто кто-то толкнет в затылок: «Возьми бинокль!»

Морскую интуицию я объясняю обыкновенной физической. Любое судно окружено магнитным полем, даже если оно прошло размагничивание по всем правилам, и гравитационным полем. И это поле воздействует на тренированный мозг. И ты вдруг стопоришь машину или включаешь радар. Все очень просто.

Сижу без дела в каюте, думаю о чем, придется, а близко погибло судно, четыре десятка людей океан превращает на рифах в лохмотья. Жизнь дает мне сюжет, размышлял я, глядя на сохнувшие кокосовые орехи и желтые ветки пальм. Надо будет забрать у радистов копии всех радиограмм.

И поднялся в рубку.

Вахтенный третий штурман стирал с карт старую прокладку.

— Новое есть? — спросил я.

— Замначальника Владивостокского пароходства решил, что мы его подчиненные, — сказал Женя. — Командует. Он не знает, что над нами властвуют небесные светила, а не «ЧМ Бянкин». Смотри РДО.

«Владивостока.

Аварийная пять пунктов.

Копия Москва Грузинскому.

Старшим капитаном спасательной операции назначается к/м «Владимир Короленко» Полуниин которому определить участки островов Каргадос Рафаэль между судами «Тикси» «Боровичи» «Невель». Максимально используйте светлое время суток обнаружения экипажа «Аргуса». Случае безрезультатных поисков к/м По-

лунину направить одно судно галсами от южной оконечности Каргадос на вост в связи возможностью уноса шлюпки сильным ветровым течением. Км «Боровичи» «Невель» обязываю принять участие поиске спасения дать полную консультацию капитанам участвующим операции судов о течениях навигационных особенностях. Проявляйте определенную осмотрительность осторожность плавании этом рифовом неизученном районе. ЧМ Бянкин».

Автору радиogramмы, очевидно, казалось, что остров Рафаэль и острова Каргадос — разные вещи. А Рафаэль входит в Каргадос, как виноградина в гроздь. И «обязывать» нас принять участие он права не имел. Нами командовал дважды Герой Папанин из Москвы. И мудрое распоряжение рыскать галсами по направлению ветрового течения было слишком очевидным, чтобы засорять эфир лишними словами. А предложение капитану «Короленко» «разделить» острова между всеми нами было обыкновенным бредом. Там островов — кот наплакал. Там сплошной барьерный риф и отмели.

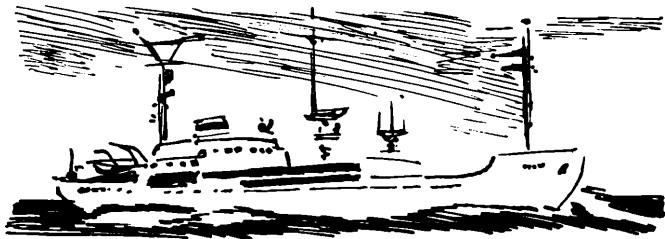
Но надо, конечно, взять в расчет, что между нами и ЧМ Бянкиным по прямой было около шести тысяч километров. Эта прямая секла половину Индийского океана, Цейлон, Бенгальский залив, весь сражающийся Индокитай, сам Китай, Желтое и Японское моря. Детали с такого расстояния видны плохо, а командовать начальство должно, иначе оно не будет начальством.

Из машины позвонили о готовности. Я вернулся в каюту. Старая, мудрая «Эрика», купленная на первый в жизни гонорар, покрасневшая от ржавчины, прошедшая со мной по всем возможным океанам, спокойно смотрела на хозяина со стола. Она готова была вильнуть

хвостом, если бы он у нее был. Она — мой верный пес. Она предлагала сесть за клавиши и оставить что-нибудь на память потомкам.

Погромыхивала якорная цепь. Я хорошо слышал ее, потому что открыл окно.

09 ч. 05 м. Снялись. Огибаем остров Кокос с юго-запада. Данные аварийным судном координаты не соответ-



ствуют действительным, так как мы уже возле них, а океан пуст. Очевидно, они сели севернее, ближе к Рафаэлю, а шлюпка будет пытаться обогнуть рифы еще севернее, если у нее есть какая-нибудь свобода маневра. В радар видно два судна. Очевидно, «Короленко» и снявшиеся раньше нас с якоря «Боровичи». Будем обходить архипелаг с юга на север вдоль рифов. В самый неподходящий момент судовой пес Пижон вылез на носовую надстройку и, как всегда стеснительно оглядываясь в сторону мостика, пописал на вентилятор, подняв по всем правилам ногу, что он из-за качки далеко не всегда может делать.

Ветер юго-восточный 6—7, зыбь по ветру, видимость хорошая, легкая дымка по горизонту. У рифов очень большой накат. Остается непонятным, как они его не увидели и не услышали.

09 ч. 30 м. Идем вокруг архипелага цугом, один за другим на видимости друг у друга: «Боровичи», «Короленко», мы. Главное в том, что все капитаны боятся приближаться к коралловому барьеру ближе пяти миль, так как острова на карте указаны приближенно и нет достоверных глубин. Все опасаются заходить за стометровую изобату, а на расстоянии в пять миль мы все равно ни черта не увидим ни в локатор, ни в бинокли. Если шлюпка «Аргуса» не смогла выгрести на ветер, к востоку, и попала в буруны, вряд ли кто сейчас еще жив. Быть может, SOS давала автоматическая рация без людей. Идем малым.

Самое интересное, что нет в нас волнения, никто пока не осознает несчастья. И я вот спускаюсь в каюту, чтобы печатать эти строчки, и борюсь с желанием лечь и вздремнуть перед вахтой.

В 11 часов «Короленко» дал радиограмму: *«Подшел месту аварии «Аргуса» широта 1635 южная долгота 5942 восточная. Восточной кромке рифов сильный прибой подойти боту невозможно. Лагуне за рифами бот с экипажем. Передали светом светограмму. Снимать будем западного берега. Вероятно поняли. Бот парусом пошел западную кромку рифов. Связи ними не имеем подробности пока сообщить не могу. Следую западной кромке. КМ Полушин».*

Эту радиограмму перехватили наши радисты. Показалась подозрительной фраза: «Бот парусом пошел западную кромку рифов». На современных спасательных

вельботах под парусом никуда не пойдешь, а уж лавировать под аварийным парусом в лагуне среди рифов — чистая фантастика.

— «Короленко», я — «Невель», какого цвета видите парус? Почему считаете бот принадлежащим «Аргусу»?

— Парус белый.

— Треугольный?

— Да.

— На спасательных вельботах парус оранжевый. Вы, очевидно, видели парус местных рыбаков. Они здесь иногда шастают в лагуне на пирогах.

«Короленко» задумчиво чесал в затылке. Поторопились они с радиограммой. Сотни людей в Москве, Владивостоке, на судах в океане вздохнули с надеждой: моряки «Аргуса» живы, на боте, в тихой лагуне.

Но дело в том, что только Нептун пока знал истину — какой бот или пирога, какие люди на нем и сколько их.

Воодушевленные сообщением о боте с экипажем «Аргуса» в лагуне, Москва и Владивосток щедро посылали целевые указания, советы и приказания сыпались как из мешка. В дело вступил замминистра Морского Флота СССР. Он дал «Короленко» аварийную:

«Своих действиях, результатах информируйте советского посла Маврикии Порт-Луи Рославцева. Случае необходимости обращайтесь к нему за помощью. Сообщите все ли люди «Аргуса» на боте. Дальнейшем информируйте каждые четыре часа».

«SOS, три пункта. Приказу ГУМОРА Афанасьева доклада выше (читай: правительству) необходима ваша регулярная информация положения дел спасения эки-

пажа «Аргуса». Обязываю каждый час информировать обстановке погоде принимаемых решениях. Ваша задача до темноты взять борт экипаж «Аргуса» любыми средствами вашего судна или средствами экспедиционных судов. Сообщите как усматривается «Аргус».

«Владивостока тчк Аварийная тчк Три пункта тчк Учитывая опасность зпт неизвестность района западу островов зпт отсутствие пособий зпт съемку экипажа «Аргуса» обеспечьте одним из экспедиционных судов зпт имеющих меньшую осадку зпт более знакомых данным районом тчк Приготовьтесь приему экипажа «Аргуса» зпт размещению зпт возможному оказанию медпомощи тчк Плавании проявляйте осторожность тчк Бянкин тчк».

После этого чуткого совета в эфире наступила тишина. И в этой тишине мы шли полным ходом, оставляя в приличном удалении с правого борта островки с чарующими названиями: Кокос, Авокейт, Жемчужный...

Следует сказать, что последняя радиограмма была вручена капитану и зачитана им вслух во время обеда в кают-компанин. Старпом расщедрился на ананасы. Мы сосали ананасы и слушали о том, что нам следует проявлять осторожность.

Без пяти полдень я сел у приемника в трансляционной будке, чтобы в сто девятый раз за рейс взять поправку хронометра. Потом принял вахту.

В бинокль уже видны были пальмы Рафаэля. И рыболовная шхуна, стоящая на якоре правее острова.

«Короленко», как и положено такому честному писателю, борцу за справедливость и вообще гуманитарию, еще раз подошел к месту аварии «Аргуса».

Белые паруса вместо оранжевых на боте в лагуне

терзали совесть его капитана. И км Полуниин продемон-стрировал полную меру морской честности. Он дал радиограмму в Москву и во Владивосток: *«Вторичном подходе месту аварии выяснилось зпт от места аварии отошел бот здешних рыбаков зпт направился западной кромке зпт сняв прибрежных рифов группу людей зпт количество зпт принадлежность которых неизвестны тчк Обследование восточной части невозможно зпт зыбь три метра зпт сильный прибой тчк Ждем сообщений т\х «Невель» зпт который будет спускать вельбот зпт искать подходы берегу рифам тчк.»*

Здесь все было правда. Дело переходило в наши руки. Но я хорошо представлял себе км Полунина, когда он все ближе и ближе подводил свой здоровенный, полный груза теплоход к рифовому барьеру фактически без карты, чтобы точно разглядеть, что там за шлюпка мечется на волнах и кто в ней. И только когда разглядел, дал «полный назад» и вытер лоб. И подписал радиограмму. А трехметровая зыбь поднимала и опускала тушу честного писателя «Короленко», «Дети подземелья» которого мы читаем в детстве и плачем над судьбой голодных умирающих ребятишек. Ох, если бы сам Владимир Галактионович сейчас мог с небес подсказать нам, когда и что делать. Сверху хорошо видно.

Я давно уже готовился к тому, что пойду на вельботе, что впереди возможна опасная работа. Я снял кальку с карты 1881. Продумал, как одеться. И уже мысленно подбирал людей.

Второй помощник — командир аварийной партии. Тем более я уже достаточно покрутился среди бурунов архипелага.

Однако, как я уже сто раз говорил, все на море происходит неожиданно. Была середина моей вахты,

когда мы шлепнулись на якорь и стали готовить вельбот к спуску.

— Старпом пойдет, — сказал Георгий Васильевич. — Свою вахту каждый стоит сам.

На добрую минуту я превратился в несчастную жену Лота. Если бы Георгий Васильевич тогда не смиловился, быть мне в психиатрической больнице. Я забормотал что-то о своем спецкорстве в газете «Водный транспорт», о своем спасательном прошлом и знакомстве с работой в прибое.

— Это вы умеете, — сказал капитан. — Ахтерштевень на вельботе кто погнул? Как раз в прибое вы это сделали. Да и прибоя-то там никакого не было.

— Я тогда просто упустил отлив, — занял я нудным мальчишеским голосом.

— Да идите вы куда хотите, — сказал он. — Четвертого на вахту!

Вельбот качался под бортом. Я успел нахлобучить кепку, чтобы не получить солнечного удара, и ссыпался по шторм-трапу. Старпом уже сидел на румпеле и орал для всеобщего ободрения свою всегдашнюю присказку: «Туши фонари!»

Когда командование, на которое ты настроился, вдруг достается другому человеку, кажется, что он все делает неправильно.

Я считал, что надо взять линеметную установку, одеяла, метров сто добротных манильских тросов и парусину, чтобы можно было снять людей с разбитого судна, если они еще держатся на нем. Если люди держатся где-нибудь на верхушках отдельных скал, то снять их непосредственно тоже будет невозможно. Я считал нужным

включить в состав партии хорошего дипломированного ныряльщика и взять акваланг, чтобы по возможности обследовать аварийное судно. Короче говоря, когда смотришь со стороны, все видится яснее.

План был такой: подойти к рыболовной шхуне, которая стояла на якоре вблизи от острова Рафаэль. Опросить негров. Мы были уверены, что они уже многое знают о происшедшем. Другое дело, что они могли уклониться от ответов и не сказать, где лежит разбитое судно. Дело в том, что со всякого разбившегося судна прибой выбрасывает на берег всевозможные, иногда весьма ценные и полезные, предметы. И чем позже мы подойдем к месту аварии, тем больше этих предметов аборигены смогут унести. А для нищих, забытых богом и людьми здешних негров и пустая канистра представляет ценность. Если они окажутся хорошими, то мы возьмем проводника. Соображения о том, что все они «олл ил», мы, естественно, уже не принимали во внимание.

Как только отвалили и сонный, сердитый третий механик Головятинский, сидевший за реверсом, дал «полный», нам в глаза ударили брызги пулеметными, крупнокалиберными очередями. Мы шли к Рафаэлю против волны и вечного пассата. Тропическое солнце, сияние брызг, грохот дизеля.

Нас было одиннадцать человек, из которых, как выяснилось, половина знать не знала, куда и зачем нас несет по волнам.

Головятинский вдруг заорал мне в ухо:

— Совсем вы рехнулись с этими ракушками!

— Сам ты рехнулся! — заорал я ему в ответ. — Какие ракушки?

— А зачем мы премся на Рафаэль?

Перед спасательной операцией людей следует ин-

структурировать. И лучше всего набирать людей из добровольцев. Так было на далеком острове Кильдин, на СС «Вайгач», когда мы, быстро обмерзая, погружались в Баренцево море на разбитом логгере. Там обмерзали и погружались только те, кто вызвался на это сам. Конечно, далеко не всегда есть возможность ограничиться добровольцами, но это уже другой разговор.

Шхуна и остров приближались медленно.

Радист-мальчишка вспомнил наконец, что следует опробовать аварийную рацию. Ему не хотелось вылезать под брызги, но он все-таки вылез. Матросы помогли ему поднять на отпорном крюке антенну. Через минуту радист вернулся. Рация не работала.

— Почему?

— На нее брызги попали! — объяснил он.

Аварийная рация существует для того, чтобы работать, естественно, в мокрых условиях. Выброшенная за борт, она не только плавает сама, но может удержаться на поверхности человека.

Просто мальчишка-радист не понимал, не мог понять, представить себе, что сейчас среди лазурного, ослепительного, прекрасного мерцания вод и небес расстаются или, что было вероятнее всего, уже расстались с жизнью тридцать восемь человек, что они уже превратились во все это океанское и небесное великолепие. И что в далеком Владивостоке сейчас уже толпятся в коридорах пароходства их жены, матери и дети, ожидая очередной радиограммы, ловя выражение лиц капитанов из службы мореплавания.

Все-таки, подумалось мне, умирать под солнцем веселее, нежели под саваном полярной ночи, в метель, когда воздух минус шесть, вода плюс один градус и ветер шесть баллов с норда...

От рыболовной шхуны «Сайрен», стоявшей в ее любимом местечке — у второй к югу от Рафаэля отмели, — отвалила маленькая шлюпочка и пошла навстречу.

Сойтись борт к борту на волне было сложно, и мы со шлюпочкой покрутились друг за другом, как крутятся собаки, чтобы догнать свой собственный хвост, и наконец ткнулись носом им в корму.

Двое негров молча таращили на нас глаза, а тот обросший бородой белый, которому я оставил пять пачек сигарет «Новость» и пачку открыток зимнего Ленинграда, передал нам подмокшую бумажку.

Мы занялись английским языком. Это было трудное дело, потому что текст оказался рукописный, мокрая бумажка расползалась в пальцах, ее еще рвал пассат. Но мы все-таки разобрали — это был текст радиогаммы от морского директора острова Маврикий, который мы имели еще на судне: «Советское судно «Аргус» терпит бедствие и т. д.»

Шлюпочка держалась поблизости, и мы стали орать аборигенам основной вопрос: «Живы люди? Где люди?»

Они, как положено, махали руками в разные стороны, потом пошли к шхуне, зовя нас за собой.

Если вы видели фильмы и читали книги, действие в которых происходит на южных колониальных островах, то сможете представить эту шхуну, обходящую архипелаг и собирающую от разных бедолаг-одиночек рыбу, черепах, моллюсков и прочие ценности. Человек двадцать негров, одетых точно так, как их одевают костюмеры в наших опереттах — в сомбреро, пробковых шлемах, полуголые, босые, в фетровых шляпах конца прошлого века, — схватили наши фалиня и закрепили на борту своей «Сайрен».

Старпом, я и Перепелкин вылезли на палубу шхуны.

Палуба оказалась неожиданно чистой, и даже обычной вони от гниющей рыбы не ощущалось.

По скоб-трапу мы поднялись в малюсенькую штурманскую рубку, где одновременно не могли поместиться больше трех человек. Капитан шхуны, одетый по-европейски, элегантно и эластично молодой негр (у него даже манжеты белые торчали из рукавов, хотя металлическая малюсенькая рубка была раскалена солнцем и в ней было, как в духовке, когда в нее собираются запахать уже нашпигованного гуся), разложил на штурманском столике карту. Это была все та же английская карта 1881. Слава английскому лейтенанту Мюдже! Судя по всему, сегодня нам придется почувствовать то, что ощущал он сто сорок четыре года тому назад, снимая на карту восточную сторону архипелага в вечном прибое Индийского океана.

Карта — это не грамматика, не спряжения-ударения, безударные гласные и прочая безнадежно сложная наука. Карта — это такая вещь, при помощи которой наши переговоры сразу стали обоюдопонятными. Морская карта для моряков, что игральные карты для игроков, — можно обходиться и без языка.

Мы положили на карту лейтенанта Мюдже свою кальку с отметкой места гибели «Аргуса».

«Короленко» правильно определил координаты: эластичный негр кивнул и подтвердил, что «Аргус» разбился там, где он разбился на нашей кальке. О судьбе людей он ничего не знал.

Представьте себе длинный, небрежно брошенный в воду чулок, он упал на воду извиваясь. В пятке этого чулка — остатки судна. По краям — рифы. Длина его — около трех миль. Вход в чулок — с восточной стороны. В этот вход катили волны, начавшие разбег

от Индонезии и Австралии. Ширина входа — сотни две метров.

Мы пунктиром проложили на кальке курс нашего вельбота в устье чулка с востока и к «Аргусу». И поставили знак вопроса. Негр взвыл, всеми своими белками показывая, что идти этим путем «мор», то есть смерть. Нам это и самим было совершенно ясно. Теперь мы сунули негру шариковую ручку. Он повел пунктир с западной стороны сложными зигзагами. Зигзаги иногда шли по отметкам рифов, а иногда огибали свободные места с хорошими глубинами. Много времени протекло со времен последней корректуры этой карты; многое успели океан и ветер, и кораллы, и морские звезды изменить на архипелаге Каргадос за эти времена.

Нам предстоял длинный путь.

Пожалуй, будь я на месте старпома, я не решился бы идти так далеко при вышедшей из строя рации. Пожалуй, вернулся бы на судно, чтобы посоветоваться с капитаном и взять исправную рацию. Но здесь чиф решил иначе.

— Пойдем, — сказал он.

Пять минут потратили на то, чтобы договориться о проводнике. Одному негру надо было на маленький безмянный островок в районе аварии. Негр готов был стать нашим проводником.

Это был негр-красавец, молодой, стальной, стройный и непроницаемый как для брызг, так и для духовного общения. Он был в коротеньких трусах, пиджаке и спортивном кепи с большим козырьком, — такие кепи носят жокеи.

С первого же взгляда он напомнил мне героя африканского романа «Леопард» — лучшей книги из тех, что приходилось читать о психологии негров.

Леопард сунул свой пиджак под козырек в носу вельбота и, став черной статуей, разрезал ладонью воздух, показывая направление.

Мы дали ход.

Я велел одному из матросов предложить лоцману ватник. Он отказался. Стоял, не отворачиваясь от брызг, не приседая.

Широк был океанский простор впереди.

Островок Сайрен проходил по правому борту. Черным облаком клубились над зеленью кустиков стаи птиц. Слева уходила в бесконечность белая полоса бурунов на рифах. Зыбь. Чайки, планирующие возле самых глаз. Грохот дизеля. Черная, четкая статуя на носу. Брызги. Соль на губах. И солнце над головой, беспощадное.

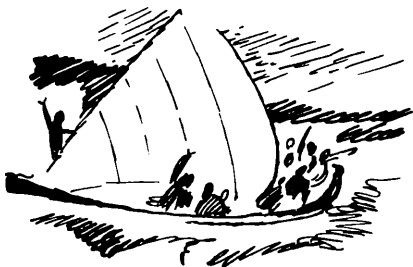
До «пятки чулка» — миль восемнадцать — три часа хода.

Острова, которые с двенадцати метров — высоты мостика на судне — были видны хорошо, с вельбота, то есть практически с поверхности воды, были почти не различимы. Они были плоские.

Час за часом вести вельбот, когда волна сбивает с курса, облака двигаются быстро и точку на них взять невозможно, глаза сечет брызгами, румпель оттягивает руки и весь ты уже измочален болтанкой и прыжками вельбота, — томительное и мутное занятие. Главным ориентиром была гряда рифов слева по борту — полосы белой от пены, голубой, зеленой воды. И мы шли, следуя ее изгибам и взмахам руки негра. Когда вельбот сильно сбивало волной, негр чуть злее отмахивал рукой и на несколько секунд оборачивался с укоризной.

... Я шел сейчас спасать спасателей в центре Индийского океана. Чем больше нам лет, тем значительнее кажется прошлое. Некогда будничное происшествие превращается с годами в символ, поворотный момент судьбы. Поданный тебе кем-то когда-то кусок хлеба заставляет верить в общечеловеческую доброту. А мелкая детская обида настораживает против всего человечества. Мимолетная встреча в пути застревает в сознании, как в высшей мере значительное совпадение. Или так только со мной?

Серый парус замелькал среди лазурных волн, он метался и кренился на курсовом угле от нас градусов



в шестьдесят левого борта. Каждая молекула Индийского океана отражала солнце. Мы ничего не могли разглядеть под серым парусом. Шел он не с того направления, где, нам казалось, должен лежать «Аргус», но мы повернули на сближение. Был смысл опросить аборигенов.

Теперь вельбот уставился прямо в лоб зыби. И даже скульптурный, стальной, непробиваемый Леопард стал прятаться от брызг и приседать за козырьком вельбота.

Когда оставалось кабельтова четыре, мы разглядели посудину, она сидела в воде по самый буртик: пирога с дощатыми бортами, узкая, шла не только под парусом, но и под мотором. И там мелькнуло что-то оранжевое. Оранжевый спасательный жилет среди черных негритянских тел.

Боже, как мы завопили!

Белые люди в оранжевых нагрудниках — это могли быть только наши утопленники.

Мы махали им руками и вопили разные слова. Что это были за слова!

На пироге срубили парус.

— Ребята, там женщина!

Женщина в ситцевом, мокром, облепившем ее платье. В таких платьях, домашних, вылинялых, севших от бесконечных стирок, с короткими рукавами, женщины моют полы в коммунальных коридорах и кухнях, когда настает их очередь.

Женщина была простоволосая.

Их повыкидывало из коек ночью, в самый сон; они выскакивали на палубу, через которую накатом шел прибой, в чем спали, что успели схватить и кинуть на себя... И тьма, и грохот, и крен, и удары о камни...

Держась за мачту пироги, стоял мужчина в нашей морской тропической форме с нашивками капитана на погончиках.

— Где остальные?! — кричали мы.

Он махнул рукой туда, откуда шла пирога.

— А вы откуда здесь? — орали с пироги.

— Из Ленинграда!

— А мы из Владивостока!

Это мы знали.

— Все живы? — орали мы.

Они отвечали невразумительно.

Было два решения: забирать к себе этих восьмерых, но они уже в некоторой безопасности, в некоторой, потому что пирога явно перегружена; но если взять этих, они будут мешать нам в дальнейшей работе. И если придется лезть в прибой среди коралловых рифов, то эти восемь опять попадут в передрагу.

И мы не стали их брать, тем более что с ними был капитан.

Через минут тридцать мы увидели еще один серый парус среди лазурных волн, который так же метался, кренился и трепетал, как крыло ночной бабочки. Там оказалось семнадцать человек. Этих мы решили забрать, потому что узнали от них, что живы все.

Пока на зыби мы несколько раз подходили к пироге, чтобы попытаться сцепиться с ней бортами; пока чуть не утопили ее, ударив носом прямо в борт; пока выхватывали поштучно полуголых, обожженных солнцем, дрожащих от озноба коллег, показалась третья пирога. Это была крупная посудина, людей в ней было немного, она сама могла дойти до «Невеля», и негры на ней быстро поняли, где стоит «Невель».

В суматохе пересадки я не сразу разобрал, что у нас на борту оказались две дамы. Дамы вели себя спокойнее, нежели некоторые мужчины. Один из штурманов, например, слишком долго не решался расстаться с пирогой, прыгнуть через борт. Это был здоровенный детина в сингапурском нейлоновом «кожухе», надетом на голое тело. В оправдание его нерешительности надо сказать, что на лбу у него из-под волос сочи-

лась кровь. Еще у нескольких моряков были травмы, у большинства в голову.

В результате неожиданной встречи со спасенными наш непроницаемый Леопард оказался меж двух стульев, ибо к своему острову он не добрался. Опустевшая пирога тоже шла в какое-то другое место. И нам пришлось довольно бестактно высадить Леопарда на нее. Было не до тонкостей. Он понял это, взял свой узелок с пиджаком и спокойно перепрыгнул в пирогу.

Он был благороден в каждом движении и каждом поступке. А мы даже не узнали его имени.

Правда, мы не узнали имени ни одного из тех негров, которые спасли тридцать восемь русских душ. Ведь спасательная операция уже закончилась. Мы принимали уже спасенные неграми души. Мы опоздали спасти их сами. Думаю, это к счастью.

Местные люди на своих пирогах, знающие повадки каждой струи течения возле берега, живущие всю жизнь на этих лазоревых волнах, чувствующие от долгого общения с парусом самое незначительное изменение направления ветра, рисковали меньше, чем рисковали бы мы, если б пришлось идти на тяжелом неповоротливом дизельном вельботе в накат восточной стороны рифового барьера.

Рассказы утопленников звучали судорожно:

— . . . Настил вдруг поднимается под вспомогателем. . . камень торчит из паёла. . . бах! . . . Свет погас. . . ракеты все перестреляли. . . подаем один проводник, второй. . . ничего не осталось. . . запустили на змее антенну, она метрах в четырех от пироги — хлоп в воду! . . . Аккумуляторы вдребезги. . . а я босой по битому стеклу. . .

Наконец кто-то сообразил, что надо бедолагам отдать свои шмутки — сгорят ведь под неистовым солнцем.

Я кинул ватник женщине с седыми волосами, но не старой, — оказалась судовым врачом. Потом пришлось снять пиджак. Справа внизу сидел какой-то парень. До пояса он хорошо был укрыт, а колени уже обгорели. Парень укрыл колени моим пиджаком. Тут ему передали здоровенную соленую горбушу и галету.

Их кок успел прихватить мешок с продуктами. По рукам пошли и банки с водой из аварийного запаса спасательных плотиков. Есть такие банки, обыкновенные, консервные. И надпись: «Питьевая вода. Не пить в первые сутки!» Иногда человек всю жизнь проплавает и не знает, что там запасено в спасательном плотике.

Этих ребят выручили с того света. А они уже кокетничали своим привычным обращением с питьевой водой, небрежно протыкали ножом две дырки, пили, нас угощали. Ржавым железом эта вода пахнет.

Парень с обгоревшими коленками уложил горбушу на мой пиджак и стал ее кромсать. Мой старый верный, добрый пиджак, — мне стало жаль его. Вонять теперь будет рыбой, гиблое дело. И обругать утопленника неудобно, и пиджак отнять неудобно.

Вот ведь как люди устроены. Только что я на смертельный риск шел, чтобы этого парня спасти, готов уже был к летальному исходу, а из-за пиджака, на котором он горбушу соленую кромсает, просто душа разрывается. И почему этот болван не мог что-нибудь подложить под рыбу, думал я. Мозги ему отшибло, что ли?

В какой-то книжке я читал, что у индейцев или у древних инков был закон, по которому человек, который спасал от неминуемой смерти другого, автоматиче-

ски становился навсегда рабом спасенного, рабом-телохранителем. Он вмешался в великий поток причин и следствий самой Природы, изменил в этом потоке нечто и должен всю жизнь нести за это покаяние и ответственность. Современному человеку такие рассуждения могут показаться дикарскими... А с пиджаком дело хана: нельзя ведь пиджаки стирать...

Старпом торчал на носу, высматривал камни, отмывал мне время от времени рукой, показывал безопасное направление.

Средняя пирога обогнала нас, парус и мотор вели вперед ее длинное тело уверенно и красиво. А первая, перегруженная пирога исчезла в голубом пространстве. Все-таки, быть может, следовало пересадить с нее людей? Вдруг они персевернулись? На такой зыби это просто.

Мы забирали восточнее — к острову Рафаэль, а обогнавшая нас пирога отклонялась к западу, они резали угол, шли к месту стоянки «Невеля», решив, очевидно, оставить с правого борта островок Али-Бабы, где я чуть не лопнул от потрясения и жадности.

Мы пережили приключение, раздумывал я. Кто оплачивает счет? В конечном итоге любое приключение, которое интересно для тебя, оборачивается горем и бедой для другого. Кто-то должен оплачивать приключения. Даже пилот-одиночка Чичестер, разыскивая по свету приключения для себя, не знал, что заставляет далеких и незнакомых людей оплачивать невидимые счета. Его приключения кому-то стоили седых волос. Когда ты описываешь свои приключения — сегодня описывают все, ибо за приключенческие книги платят неплохие деньги, — то ты пьешь чужую кровь. Даже если никто не погиб, спасая тебя из приключенческой

беды. Наше сегодняшнее приключение оплачено скорее всего судьбой вахтенного штурмана «Аргуса»...

Этот вахтенный штурман был мой коллега — второй помощник. Моего коллегу легко было узнать среди других моряков в вельботе. Он был одет с ног до головы. Он был в старенькой форменной одежде. В ней стоял вахту и увидел впереди, в ночи, белую полосу прибоя, услышал мерный, как вздох и выдох, гул. Что он сделал? Не скоро теперь рассеется для него тот ночной мрак...

Бесконечно долго идем мы назад. Ветер и течение сносят к западу, чифф отчаянно машет правой рукой. А у меня от румпеля занемели руки. Отдаю его Пете Крамарскому. Отличный паренек из экспедиции.

До чего приятно посидеть просто так, покурить, разглядывая коллег, измызганные мазутом рожи и пестроту одеяний.

Коллеги сосали карамель из запасов спасательных плотиков. Специальная карамель, чтобы меньше хотелось пить. С витаминами. И я сосал. И думал о пиджаке, — пропал пиджак. Сколько лет мне служил, где только на мне не побывал. И вот дождался, терзают на нем соленую горбушу, пойманную на Камчатке.

У всех наших было возбужденное, горделивое состояние спасателей. Большинство до конца жизни будет, вероятно, думать, что они кого-то спасли. Про негров забудут, — так уж устроены люди. Пялят глаза на женщин.

— Закрой голову, — сказал я одной нимфе. — С этим солнцем шутить нельзя.

— У меня волосы густые.

— Страшно было?

— Ужас сплошной! Я такие выкройки в Сингапуре купила — закачаешься!.. Не знаете, нам валюту вернуть?

— Скорее всего вернут.

— Мы в Одессу шли. Думали, рейс месяцев восемь будет — заработаем сразу хорошо. На спасателе-то рейсы короткие, валюты мало. А тут канули восемь месяцев валютных... И выкройки утонули.

Я внимательно присмотрелся к женщине. Подумалось, что ее навязчивое упоминание выкроек — нечто послешоковое, но она глядела на меня ясными глазами:

— Я толстая — сама знаю. На мою фигуру хорошие выкройки достать — проблема номер один.

Я чуть не выругался. Потом спросил:

— Как они вас вытаскивали? С воды брали?

— А я со страху и не запомнила.

— Хорошо, — сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Люди с первой пироги успели высадиться на Рафаэль, и мы долго ждали их в проливе между островом и первой к югу отмелью, жарились под солнцем.

Белый крест на фоне тропической зелени. Тихие поклоны пальм. Жара разморила и спасенных и всех наших. Да и устали мы уже здорово.

Несколько негров сидели на берегу в тени кустов, смотрели на нас. И мне казалось, что видят они нас насквозь, а мы в них ничего не видим, не понимаем. Мы в них понимаем еще меньше, чем в женщинах, хотя бы в той толстушке с выкройками. И никогда ничего не пойдем, если они сами себя не раскроют.

А раскрыться народы могут только через литературу. Никакая этнография здесь не поможет. Правда, как мне кажется, литература показывает не само

существо народа, а его мечту о себе, но, быть может, это синонимы?

Какой-то паренек с перевязанной полотенцем головой пробрался ко мне в корму, под ветер, тихо сказал:

— Я за вас подержусь. . .

— Давай, давай.

Вот уж к чему не приспособлены спасательные вельботы, так это к отправлению некоторых человеческих надобностей. Тут надо быть профессиональным эквилибристом на шаре, чтобы все сошло благополучно.

Остатки горбуши продолжали лежать на моем пиджаке. Но страдания по этому поводу несколько притупились.

Наконец подвалила пирога с капитаном «Аргуса» и его спутниками. Не торопились они расстаться с твердой землей и шелестом пальм.

У женщины в ситцевом платье руки были полны кораллов и ракушек. Какая красота в океанских дарах, если через несколько часов после пережитого она заметила и собрала эти ракушки и кораллы.

Все, что у нее было в каюте «Аргуса» — коробки с сингапурскими покупками, халатик там, тряпки, туфли, сувениры, фотографии родных, наверное, сумочка с помадой и зеркальцем, — все это переваривал теперь Индийский океан. А она у него взяла ракушки. Обменялись.

В вельбот перелезли еще два негра, одетые по-европейски, один даже в очках. Очевидно, они рассчитывали получить на «Невеле» презент за спасение.

Родное судно спустило забортный трап, но ветер засвежел, волна разгулялась и подойти к площадке было опасно. Следовало швартоваться под штормтрап.



Чиф от всех приключений несколько утратил глазомер, несколько изменилась, как говорится, выпуклость его морского глаза. В результате он воткнул вельбот в родной борт с полного хода. Мне даже показалось, что здесь чиф решил заменить нашего доктора Гену, чтобы хорошей встряской поставить на место мозги потерпевших бедствие. Сам Гена уже не занимался докторскими делами. Он весь был поглощен коленками коллеги с «Аргуса» — кутал и кутал ей ножки.

После удара в борт пришлось заложить еще один вираж вокруг «Невеля». Наконец ошвартовались. И мы с чифом первыми поднялись на борт, чтобы первыми получить благодарность за свои решительные действия.

Мы были мокрые, уставшие, полуголые. И соленые, как та горбуша.

Георгий Васильевич злился редко, но здесь встретил нас серый от гнева. Его первые слова были:

— Почему чужие люди в вельботе? Куда вы их думаете девать? Сию минуту снимаемся на Монтевидео. Вельбот поднять! А островитян куда? В Рио-де-Жанейро?!

Последнюю неделю старпом был простужен. Его нижняя губа, изъеденная черно-красными струпьями, отвисала. Теперь она отвисала еще ниже.

Уходя несколько часов назад с судна, мы ни о каком Монтевидео знать не знали. По плану мы должны были стоять две недели на Каргадосе, потом идти на Маврикий за продуктами и почтой.

— Ну, что вы вылупились? — спросил Георгий Васильевич. — Уже два часа Москва молотит приказ о немедленной съемке на Южную Америку, а вы посторонних на судно приволокли!

— Туши фонари, — пробормотал старпом любимую присказку, он употреблял ее во всех случаях жизни.

— Они ожидают презент, — сказал я. — Со всех возможных точек зрения, включая интернациональную, их следует поблагодарить.

— Шесть спасательных плотиков с «Аргуса» они уже получили. Это тысяча рублей новыми! Плохой презент? — спросил Георгий Васильевич. — И сколько они еще всего выловят! Идите на вельбот, Виктор Викторович, и возвращайтесь назад самым полным. Мы еще сколько времени потеряем, пока будем утопленников на «Короленко» передавать — погода портится.

— Вы совершенно правы, но что-то символическое им следует дать, — уперся я, представив себя на вельбо-

те перед двумя неграми, которые хотят лезть по штурм-трапу на «Невель», а я их не пускаю. — Они же не поверят, что мы вдруг действительно должны, экономя каждую минуту, нестись через два океана к Южной Америке. Откуда они знают специфику судна? Они обидятся насмерть. И все это на мою голову, а я человек деликатный.

— Идите на вельбот, Виктор Викторович, — сказал мастер. — Что-нибудь символическое мы вам туда спустим на веревке.

Из вельбота начинали эвакуацию женщин. Эвакуация производилась по правилам хорошей морской практики. Каждая женщина была встегнута в такелажный пояс с линем, линии держали высоко на борту гогочущие матросы. Неожиданно вытащить из океана четырех женщин посередине длинного скучного рейса — такое редко случается.

Вслед за женщинами, как я и ожидал, подвалили к трапу островитяне. Разговор, который состоялся между нами, на человеческий язык перевести нельзя. Такой разговор французы называют «пэльмэль» — «мешанина».

— Монтевидео! — кричал я.

— Олл райт! — отвечали они.

— Цурюк! — кричал я.

— О'кей! — раздавалось в ответ.

— Но! — кричал я.

— Бонжур, камарад! — приветствовали они.

Презент все не опускался на веревке, как было обещано, и я походил на собачку из рассказа Джека Лондона, которая обороняет хижину хозяина-пьяницы от дюжины волков.

Наконец с небес спустились три бутылки в авоське.

Я гаркнул, чтобы отдавали концы. Концы в тот же момент упали в вельбот. За моей борьбой следили сверху, конечно.

— Самый полный! — рывкнул я механику.

И мы опять рванулись в зыбь и брызги. Островитяне развернули бумагу с бутылок, несколько удивились, а затем протянули мне бланк, заполненный каракулями, в которых не разобрался бы даже академик Крачковский.

Я смело подмахнул бланк: «секонд мейт мотошип «Невель» — и автограф. Так как дело происходило на прыгающем вельботе и под брызгами, то разобрать мои каракули отказался бы и лучший эксперт-графолог мира.

В конце концов, здесь оставался «Короленко», он был назначен главным в операции по спасению. И я не сомневался, что «Короленко» с русской щедростью отблагодарит спасателей, ибо я не знаю случая, когда наши моряки оставались в долгу.

Мой автограф на бланке ободрил негроидов, они стали улыбаться, хлебнули винца, и мы высадили их на борт «Сирены» в отличном настроении. Я велел не подавать на «Сирену» концов и, как только негры вылезли, врубил опять «самый полный».

Экипаж шхуны вывалил на палубу и дружно махал нам вслед. И мы махали им и кричали: «Фенькью!»

И это было трогательно, потому что все люди на земле все-таки братья.

История аварии на официальном языке звучала так.

Спасательное судно «Аргус» следовало из Владивостока на Одессу с заданием обеспечить перегон дока.

В целях сохранения моторесурсов «Аргус» следовал на буксире теплохода «Тикси». 1 октября при ветре 5 баллов и крупной зыби лопнул буксир.

Учитывая сложную гидрометеобстановку, капитаны приняли решение следовать самостоятельно к острову Маврикий, под прикрытием которого завести новый буксир.

Выбрав на палубу оборванную часть троса и получив от «Тикси» исходную точку, «Аргус» дал полный ход и лег курсом на Маврикий.

Первое время суда следовали в визуальной видимости друг друга.

2 октября капитан «Тикси» сообщил, что по техническим причинам не может идти длительное время с уменьшенной скоростью, и по соглашению с «Аргусом» дал «полный» и ушел вперед.

3 октября капитан «Тикси» сообщил на «Аргус» о замеченном им сильном дрейфе на запад, однако это предупреждение капитаном «Аргуса» не было принято во внимание, и судно следовало прежним курсом.

4 октября в 00.00 на ходовую вахту заступил второй помощник. По данным счисления судно находилось примерно в 60 милях восточнее островов Каргадос-Карахос.

Погода к этому времени: низкая облачность, видимость от 2 до 6 миль, ветер юго-восточный 5—6 баллов и крупная зыбь того же направления.

В 01.50 впередсмотрящий матрос прямо по носу в расстоянии около одной мили увидел приборную полосу воды, о чем немедленно доложил вахтенному помощнику, который выскочил из рубки на правое крыло и, убедившись, что судно идет прямо в буруны,

скомандовал «право на борт», после чего по переговорной трубе вызвал на мостик капитана.

Через 3 минуты «Аргус» с полного хода ударился о подводные рифы, и только в этот момент был дан полный ход назад.

В 01.56 судно плотно село на восточную кромку рифов Каргадос-Карахос. Через пробойны в корпус судна стала интенсивно поступать вода. Крен судна достиг 60° на левый борт.

В 02.00 по радио был дан сигнал бедствия и указаны координаты.

Из-за большого крена и сильного волнения моря спустить спасательные боты не удалось. Утром со стороны мелководной лагуны, находящейся за прибойной полосой, подошли шлюпки местных рыбаков, на которые с помощью спасательных плотов ПСН-10 начал переправляться экипаж.

В 12.20 весь экипаж покинул судно, благополучно переправившись в рыбацьи шлюпки.

По неписаной традиции заботу о спасенных берут на себя таким образом: стармех — стармеха, радист — радиста и так далее.

Мой обреченный на кару коллега был очень молод. Вторым помощником он стал уже в рейсе, неожиданно, потому что одного из штурманов за что-то отправили из Сингапура домой на попутном судне.

Я выклянчил у завпрода бутылку сухого «тропического» вина. И мы выпили с коллегой.

— У нас во Владивостоке крысы бежали с буксира... — так начал он.

— Это ты следователю будешь говорить, — остано-

вил я его. — Или, еще лучше, прокурору на суде. Небось эти ребята сразу за носовые платки схватятся, чтобы слезы вытирать, когда про бегущих крыс услышат. Давай-ка мне все как на духу.

Он изложил свою легенду. Незачем приводить ее здесь.

Потом слово взял я.

— Слушай меня внимательно, — сказал я. — На «Короленко» вы будете чапать до дома около месяца. За это время ты должен: выучить устройство своего буксира, его маневренные элементы, аварийные расписания, обязанности по тревогам всех членов твоей аварийной партии, правила применения РЛС, действия вахтенного штурмана при открытии неожиданной опасности прямо по курсу и Устав. И знать все это как «Отче наш», ясно?

— Что такое «Отче наш»? — спросил мой коллега.

— До самой швартовки во Владивостоке ты должен ночей не спать и зубрить все, включая ППСС, хотя тебе и кажется, что это не имеет отношения к делу. Все будет иметь отношение. Когда тебя возьмут в перекрестный допрос старые капитаны из комиссии по расследованию, тебе придется абсолютно все. А если ты будешь до Владивостока в «козла» резаться, то срок окажется значительно больше. Или ты зарубишь себе на носу то, что я сказал, или гореть тебе голубым огнем. Еще: ты периодически включал эхолот и радар всю вахту, ты имел на мостике двух матросов, и ты первый увидел белую полосу впереди.

После этой инструкции я подарил ему на память раковину и дал письмо к своей матери, — это письмо плавало со мной уже около месяца. Он по-

клялся, что письмо не потеряет и опустит во Владивостоке сразу же. И сдержал свое обещание.

Больше всего хотелось спать. Впереди ждала ночная ходовая вахта. Но я зашел к старпому. Там сидел капитан «Аргуса» и его старпом.

Большое впечатление произвело на меня олимпийское спокойствие капитана. Он был толст, весь исколот азиатской татуировкой.

— Я на «Аргусе» год во Вьетнаме отработал, — сказал капитан. — Жалко судно. Но оно уже столько раз на том свете побывало. . . И под бомбежками, и. . .

Я рассматривал его татуировку и думал о том, что сейчас аварийных капитанов судят редко, слава богу. Сейчас никому не придет в голову искать в неверных поступках капитана злого умысла.

— Вот как в жизни бывает, — сказал капитан «Аргуса». — Я спасал киприота «Марианти», англичанина «Верчармиан» — тащил его до самого Гонконга, заделывал дыры на итальянцах, ремонтировал греков. . . Я потерял человека под бомбежкой на реке Кау Кам. . . Он посмертно орден Ленина получил, мне «Трудового» дали. . . И так вляпался! Ладно, ребята, поговорим о другом. Когда из дома? . .

Быть может, он уже слишком много хватил в жизни, подумалось мне. Быть может, ему надо было как следует отдохнуть перед этим рейсом? Или вообще завязывать с морем? Быть может, он слишком привык к морю, перестал уважать его?

Старпом «Аргуса» был сух, сед, длинен, заметны в нем были следы потрясения. Он был, как и я, из военных моряков, капитан-лейтенант в прошлом. Сказал,

что еще в Японском море трижды рвались буксирные тросы. А для работы с буксирными тросами у них на баке едва пять квадратных метров пространства было. Измучились на выборке тросов, пошли без буксира. «Тикси» оторвался, ушел вперед далеко. В океане секстанами работать точно не могли из-за очень сильной качки.

Сэр Исаак Ньютон мог обидеться за такие слова о секстанах, но чего в море не бывает. Здесь все может быть.

Старпом уставился на свои босые ноги, пошевелил пальцами.

— Вот босой остался... Голый выскочил сперва... соляра везде, волосы слиплись... Особенно удары эти!.. Чемоданчик потом все-таки прихватил, так он пустой оказался... Если «Короленко» заход дадут на Сингапур и нам валюту восстановят, так и выйти не в чем... Может, ребята, пока нас ходили искать, чего-нибудь из имущества пострадало, потеряли чего? Тогда составляй акт, подпишем... И на продукты акт пишите...



— Туши фонари, — сказал старпом теплохода «Невель». — Не надо. Всех покормили уже. Обойдемся. А вашим женщинам наши девочки свои халатики поотдавали... Толстушка, которая совсем почти голая была, как поужинала, говорит: «Ну вот, обсохла, накушалась, теперь бы еще веселого кавалера под бок...»

— Это они могут, — сказал капитан «Аргуса».

Мы позлословили немного о морских женщинах, их причудах.

В голове шумело кислое «Ркацители». Возбуждение давно угасло, стало скучно.

И я был рад, когда трансляция прорычала: «Членам экипажа спасательного судна «Аргус» приготовиться к переправе на теплоход «Короленко».

А через час мы уже шли полным ходом. Впереди опять был океан, и темнота, и дальняя, и дальняя дорога...

ПЕТР НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О МАТРОССКОМ КАЧЕСТВЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Нелицемерно судят наше творчество настоящие друзья или настоящие враги. Только они не боятся нас обидеть. Но настоящих друзей так же мало, как настоящих, то есть цельных и значительных, врагов.

Первым слушателем предыдущей главы был мой друг Петя Ниточкин.

Я закончил чтение и долго не поднимал глаз. Петя молчал. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы сразу заняться литературной критикой. Наконец я поднял на друга глаза, чтобы поощрить его взглядом.

Друг беспробудно спал в кресле. Он никогда, черт его побери, не отличался тонкостью, деликатностью или даже элементарной тактичностью.

Я вынужден был разбудить друга.

— Отношения капитана с начальником экспедиции ты описал замечательно! — сказал Петя и неуверенно дернул себя за ухо.

— Свинья, — сказал я. — Ни о каких таких отношениях нет ни слова в рукописи.

— Хорошо, что ты напомнил мне о свинье. Мы еще вернемся к ней. А сейчас — несколько слов о пользе взаимной ненависти начальника экспедиции и капитана судна. Здесь мы видим позитивный аспект взаимной неприязни двух руководителей. В чем философское объяснение? В хорошей ненависти заключена высшая степень единства противоположностей, Витус. Как только начальник экспедиции и капитан доходят до крайней степени ненависти друг к другу, так Гегель может спать спокойно — толк будет! Но есть одна деталь. Ненависть должна быть животрепещущей. Старая, уже с запашком, тухлая, короче говоря, ненависть не годится, она не способна довести противоположности до единства.

— Медведь ты, Петя, — сказал я. — Из неудобного положения надо уметь выходить изящно.

— Хорошо, что ты напомнил мне о медведе. Мы еще вернемся к нему. Вернее, к медведице. И я подарю тебе новеллу, но, черт меня раздери, у тебя будет мало шансов продать ее даже на пункт сбора вторичного сырья. Ты мной питаешься, Витус. Ты, как и моя жена, не можешь понять, что человеком нельзя питаться систематически. Человеком можно только время от времени закусывать. Вполне, впрочем, возможно, что в данное время и тобой самим уже с хрустом питается какой-нибудь твой близкий родственник или прицельно облизывается дальний знакомый. . .

... Сколько уже лет я привыкаю к неожиданности Петиних ассоциаций, но привыкнуть до конца не могу. Они так же внезапны, как поворот стаи кальмаров. Никто на свете — даже птицы — не умеет поворачивать «все вдруг» с такой ошеломляющей неожиданностью и синхронностью.

— Кальмар ты, Петя, — сказал я. — Валяй свою новеллу.

Уклонившись от роли литературного критика, Петя оживился.

— Служил я тогда на эскадренном миноносце «Очаровательный» в роли старшины рулевых, — начал он. — И была там медведица Эльза. Злющая. Матросики Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь. Если ты не Дуров. И убирали за ней, естественно, матросы и хотели от Эльзы избавиться, но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры. Я в этом убедился сразу по прибытии на «Очаровательный».

Поднимаюсь в рубку и замечаю безобразие: вокруг нактоуза путевого магнитного компаса обмотана старая, в чернильных пятнах, звериная шкура. . . Знаешь ли ты, Витус, что такое младший командир, прибывший к новому месту службы? Это йог высшей квалификации, потому что он все время видит себя со стороны. Увидел я себя, старшину второй статьи, со стороны, на фоне старой шкуры, а вокруг стоят подчиненные, ну и пхнул шкуру ботинком: «Что за пакость валяется? Убрать!» Пакость разворачивается и встает на дыбки.

Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальнего поста — выше на эсминце не удерешь. В КДП я задрался и сидел там, пока меня по телефо-

ну не вызвали к командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову.

— Плохо ты, старшина, начинаешь, — говорит мне капитан третьего ранга Поддубный. — Выкини из башки Есенина.

— Есть выкинуть из башки Есенина! — говорю я, как и положено, но пока совершенно не понимаю, куда каптри клонит.

Осматриваюсь тихонько.

Нет такого матроса или старшины, которому неинтересно посмотреть на интерьер командирской каюты. Стиль проявляется в мелочах, и, таким образом, можно сказать, что человек — это мелочь. Самой неожиданной мелочью в каюте командира «Очаровательного» была большая фотография свиньи. Висела свинья на том месте, где обычно висит парусник под штормовыми парусами или мертвая природа Налбандяна.

— А вообще-то читал Есенина? — спрашивает Поддубный.

— Никак нет! — докладываю на всякий случай, потому что четверть века назад Есенин был как бы не в почете.

— Этот стихотворец, — говорит командир «Очаровательного», — глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам — младшие или старшие братья?

— Старшие, товарищ капитан третьего ранга!

— Котелок у тебя, старшина, варит, и потому задам еще один вопрос. Можно очеловечивать животных?

— Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга!

— Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый младший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Надо выяснять не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке. Понятно я говорю?

— Так точно!

— Если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе даже и не старший брат, а старшая сестра, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Намек понял?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга! Разрешите вопрос?

— Да.

— Товарищ капитан третьего ранга, на гражданке мне пришлось заниматься свиноводством, — говорю я и здесь допускаю некоторую неточность, ибо все мое свиноводство заключалось в том, что я украл поросенка в Бузулуке и сожрал его чуть ли не живьем в сорок втором году. — Интерес к свиноводству, — продолжаю я, — живет в моей душе и среди военно-морских тягот. Какова порода хрюка, запечатленного на вашем фото?

— Во-первых, это не хрюк, а свиноматка, — говорит Поддубный и любовно глядит на фото. — Правда, качество снимка среднее. Он сделан на острове Гогланд в сложной боевой обстановке. Эту превосходную свинью звали Машкой. Я обязан ей жизнью. Когда транспорт, на котором я временно покидал Таллин, подорвался на

мине и уцелевшие поплыли к голубой полоске далекой земли, я, товарищ старшина, вспомнил маму. В детские годы мама не научила меня плавать. Причиной ее особых страхов перед водой был мой маленький рост. Да, попрощался я с мамой не самым теплым словом и начал приемку балласта во все цистерны разом. И тут рядом выныривает Машка. Я вцепился ей в хвост и через час собирал бруснику на Гогланде. Вот и все. Машку команда транспорта держала на мясо. Но она оказалась для меня подарком судьбы. Вообще-то, старшина, скажу вам, что подарки я терпеть не могу, потому что любой подарок обязывает. А порядочный человек не любит лишних обязательств. Но здесь делать было нечего. Я принял на себя груз обязательства: любить старших сестер и братьев. Кроме этого, я не ем свинины. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей?

— Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодушевленную и...

— Конечно, — сказал командир. — Большое видится на расстоянии, а рубка маленькая... Две недели без берега! И можете не благодарить!

Я убыл из командирской каюты без всякой обиды. Есть начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней, вернее, без нутряной злобы. Дал человек клятву защищать животных и последовательно ее выполняет. Он мне даже понравился. Лихой оказался моряк и вояка, хотя, действительно, ростом не вышел. Таких маленьких мужчин я раньше не встречал. На боевом мостике ему специально сколотили ящик-пьедестал, иначе он ничего впереди, кроме козырька своей фуражки, не видел. На своем пьедестале командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые циф-

ры — аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет — и обратно на ящик прыг. И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Очень ему было удобно с этим пьедесталом. Иногда просто ногу поднимет и под нее заглядывает, как в записную книжку. И в эти моменты он мне собачку у столбика напоминал. Вернее, если следовать его философским взглядам, собачка у столбика напоминала мне его. И теперь еще напоминает. И я твердо усвоил на всю жизнь, что одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что от многолетнего общения морда собаки делается похожей на лицо хозяина. Ерунда. Это лицо хозяина делается похожим на морду его любимой собаки. И пускай кто-нибудь попробует доказать мне обратное! Пускай кто-нибудь докажет, что не Черчилль похож на бульдога, а бульдог на Черчилля! Но дело не в этом. Разговор пойдет о матросском коварстве. Ты читал «Блэк кэт» Джекобса?

— Дело в том, Петя, что я дал себе слово выучить английский к восьмидесяти годам. Этим я надеюсь продлить свою жизнь до нормального срока. А Джекобса у нас почти не переводят.

— Прости, старик, но ты напоминаешь мне не должителя, а одного мальчишку помора. Когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком, судьба занесла его в Англию на архангельском суденышке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил: «Му-у-у!» Потом показывал пятерню и говорил: «Бэ-э-э!» Это, как ты понимаешь, означало, что привезли они десять холмогорских коров и пять полудохлых от качки овец. «Вот вырасту, стану капитаном, — думал маленький Воронин, — и сам так

же хорошо, как хозяин, научусь по-иностранному разговаривать». И как ты умудряешься грузовым помощником плавать?

— А тебе какое дело? Не у тебя плаваю.

— Ладно. Не заводись. У Джекобса есть рассказ, где капитан какой-то лайбы вышвырнул за борт черного кота — любимца команды. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота спокойно лежащим на койке. Сволочь капитан опять взял черного кота за шкурку и швырнул в штормовые волны, а когда вернулся в каюту, дважды утопленный черный кот облизывался у него на столе. Так продолжалось раз десять, после чего кэп рехнулся. В финале Джекобс вполне реалистически, без всякой мистики, которую ты, Витус, так любишь, объясняет живучесть и непотопляемость черного кота. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца и в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их чернью. И запускали поштучно к капитану, как только тот надирался шотландским виски. Это и есть матросское коварство. У нас на «Очаровательном» все было наоборот. Командир Эльзу обожал, а мы мечтали увидеть ее в зоопарке. Нельзя сказать, что идея, которая привела Эльзу в клетку, принадлежала только мне. Как все великие идеи, она уже витала в воздухе и родилась почти одновременно в нескольких выдающихся умах. Но я опередил других потому, что во время химической тревоги, когда на эсминце запалили дымовые шашки для имитации условий близких к боевым, Эльза перекусила гофрированный шланг моего противогаза. Злопамятная зверюга долго не находила случая отомстить за пинок ботинком. И наконец отомстила. После отбоя тревоги дым выходил у меня из ушей еще минут

пятнадцать. С этого момента я перестал есть сахар за утренним чаем. Первым последовал моему примеру боцман, который любил Эльзу не меньше меня. Потом составилась целый подпольный кружок диабетиков. Сахар тщательно перемешивался с мелом и в таком виде выдавался Эльзе. Через неделю она одним взмахом языка слизнула полкило чистого мела без малейшей примеси сахара, надеясь, очевидно, на то, что в желудке он станет сладким. Все было рассчитано точно. Твердый условный рефлекс на мел у Эльзы был нами выработан за сутки до зачетных торпедных стрельб. Надо сказать, что по боевому расписанию Эльза занимала место на мостике. Ей нравилось смотреть четкую работу капитана третьего ранга Поддубного. А наш вегетарианец, действительно, был виртуозом торпедных атак. И когда «Очаровательный» противолодочным зигзагом неся в точку залпа, кренясь на поворотах до самой палубы, там, на мостике, было на что посмотреть.

В низах давно было известно, что очередные стрельбы будут не только зачетными, но и показательными. Сам командующий флотом и командиры хвостовых эсминцев шли в море на «Очаровательном», чтобы любоваться и учиться.

Погодка выдалась предштормовая. И надо было успеть отстреляться до того, как поднимется волна.

— Командир, — сказал адмирал нашему командиру, взойдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа. — Я мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу, я соскучился по лихому морскому бою!

И он увидел лихой бой!

Мы мчались в предштормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи в липкую бумагу.

Командир приплясывал на ящике. Ему не терпе-

лось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре.

Эльза сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра.

Адмирал и ученики-командиры стояли тесной группой и кутались в реглааны.

Точно в расчетное время радары засекали эсминец-цель, и Поддубный победно проорал: «Торпедная атака!.. Аппараты на правый борт!»

Турбины взвыли надрывно. Секунды начали растягиваться, как эспандеры. И внутри этих длинных секунд наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок — и команда, прыг-скок — и команда. Команды Поддубного падали в микрофоны четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилон, сигма, фи и пси арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Минуты за три до точки залпа Эльза спокойно прошла через мостик, дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика-пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слизнула с ящика все данные стрельбы, всякие аппаратные углы и торпедные треугольники.

Атака завалилась с такой безнадежностью, как будто из облаков на «Очаровательный» спикировали разом сто «юнкеров».

Червонцы команд по инерции еще несколько секунд вываливались из Поддубного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой, блестящей поверхности ящика-пьеде-

стала, выражал детское удивление перед тайнами окружающего мира. Хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол предштормовое море на тридцати узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны палили в небеса оглушительными очередями, на мостике стало тихо, как в ночной аптеке. И в этой аптекарской тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, торчащий из кулака Поддубного.

— Отставить атаку! — заорал адмирал. — Куда я попал! Зверинец!

И здесь наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам. И правильно, я считаю, сделал, когда всадил сапог в ухо Эльзе. Медведица пережила такие же, как и ее хозяин, мгновения чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира. Потом взвилась на дыбки и закатила Поддубному оплеуху. Лихой бой на борту эскадренного миноносца «Очаровательный» начался. Точно помню, что и в пылу боя Поддубный сохранял остатки животнoлюбия и джентльменства, ибо ниже пояса он старшую сестру не бил, хотя был на голову ниже медведицы и, чтобы попасть ей в морду, ему приходилось подпрыгивать. Эльза же чаще всего махала лапами над его фуражкой, потому что эсминец кренился и сохранять равновесие в боксерской стойке на двух задних конечностях ей было трудно. А кренился «Очаровательный» потому, что на руле стоял я, старшина рулевых, и когда командиру становилось туго, я легонько переключал руля. На тридцати узлах эсминец отзывается на несколько градусов руля с такой быстротой, будто головой кивает. И таким маневрированием я не давал Эльзе загнать командира в угол. Мне, честно говоря, хотелось продлить незабываемое зрелище.



Адмирал и ученики-командиры наблюдали бой, забравшись кто куда, но все находились значительно выше арены. Сигнальщики висели на фалах в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то есть скорчившись от сумасшедшего хохота. Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя и выступали, таким образом, в роли пикадоров. Но Эльза была упряма и злопамятна, как сто тысяч обыкновенных женщин. Ее интересовал только предатель командир.

Тем временем эсминец-цель, зная, что по нему должен был показательно стрелять лучший специалист флота и что на атакующем корабле находится командующий, решил, что отсутствие следов торпед под килем означает только безобразное состояние собственной службы наблюдения. Признаться в этом командир цели, конечно, не считал возможным. И доложил по радиации адмиралу, что у него под килем прошло две торпеды, но почему-то до сих пор эти торпеды не всплыли и он приступает к планомерному поиску.

Учитывая то, что мы вообще не стреляли, возможно было предположить, что в районе учений находится подводная лодка вероятного противника и что началась третья мировая война.

В сорок девятом году войной пахивало крепко, и адмирал немедленно приказал накинуть на Эльзу чехол от рабочей шлюпки и намотать на нее бухту пенькового троса прямого спуска. Эту операцию боцманская команда производила с садистским удовольствием. Затем адмирал объявил по флоту готовность номер один и доложил в Генштаб об обнаружении неизвестной подводной лодки. Совет министров собрался на...

— Петя, ты ври, но не завирайся. Ведешь себя, как ветеран на встрече в домоуправлении... Что было с Эльзой?

— Когда Поддубному вкатили строгача, он на нее смотреть спокойно уже не мог. Списали в подшефную школу. Там она дала прикурить пионерам. Перевели в зверинец. Говорят, медведь, который ездит на мотоцикле в труппе Филатова, ее родной внук. Если теперешние разговоры о наследственности соответствуют природе вещей, то рано или поздно этот мотоциклист заедет на купол цирка и плюхнетя оттуда на флотского офицера, чтобы отомстить за бабушку. Я лично в цирк не хожу уже двадцать лет, хотя давным-давно демобилизовался.

..Ну, а теперь пару слов о морской психологической несовместимости — и все. После демобилизации закончил я мореходку, и меня в последний матросский рейс отправили в тропики. Артельным еще выбрали — за продуктами ухаживать.

Ладно. Гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что за мясо, и сегодня не знаю: может быть, зебры, может быть, бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру хранения в холодильнике, то есть в холодной артелке. Каждый день в восемь тридцать спускался ко мне в холодильник, нюхал бегемотину и мерил температуру. И так меня к своим посещениям приучил — а пунктуальности он был удивительной, — что я по нему уже и часы проверял.

Звали чифа Эдуард Львович Саг-Сагайло. Мне кажется,

он происходил из литовских князей, потому что каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и запер в холодильнике. И он там два часа опускал и поднимал бочку с комбижиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться воспалением легких, а не чахоткой, например.

Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула фановая труба, он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обноживание бегемотины минут на пять.

Я в артелке порядок навел, подождал чифа — его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел — а они у нас в центре были артелки, — потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же, как в цирке у клоунов: следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол — и он за угол, я за угол — и он за угол. И мы друг друга не видели.

— Ниточкин, — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару и он стряхивал с рубашки и галстука иней. — Вы читали Шиллера?

Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал.

— Нет, — говорю, — трудное военное детство — не успел.

— У него есть неплохая мысль, — говорит Саг-Сагайло хриплым, морозным, новогодним голосом, — Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги.

— Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я.

— Мы не в лесу, — просипел Эдуард Львович.

Несколько дней он болел, следить за бегемотиной

стало некому — я в этом деле плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай подняла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпома, конечно, валится.

Тут я акулу поймал и уговорил кока ее зажарить. Получилось вкусно — сожрали ее вместе с плавниками. Два дня жрали. И Эдуард Львович оттаял и со мной даже пошучивать начал.

А четвертый штурман — сопливый мальчишка — вычитал в лоции, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных. И трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бактерии проказы прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое у кого температура поднялась самым серьезным образом, кое-кто сачкует и на вахту не ходит под этим соусом. А Саг-Сагайло строгача вlepили за мою акулу.

Н-да. Везли мы тогда ящики со спортивным инвентарем — штангами. Качнуло крепко, несколько ящиков побились. Я же в юности тяжелой атлетикой увлекался. Дай, думаю, организую секцию атлетики, а перед портом заколотим ящики — и все дело. Капитан разрешил. Записались в секцию пятеро — два моториста, электрик, камбузник и... Саг-Сагайло записался. Пришел ко мне в каюту и говорит:

— Главное в нашей морской жизни — не таить чего-нибудь в себе. Я, должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится.

Ну, выбрали мы хорошую погоду, вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд на корточки и каждому положил на шею по шестидесятикилограммовой штанге—

для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И команду: «Встать!»

Ну, мотористы встали. Камбузник, наоборот, упал. Электрик скинул штангу и выругался. А Саг-Сагайло продолжает сидеть, хотя я вижу, что сидеть ему со штангой на шее уже надоело и он хотел бы встать, но это у него не получается.

— Мотористы! — команду ребятам. — Снимай штангу с чифа!

— Не подходить! — говорит Саг. И зубами скрипнул.

Дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас железную. Ослушаться его было непросто. И вот он сидит, а мы стоим вокруг.

Прошло минут десять. Я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит, что обедать пора и что пускай Эдуард Львович бросит эти штучки и вылезает из-под железа.

Саг-Сагайло благодарит капитана за заботу, объясняет, что обедать еще не хочет, а хочет встать со штангой. Сам.

Капитан тогда приказывает играть аварийную тревогу: он предполагал, что чиф штангу скинет и побежит на свой пост. А тот, как строевой конь, услышавший сигнал горниста, встрепенулся весь — и встал! Со штангой встал! Потом она рухнула с него на кап машинного отделения, и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до конца рейса. И Эдуарда Львовича при взгляде на меня потом тошнило, как матросов от прокаженной акулы, но он ни разу голоса на меня не повысил. Правда, когда я уже списывался, он прямо сказал: «Надеюсь, Петр Ивано-

вич, мы с вами никогда больше не увидимся. Уж вы извините за эти слова, но так для нас было бы лучше. Все-го вам доброго».

Прошло несколько лет. Я уже до третьего штурмана вырос.

Вызывают в кадры, суют билет на самолет: вылетай в Тикси на подмену — там третий помощник заболел, а судно на отходе.

Прилетел, представляюсь старпому, спрашиваю, как мастер — спокойный или дергает зря? Чиф говорит, что мастер удивительного хладнокровия и вежливости мужчина. «У нас, говорит, буфетчица — злющая старуха, въедливая, говорит, карга, но капитан каждое утро ровно в восемь интересуется ее здоровьем».

Стало мне тревожно: «Фамилия мастера?»

«Саг-Сагайло».

Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом: заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя.

Не могу сказать, что Эдуард Львович просиял, когда меня увидел. Но все слова приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было: подмена есть подмена. Ладно, думаю, все ерунда, все быльем поросло.

Осмотрел свое заведование. Оказалось — только один бинокль есть — и тот без ремешка. Обыскал все ящички — нет ремешка. Тогда я свой брючный для начала не пожалел, разрезал его вдоль и прикрепил к биноклю. Нельзя, если на судне один нормальный бинокль — и без ремешка, без страховки. Намотал этот проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю и бинокль в пенал уложил.

Стали сниматься в море. Саг-Сагайло поднялся на мостик.

Я жду: заметит он, что я ремешок привязал? Похвалит или нет? Саг-Сагайло, не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, нащупывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет божий. Ремешок, конечно, раскручивается, и бинокль — шмяк об палубу — вдребезги. Саг-Сагайло закрывает глаза и медленно отсчитывает до десяти в мертвой тишине, потом вежливо спрашивает:

— Кто здесь эту самодеятельность проявил? Кто эту сырмятную веревку привязал и меня не предупредил?

Я докладываю, что хотел сделать лучше, что единственный бинокль использовать без ремешка было рискованно. . .

Саг-Сагайло еще до десяти отсчитал и говорит, что ничего, мол, Петр Иванович, всяко бывает, не расстраивайтесь, доберемся домой и без бинокля. И хотя он сказал это вежливым и даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то осадок.

Дали ход. Легли курсом на Землю Унге.

Сагайло у правого окна стоит, я у левого. Морозец уже над Восточно-Сибирским морем. Стемнело. Погода тихая. И в рубке тихо, но тишина какая-то зловещая. Чувствую: вот-вот опять что-нибудь случится. Но волевым усилием стараюсь отвлекать себя от черных мыслей. Через часок Сагайло похлопал себя по карманам и говорит, что спустится за табаком, а вы тут, говорит, плывите пока без меня.

Остался я на мостике один с рулевым и думаю: что бы сделать полезного? В окно, думаю, дует сильно. Надо, решаю, капитанское окно закрыть. И закрыл.

Ведь какая мелочь: окно там закрыл человек или, наоборот, открыл, но когда образуется между людьми

эта психическая несовместимость, то мелочь — вовсе не мелочь.

Так через полчаса появляется Эдуард Львович и, попыхивая трубкой, шагает широкими, решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дуло.

Я еще не успел отметить, что когда Саг-Сагайло старпомом был, то курил сигареты, а стал капитаном — трубку завел. Только я успел это отметить, как Саг-Сагайло с полного хода высовывается в закрытое окно. То есть высунуться-то ему, естественно, не удалось. Он только втыкается в стекло-сталинит лбом и трубкой. Из трубки ударил столб искр, как из паровоза дореволюционной постройки. А я — тут уж нечистая сила водила рукой — перевожу машинный телеграф на «полный назад». Звонки, крик в рубке, и попахивает паленым волосом.

Потом затихло все, и только слышно, как Саг-Сагайло считает: «...восемь, и девять, и десять». Наконец негромко спрашивает:

— Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил?

А я вижу, что у него вокруг головы во мраке рубки возникает как бы сияние, такое, как на древних иконах. Короче говоря, вижу я, что Сагайло вроде бы горит. И мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг: других тряпок на мостике, конечно, и днем с огнем не найдешь.

Потом я открыл капитанское окно обратно и тихо забился зарадиолокатор. А Саг-Сагайло осматривается вокруг и временами хватается за обгоревшую голову. Наконец, он спрашивает меня каким-то чужим голосом:

— Скажите, пожалуйста, товарищ Ниточкин, мы назад плывем или вперед?

И только тут я понимаю, что телеграф стоит на «полный назад»! Минут через пять после того, как мы дали нормальный ход, Саг говорит, что море еще пустое, плавание спокойное и он пойдет отдохнуть, потому что чувствует себя несколько нездоровым.

И такая меня тоска взяла. И он человек отличный, и я самого хорошего хочу, а получается черт знает что. И ведь не докажешь ему, что в холодильнике я его случайно закрыл и что в окно встречный ветер дул и рулевому смотреть мешал. . . Хоть бы Сагаило на меня ногами топал, орал, в цепной ящик посадил; а он тощает, сидит, веко у него дергаться начинает, когда я в поле зрения попадаю, но все так же говорит: «Доброе утро, Петр Иванович! Сегодня в лед войдем, вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь в картах пустых мест полно. И каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте».

И знаешь, как сказал Шиллер, против дураков бесильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт побери, а как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал — от сверхстарательности. Звезда мелькнет в тучах на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает, и я замеряю проблески Альфы Кассиопеи. Пока я Кассиопею измеряю, мы в льдину втыкаемся и белых медведей распугиваем, как воробьев. . .

Вышли на видимость мыса Малый Унге, там огонь мигает. Я, конечно, хватать секундомер. Сагаило говорит:

— Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного пять секунд, у другого — восемь.

А я только один огонь вижу. Руки трясутся, как с перепоя. Замерил период — получается пять секунд. Дай, думаю, еще раз проверю. Замерил — двенадцать получается. Я еще раз — получается восемь. Я еще раз — двадцать две.

Эдуард Львович молчит, меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен и как ему необходимо услышать от меня характеристику этого огня. Справа нас ледяное поле поджигает, слева — стамуха под берегом сидит, и «стоп» давать нельзя: судно руля не слушает.

— Эдуард Львович, — говорю я. — Очевидно, секундомер испортился или огни в створе. Все разные получаются характеристики.

— Дайте секундомер мне, пожалуйста! побыстрее! — говорит он, вынимает изо рта сигарету (после случая с закрытым окном Саг опять к сигаретам вернулся) и той же рукой, которой держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И — знаешь, как отсчитывают секунды опытные люди — каждую секунду вместе с секундомером рукой сверху вниз: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!»

— Пять! — и широким жестом выкидывает за борт секундомер.

Это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть окурочек сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выплюнул, как говорится, ребенка вместе с водой. Выплюнул — и уставился себе в руку: что, мол, такое? Только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает? И от кошмара происходящего я машинально спрашиваю:

— Зачем вы, товарищ капитан, секундомер за борт

выкинули? Он восемьдесят рублей стоит и за мной числится.

— Знаете, — говорит Эдуард Львович как-то задумчиво, — я и сам не знаю, зачем его выкинул. — И как заорет: — Вон отсюда, олух набитый! Вон с мостика, акула! Вон!!

Пока все это происходило, мы продолжаем машинами работать. И вдруг — трах! — летим все вместе куда-то вперед по курсу. Кто спиной летит, кто боком, а кому повезло, тот задом вперед летит.

Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие. Потому что банка, на которую мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем: банка Саг-Сагайло.

С мели, слава богу, нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле, но мне легче не стало. Сажу в каюте, валерьянку пью. Курю. Стук.

— Кого еще несет?! — ору. — Пошли все! . .

Входит Сагайло. Я только рукой махнул и со стула даже не встал.

— Мне доктор сообщил, — говорит Сагайло, — у вас бутылка с валерианой. Накапайте и мне сколько там положено, пожалуйста.

Капнул я ему с четверть стакана — рука дрожит. Он тяпнул и говорит, что безобразно вел себя на мостике. «Простите, — говорит, — Петр Иванович, и вам на вахту пора».

Еще немного — и зарыдал бы я в голос от тоски и любви к нему.

Н-да. И вот в благодарность за всю его деликатность, когда мы уже швартовались в Мурманске, получилось так, что я защемил ему большой палец правой руки

в машинном телеграфе. А судно «полным назад» отработывало, и высвободить палец из рукоятной защелки Эдуард Львович не мог, пока мы полностью инерцию не погасили. И его на санитарной машине сразу увезли в больницу. . .

Да. Вот желают морякам добрые люди «счастливого плавания», подразумевая под этим отсутствие штормов, туманов и айсбергов впереди по курсу, и знаменитые три фута чистой воды под килем. А желать-то нам надо подходящих попутчиков и обыкновенной удачи.

О Викторе Конечком и его героях

В детстве Виктор Конечкий хотел стать художником. А стал — писателем и моряком. То, что в ранние годы ощущается как призвание, не всегда превращается в профессию. Но и не исчезает бесследно. В чем-то главном оно продолжает определять любую работу человека. Глаз, воспитанный занятиями живописью, не устанет наслаждаться алхимией заката, следить за перемещениями оттенков и форм; готовность к восприятию красоты художник-Конечкий передал Конечкому-писателю. К тому же и сегодня Виктор Конечкий не бросает кисти, и морской пейзаж, сделанный во время рейса, порой помогает ему, не выходя из ленинградской квартиры, совершить обратную дорогу в океан.

Родился Виктор Викторович Конечкий 6 июня 1929 года. Ровно через сто тридцать лет после рождения А. С. Пушкина. Какой-нибудь средневековый астролог наверняка усмотрел бы в этой случайности игру судьбы: Пушкина Конечкий любит ревностно и бескорыстно, ни в один из дальних рейсов не отправляется без его томика.

В любви к Пушкину нельзя быть уличенным, так присуща она почти всякому русскому сознанию. Быть может, поэтому мы признаемся в ней особенно открыто и радостно, с особым упоением проговариваясь в ней. Тайна нашего отношения к Пушкину остается тайной и на виду. В любви к Пушкину Виктора Конечкого высказывает себя та тоска по человеку, которая, как теплое глубинное течение, согревает всю его прозу.

Через месяц после победных салютов В. Конечкому исполнилось шестнадцать. Надо было устраивать свою жизнь. А время было

голодное. Особенно страдали от постоянного недоедания подростки, пережившие блокаду. А на набережной, названной именем «главного героя детства» — Лейтенанта Шмидта, стояли у причала корабли. Их очертания взывали к смутной мальчишеской мечте о море. К тому же на флоте кормили лучше, чем в заведениях гражданских. Так в 1945 году Виктор Конецкий стал воспитанником Военно-Морского Флота.

С тех пор жизнь его связана с морем. После окончания Высшего военно-морского училища он плавает штурманом на аварийно-спасательных кораблях Северного флота, потом, демобилизовавшись, проходит школу торгового моряка — от четвертого помощника капитана до капитанского мостика.

В те годы, когда Виктор Конецкий дебютировал в литературе книгами «Сквозняк» и «Камни под водой», судьба его должна была вызывать в читателях особую зависть. «Охота к перемене мест» овладела поколением 60-х. Вопрос, заданный А. Вознесенским: «Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то? . . .», звучал как призыв собираться в дорогу. Острое чувство дороги, как форма духовного пробуждения, присуще ранним героям В. Шукшина, А. Битова. . . Не случайно и поэма А. Твардовского «За далью даль», написанная в эти годы, заключена в рамки путешествия. Человек ощущал в себе неясное беспокойство, потребность осмыслить происходящие в обществе перемены, понять свое призвание. Словно рассыпались пределы, положенные обычно судьбе, и каждый почувствовал легкое головокружение, унять которое можно было только в пути. Нередко это было неосознанным бегством от себя, от проклятых вопросов, но сознаться в этом еще не пришла пора, и каждый натягивал свой парус.

Полная приключений жизнь Виктора Конецкого была идеальной моделью того, к чему все стремились, но что не у всех хватало воли и удачливости осуществить.

Писатель заметил как-то по поводу одного из своих героев: «Новое всегда связывалось в его сознании с переменной места». В сущности, это относится не к одному, а сразу к многим героям В. Конецкого. Все они бродят по свету в поисках своего «сюжета жизни». Они и вообще-то уверены, что живут в эпоху не философского созерцания, а действия, когда жизнь испытывает человека на способность совершить поступок.

У многих из них не было времени на сотворение воздушных замков. Слишком рано они узнали, что «все сбывшиеся мечты превращаются в обыкновенную жизнь». Слово «обыкновенная» лишено

здесь серого и скучного налета. Это не разочарование, а именно — знание. Просто не успели они дожить своего детства, не успели, шагая по гранитным плитам ленинградских набережных и стараясь всякий раз попасть ногой на следующую плиту, как следует додумать свое будущее, не успели прочитать прекрасных книг. Правда, если брались они что-то в жизни отстаивать, то было это не умозрительное суждение, а убеждение, рожденное опытом, в котором ум поспевал за руками. Примечательно, что авторы, имена которых, казалось бы, должны были сопутствовать первым прикосновениям писателя к бумаге — Мэлвилл и Конрад, — в действительности прочитаны В. Конечким значительно позже.

Быть может, потому, что не успели утвердить себя в юношеском, созерцательном общении с миром, многие герои В. Конечного так особенно нетерпеливы и упорны в труде, так настойчиво воспитывают в себе мужество и характер, любят рисковать жизнью. Этой «гипертрофией воли», как называли ее критики, герои В. Конечного пытаются как бы компенсировать духовную недостаточность, завоевать право на жизнь; но именно она нередко мешает им подняться до настоящего драматизма. Лишь пережив страх смерти, стыд перед товарищами, герой рассказа «Под водой» Антоненко понимает, что «настоящее мужество и смелость отчаяния — разные вещи».

Ранние герои В. Конечного — романтики, но иного склада, чем, скажем, у А. Грина или К. Паустовского. У его капитанов нет пристрастия к экзотическим грузам, в трюмах у них находится не кофе, а уголь. Для героев Виктора Конечного море — это работа.

И еще — рассказы В. Конечного редко заканчиваются удачей, еще труднее представить их с идиллической концовкой, вроде гриновской: «Они жили счастливо и умерли в один день». И это вовсе не значит, что автор так уж мрачно смотрит на вещи. Но Виктор Конечкий недаром признается, что не овладел колдовством романиста, что он лишь фотографирует действительность. Его тянет к документальности сюжета. В ней он видит поруку правдивости. А сколько в реальной жизни драм остается неразрешенными, сколько потерь, которые ничем нельзя окупить. Трагическая концовка заставляет нас полнее пережить драму героев. Автор апеллирует к читательской взволнованности, в надежде, что она прибавит человеку ясного ума, укрепит его волю, подготовит к жизненным испытаниям.

Герой рассказа «Над белым перекрестком», по вине которого много лет назад погиб в воздушном бою командир, казалось бы, дав-

но искупил свою вину храбростью в боях, искупил кровью. И люди простили его. И сам он всеми силами хочет забыть случившееся, ведь никогда больше не был он трусом, но. . . «Совесть у меня болит, понял? . . . — обращается он к своему погибшему командиру. — Приснился ты недавно. Как узнал я, что тебя здесь похоронили, так и приснился». В этих словах полковника весь светлый подтекст драматического рассказа. Собственно, и главный герой рассказа не полковник, а — совесть. «Господи, — восклицает В. Конецкий в другой повести, — сохрани подольше это дурацкое российское самоедство! Еще никому оно не помогло, но все равно — сохрани его в нас подольше!»

Так открывается героям В. Конецкого истинный источник мужества: не слепой риск, не бравада, но совесть, пронизывающая всякую мысль и чувство беспокойным своим светом.

«Изнылась душа» у Петра Басаргина (рассказ «В тылу»). Случайный эпизод — девочка, посылающая «на небо» божью коровку, — напомнил о родных, о нежности детства, такого беззащитного в катастрофическом воздухе войны, и ему стало тревожно, безопасная жизнь в тылу предстала чуть ли не предательством; он твердо решил ехать на фронт.

Многому учило море героев В. Конецкого. Но, быть может, главный его урок — это спасительное ощущение родства с людьми. Именно оно заставляет боцмана Росомаху из повести и одноименного фильма «Путь к причалу» в тот момент, когда жизнь особенно дорога ему, жертвовать ею ради других.

Прожив бродяжную морскую жизнь, Росомаха встречает в одном из портовых городов женщину, которую когда-то любил, узнает, что у него уже взрослый сын Андрей. И, не раз глядевший смерти в глаза, Росомаха впервые испугался. Испугался своей жалости к Марии и предстоящей встречи с сыном. С болью из-под задубелой кожи морского волка стал прорезаться в Росомахе новый человек. И он, этот человек, был удивлен своей способностью быть чувствительным и испытывать угрызения совести. А главное — возможность счастья впервые мелькнула в его запущенной жизни.

И вот в этом последнем рейсе «Кола», которая буксирует «Полоцк» с Росомахой и тремя матросами на борту, получает сигнал SOS. Просит помощи лесовоз «Одесса». У капитана «Колы» один выход: обрубить трос с «Полоцком» и, пожертвовав четырьмя своими людьми, отправиться на спасение «Одессы». Он уверен в своем боцмане.

Но не знает капитан, что именно сегодня боцман меньше

всего хочет встречаться со смертью. Гибель «Полоцка» неизбежна. Через два часа их швырнет на рифы и они пойдут на грунт. «А там холодно, капитан. . .» — неуверенно шутит Росомаха.

Но неожиданно в сознании Росомахи пробивается мысль: «Где-то там, во тьме и снежном тумане, скоро погибнут свои ребята. Что тогда скажет Андрей?» Эта мысль о долге перед сыном ведет за собой другую: «Тридцати восьми моряков на «Одессе» не было видно и слышно Росомахе. Даже писка их морзянки, который давал людям «Колы» уверенность в реальности этих тридцати восьми, приближал и делал понятней их беду, боцман не мог слышать, сидя на своей бочке из-под капусты в кормовой надстройке «Полоцка».

Но раньше Росомаха как раз и не желал его слышать, не желал представлять этих тридцать восемь живыми и теплыми людьми, не хотел знать их кока, капитана или боцмана. А тут вдруг подумал, что боцман с «Одессы», вернее всего, такой же рыжий, как он сам. Боцманá чаще всего почему-то рыжие. Их боцман, наверное, сейчас так же лазает по своему лесовозу и щупает борта, и готовит помпы и пластырь, и проверяет крепления для буксирного троса. . .»

Мысль о рыжем боцмане оказывается решающей. Росомаха рубит трос и гибнет.

Вот, кстати, еще одна причина, по которой рассказы В. Конецкого почти не имеют счастливых концов в привычном смысле этого слова. В. Конецкий открыл другую формулу счастья — не покой, не итог, не отсутствие страданий, а движение и борьба, труд и преодоление, постоянное бодрствование памяти и та степень потрясенности, при которой жизнь ощущается особенно остро и конкретно, и «я» сливается с «мы»: «. . . чужое несчастье открывало во мне все шлюзы братства и объединения с другими людьми, а это и есть счастье. Оно может пронзить даже у открытой могилы друга».

Важное признание. И Виктор Конецкий не одинок в своем понимании счастья. Оно свойственно, например, многим из тех, кто пережил войну. Вспомните блокадные строчки Ольги Берггольц:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
где смерть, как тень, тащилась по пятам,
такими мы счастливыми бывали,
такой свободой бурно дышали,
что внуки позавидовали б нам.

Нет, герои В. Конецкого не отчаянные храбрецы и не прожженные бродяги, хотя и любят порой свою нежность к корабельным

псам скрыть грубоватой кличкой «собак». Они знают страх, знают, что это такое, когда «океан смущает людям душу». Но совесть и долг перед людьми учат их конкретной одухотворенной любви, которая всегда — действие.

«Это не так просто — долго быть порядочным человеком», — говорит Петр Басаргин. В его словах — мужских, сдержанных, чуть ироничных — выражено главное устремление писателя Виктора Конецкого и его героев. Кто не ощущал в себе мушкетерских порывов, не спасал в воображении Жанну д'Арк. . . Да и в жизни каждому приходилось проявлять смелость и доброту. Но одно дело порыв, другое — долгая повседневность, в которой нет времени оглянуться на произведенный эффект, свериться с собственным самолюбием. Одних благих намерений тут мало, если они не растворились в крови, не стали натурой и характером.

Как благородны и прекрасны старики из рассказа «Дверь»! Почти невероятным кажется, что в этом промерзлом быту, где полойное ведро заменяет уборную, где теплая вода — редчайшее и примечательное событие, старик читает Платона и размышляет о любви. Но, может быть, еще более невероятно, что Анна Сергеевна с мужем сумели сохранить в себе в этих условиях привязанность и доброту. Трогательно придерживаются они довоенного стиля отношений. И в этом проявляется их мужественное сопротивление войне. А с какой решительностью и простотой предлагает Анна Сергеевна помыться драгоценной горячей водой незнакомой девушке Тамаре, которая принесла им письмо от сына.

Помните женщину, которая за несколько минут до смерти просит исполнить последнюю просьбу умершей накануне сестры — зажечь свадебную свечу? Жить, когда жизнь отняла все, что было благом и радостью, думать о другом в минуты прощания с миром, верить в святость человеческой воли, когда сам голодный, с перебитым позвоночником умираешь в холодной квартире, это, по Конецкому, и значит быть порядочным человеком.

Героиня рассказа, Тамара, «не успела повзрослеть от несчастий», она не поднималась в мыслях до судеб страны, своего народа, хотя давно привыкла говорить не «честное пионерское», а «честное комсомольское». Невнимание тетки, у которой Тамара принуждена жить, ужас хлебных очередей, мальчишка, ворующий у нее хлеб и тут же избиваемый равнодушными ударами ног. . . Война приучила ее к машинальной заботе о своем естестве, затормозила духовное развитие. Но постепенно перед Тамарой приоткрывается дверь в другой мир, в котором страдание лишь сильнее проявилось в людях

человеческое. Картины достоинства и благородства, воля к жизни тех, кто случайно встретился у нее на пути, становятся началом ее нравственного и гражданского повзреления.

Тамара вырастет и станет актрисой, и приедет в Ленинград, и встретится с Анной Сергеевной, и будет жадно вглядываться в такой щемяще-незнакомый город ее детства, искать поддержки у памяти этих тяжелых лет. Так сам автор в рассказе «Набережная Лейтенанта Шмидта» с благодарностью вспоминает того матроса, который в блокадную зиму помог ему, ослабшему мальчишке, оторвать примерзший к невшскому льду чайник. Подобные воспоминания — как приберегаемое памятью пламя, которое всегда готово вспыхнуть и согреть в стужную пору жизни.

Если вернуться к началу разговора, то нужно сказать, что герои В. Конецкого, быть может, первыми среди своих сверстников, ходивших в театр в геологических свитерах, отращивавших хемингуэевские бороды, перенимавших повадки джеклондовских героев и мечтавших о далеких путешествиях, поняли, что всякое путешествие — это прежде всего путь к себе.

Поэтому и в морских произведениях В. Конецкого главное не сами путешествия — они только повод. Мы не так уж много узнаем о южных странах и северных штормах, больше — о людях, с которыми автор ежедневно работает в море, о мыслях автора по тому или иному поводу, постепенно сплетающихся в философскую образную картину мира. Имея в виду последнее, быть может, правильное всего было бы вести родословную его путевых заметок от мопассановского эссе «На воде», где читателю также преподносится не география путешествий, но сама география учит сопрягать факты, рождает неожиданные ассоциации.

Конечно, всякое далекое плавание замечательно разнообразием переживаний и впечатлений. Но море — это еще и каждодневный труд, и психологическая несовместимость, и ностальгическая тоска по Медведице, которая овладевает за экватором, и «долгие туманы», плавание в которых рождает чувство «безысходности, как в очереди на ВТЭК в районной поликлинике, как сидение в приемной райжилотдела. . .» И нет дороже мыслей в море, чем мысль о земле. Быть может, тем море и хорошо, что в конце концов по нему всегда проходит путь к причалу, и земля после плаванья видится подробнее, становится понятнее и дороже настолько, что «простой пучеглазый трамвай на городской улице вдруг радуется и веселит до беспричинного смеха».

Отправившись в море за «сюжетом жизни», герой В. Конец-

кого обрел нечто большее — биографию, а она, в свою очередь, стала помогать ему в работе на море. «Трудное дело — быть капитаном аварийно-спасательного судна. Море и ветер отпускают на раздумие секунды. Нужно уметь верить в себя и своих людей — это главное. И не бояться ни бога, ни черта. И знать морскую службу. И иметь за плечами такую биографию, которая дает моральное право на любой приказ подчиненным». Вероятно, эти же слова мог бы сказать о себе не только Конецкий-моряк, но и Конецкий-писатель. Потому что слово писателя требует такого же подтверждения биографией, как и команда капитана.

Есть и еще одна черта, отличающая любимых героев В. Конецкого, — они умеют бороться с трудностями при помощи смеха, разбавлять юмором густую тоску. Недаром В. Конецкий является одним из авторов двух замечательных кинокомедий — «Полосатый рейс» и «Тридцать три».

Герои его ироничны. И не только гений морской «травли» Петр Ниточкин, но и сам автор. Однако это не та ирония, которая вся направлена вовне, на других, и призвана лишь оттенить собственное совершенство и тонкость чувств. Ирония эта в первую очередь приготовлена автором для себя — настоящая, злая. Порой она призвана, впрочем, лишь сдобрить горечь признания.

Эта способность отойти от себя на расстояние руки и оглядеть своего двойника с критической улыбкой свидетельствует о душевной состоятельности человека. Более того — именно обостренное чувство справедливости и ревность к гармонии вызывают иногда к такому старому оружию, как улыбка.

В этой книге собраны рассказы и повести, написанные автором в разные годы. Если проследить за судьбой Петьки из рассказа «Петька, Джек и мальчишки», пацана из рассказа «В тылу», второго штурмана в «Огнях на мерзлых скалах» и рассказчика заключительной новеллы сборника, где речь ведется о веселом матросском коварстве, — можно узнать в них взрослого Петьку Ниточкина, одного из любимых героев В. Конецкого. Толчком для создания образа Петра Ниточкина послужила встреча с реальным человеком. Но с тех пор пути прототипа и героя разошлись: один стал адмиралом, а другой продолжает жить в рассказах, значительно отстав по службе от своего двойника.

Собственно, любая вымышленная ситуация и вымышленный герой у В. Конецкого, как и у всякого писателя, в той или иной мере автобиографичны. Потому что творчество, как растение в почву, всегда уходит корнями в биографию художника. Даже сам

художник, как заметил однажды Илья Эренбург, не всегда «дает себе отчет, где кончаются воспоминания, где начинается творчество».

Персонажи многих произведений Виктора Конецкого — реальные люди. Как Вася сегодня — шеф-повар шикарного ресторана на шикарном лайнере. А герой рассказа «Невезучий Альфонс» и в жизни оказался таким же невезучим и, как многие бескорыстные люди, все-таки счастливым человеком. Но, получив вторую жизнь, они продолжают существовать еще и в нас, и энергия их поиска, ошибок и счастья передается сегодня и нам и помогает, когда мы бедны и устали, преодолевать трудности и любить жизнь.

Николай Крыщук

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Петька, Джек и мальчишки	7
В тылу	33
Дверь	60
Над белым перекрестком	89
Наш кок Вася	102
Путь к причалу	121
Если позовет товарищ...	186
Под водой	242
Огни на мерзлых скалах	274
Невезучий Альфонс	299

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ШТУРМАНА

Тихая жизнь	317
Остров Кокос	334
«SOS» в Индийском океане	344
Петр Ниточкин к вопросу о матросском коварстве и психической несовместимости	381
О Викторе Конецком и его героях. <i>Николай Крыщук</i>	405

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Конечкий Виктор Викторович
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Ответственный редактор
Н. П. Крыщук.
Художественный редактор
Г. П. Фильчаков.
Технические редакторы
Т. С. Тихомирова и
Л. Б. Куприянова.
Корректоры
Л. Л. Бубнова и
К. Д. Немковская.

ИБ 2179

Сдано в набор 8/VIII 1977 г. Подписано к печати 29/XII 1977 г. Формат 70 × 108^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Печ. л. 13. Усл. печ. л. 18,2. Уч-над. л. 16,31. Тираж 100 000 экз. М-26863. Заказ № 415. Цена 70 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 192187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

Конечкий В. В.

К 64 Повести и рассказы. Статья «О Викторе Конечком и его героях» Н. Крыщука. Рис. С. Спицына. Л., «Дет. лит.», 1978.

414 с. с ил.

Рассказы и повести о морских и военных приключениях, о людях блокадного Ленинграда. В произведениях В. Конечкого много юмора, морской романтики и размышлений о жизни.